



Цитат не требуется. Антиамериканская направленность западноевропейских интеллектуалов общеизвестна. Конечно, не поголовная. Но охватившая широкие слои. Особенно после второй мировой войны. Речь не о том, чтобы непременно любить Соединенные Штаты. Как всякая страна, они имеют свои интересы, политические и экономические, и отстаивают их разными методами. Как удачными, так и неудачными. Как более достойными, так и менее достойными. Ни одна страна, и Соединенные Штаты не исключение, не всеобщую любовь претендовать не может. Но откуда эта особая ненависть, которой они ведь тоже не заслужили?

Трижды Соединенные Штаты оказывали решающую помощь западноевропейской демократии в судьбоносные дни XX века. В первый раз -- выступив в первой мировой войне против Германии Вильгельма II. Потом, наряду с Советским Союзом, сыграв еще более важную роль в борьбе с Германией нацистской. И потом, осуществив план Маршалла, заложивший основу экономического возрождения Западной Европы. А в ответ на все это -- недоброжелательство. Часто ненависть. Для объяснения недостаточно сослаться на старый моральный парадокс: люди часто не прощают благодарений, не любят своих благодетелей. В позиции западных интеллектуалов превалировало явно не это.

Более существенно различие американской и европейской ментальности. Вопрос это щекотливый, поскольку единой, поголовной и постоянной ментальностью ни один народ не обладает, да и расхождения между европейскими народами в этом отношении велики. Но по меньшей мере три черты американского национального характера часто вызывают неприязнь европейцев:

Прежде всего, самоуверенность. Сложилась она у американцев как необходимое условие и, вместе с тем, как естественное следствие всего исторического пути американского народа, собственными силами и с помощью иммигрантов создавшего в необычайно короткие сроки великую нацию с мощью экономикой на демократической основе.

Затем, открытый приоритет делового начала, бизнеса.

Наконец, четко выраженный индивидуализм. Все это, конечно, не абсолютно. При всем своем практицизме американцы создали и замечательную духовную культуру, в большой мере противопоставленную этому практицизму, создали социально-критическую литературу. Достаточно вспомнить Эдгера По и Торо, Мелвилла и Эмили Дикинсон, Уитмена и Марка Твена, Хемингуэя и Сэллинджера.

С другой стороны, при всем американском индивидуализме именно в Америке возникла массовая культура, охватившая сейчас почти весь земной шар. Оказавшись в XX веке самой передовой страной мира в технике и промышленности, а постепенно и в науке, Соединенные Штаты наложили свою печать на всю культуру столетия, насытив едва ли не все языки множеством американизмов. Это тоже одна из причин европейского антиамериканизма. Поскольку американская культура, особенно в массовом варианте, стала восприниматься как антикультура. И начали говорить об американском культурном экспансионизме.

Здесь мы приближаемся к одному из важнейших истоков антиамериканизма -- к восприятию Штатов как страны экспансионистской. Самая мощь Америки ставится ей как бы в вину. Неудивительно, что таковы чувства правых радикалов, не простивших Америке, что ее промышленная мощь обеспечила победу над фашизмом. Но их влияние в послевоенной Европе было не слишком велико. Однако не меньшую ненависть к Америке испытывали куда более влиятельные леворадикальные интеллектуалы, ощущавшие эту свою ненависть проявлением общей антикапиталистической направленности. Весьма смутной. Вроде бы жаждавшей социальной справедливости. Подогреваемые страхом перед открытым фашизмом эти тенденции вели к просоветской ориентации, а она побуждала видеть в Штатах главного врага «прогрессивного человечества».

Ведь именно участие Америки в НАТО, наличие американского ядерного щита над Западной Европой делало агрессию против Западной Европы не только бесперспективной, но и самоубийственной. В этом четвертая историческая заслуга Штатов перед европейской демократией в XX веке. Но именно эта заслуга вызвала наибольшее озлобление леворадикальных «идеалистов», которые демонстрировали на улицах европейских городов не против установки Советским Союзом ракет, нацеленных на Западную Европу, а против установки в Европе, в качестве контрмеры, американских ракет, нацеленных на Советский Союз.

Крах коммунистической империи и наглядное выявление ее внутренней сути, которую леворадикальным интеллектуалам уже не оспорить, нанесло по антиамериканизму сильный удар. Но отнюдь не отменило его полностью. Лишь чуть смягчило. Предвзятости живучи.

Владимир АДМОНИ

## Главные редакторы

АЛЕКСАНДР НИНОВ  
АНТОНИН ЛИМ

## ВСЕМИРНОЕ

# СЛОВО

## МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

191187, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 18  
телефон 273-78-60  
телефакс 273-78-60

## РЕДАКЦИОННАЯ

ВЛАДИМИР АДМОНИ  
КОНСТАНТИН АЗАДОВСКИЙ  
ЕВГЕНИЙ АНИСИМОВ  
ВАЛЕРИЙ БАБАНОВ  
ТАМАРА БАЛАШОВА  
БОРИС БЕССОНОВ  
СВЕТЛАНА БУШУЕВА  
ВАСИЛЬ БЫКОВ  
ДАНИИЛ ГРАНИН  
ПОЭЛЬ КАРП - зам. главного редактора  
АЛЕКСАНДР КУШНЕР  
БОРИС ПУТИЛОВ  
БЕНЕДИКТ САРНОВ  
НИНА СНЕТКОВА  
ЮРИЙ СУРОВЦЕВ  
БОРИС ФИРСОВ

## Представители "Всемирного слова":

в Париже - ЕФИМ ЭТКИНД  
в Риме - РИТА ДЖУЛИАНИ  
в Берлине - БИРГИТ МЕНЦЕЛЬ  
в Праге - АЛЕНА МОРАВКОВА  
в Варшаве - АНДЖЕЙ ДРАВИЧ  
в Будапеште - ЛАСЛО ХАЛЛЕР, ЧАБА ХАЙДУ  
в Хельсинки - ЛИЙСА БЮКЛИНГ

## Сотрудники:

Елена Баевская - редактор  
Галина Лапшова - художественный редактор  
Ирина Рудяева - секретарь редакции  
Александр Степанов - зам. директора  
Артур Тимофеев - корректор  
Мария Васильева - компьютерный набор  
Елена Хваленская - компьютерная верстка

Носиф Кошаровский - оформление обложки

Учредитель - Общество "Всемирное слово"

Издатель - коллектив редакции журнала

©Всемирное слово. 1993

© В. Бертельс: графическая концепция

## 1492 И ДРУГИЕ ГОДЫ

Дж. Г. Элиот. МИР ПОСЛЕ КОЛУМБА 1  
Хорхе Луис Борхес. ЭТНОГРАФ 5  
Хорхе Луис Борхес. Милонга Мануэля Флоренса 5  
Герман Глазер. НЕБЕСА, ПРЕИСПОДНЯЯ,  
ГОРА И ДОРОГА 6  
У. Шекспир. Совет 129 9  
Э. Каммингз. "Представьте себе, например..." 9  
А. Д. Дридзе. РУССКОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ 10  
Юрий Колкер. Два стихотворения 13  
Александр Долинин. НЕСЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТАРОЙ АМЕРИКЕ 14

## СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Рытхей. У КАЖДОГО СВОЯ АМЕРИКА 18  
Александр Кушнер. Пять стихотворений 20

## СТАРЫЙ И НОВЫЙ СВЕТ

Сами Наир. СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ РАСПРЯ 21  
Артуро Услар Пьетри. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ  
ИБЕРО-АМЕРИКАНСКАЯ ОБЩНОСТЬ 25  
Алонсо Самора Висенте. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА  
С ЖАРКОЙ ЗЕМЛЕЙ 27  
А. Коос. От переводчика 28  
Александр Нинов. ПИРАМИДЫ ТЕОТИУ-  
АКАНА 29  
Эдвард Лир. Мистер Йонги-Бонги-Бой 34  
Милан Кундера. ПРЕКРАСНЫЙ, КАК МНО-  
ЖЕСТВО ВСТРЕЧ 35  
Андре Бретон. Уж лучше жизнь 39  
Робер Деснос. Люди на земле 39  
Рене Деспестр. ИЗГНАНИЕ, ПУСТИВШЕЕ  
КОРНИ ВО ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 40  
М. Кузмин. ВСЕ ДОВОЛЬНЫ (из Боккаччо).  
Публикация П. Дмитриева 41

## "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" В НЬЮ-ЙОРКЕ

Евгений Чириков. МАТРОС БАСОВ. Очерк. 42  
Н. А. Тэффи. Русь 43  
А. И. Куприн. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ БУРЖУЕВ 44  
М. Ростовцев. БОЛЬШЕВИКИ И ИНТЕЛЛИ-  
ГЕНЦИЯ 45  
Мария Иорданская. ЭМИГРАЦИЯ И СМЕРТЬ  
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. Воспоминания 47  
Владимир Набоков. Панихида 50  
Л. Иезуитова. "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" В НЬЮ-  
ЙОРКЕ 51

## РУССКИЕ АМЕРИКАНЦЫ

Владимир Набоков. МЕЩАНЕ И МЕЩАНСТВО 55  
Александра Толстая. НАШ ТОЛСТОВСКИЙ  
ФОНД 57  
А. Н. Дочь, достойная отца 62  
Игорь Стравинский, Джордж Баланчин.  
ДИАЛОГИ 64  
Михаил Бялик. МЕНУХИН ИСПОЛНЯЕТ  
"МЕССНИУ" 70  
Джоан Арнольдс. ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 72  
Александр Танков. "Еще пронизано все тело  
сквозняком..." 73  
Иосиф Бродский. НЕСКРОМНОЕ ПРЕДЛО-  
ЖЕНИЕ 74

## КОНГРЕСС ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В РОССИИ

Александр Янов. ПОКА НЕ ПОЗДНО... 78  
ОБРАЩЕНИЕ К ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 79  
БУДАПЕШТСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ 79

## ПИСЬМА И КОММЕНТАРИИ

Леонид Долгополов. В НЕАПОЛЕ ГОВОРЯТ  
О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 80  
И. Меттер. НАТАН 82  
Марк Самаев. Стихи 83  
Мауро Мартини. РОМАН НИ КОРОТКИЙ,  
НИ ДЛИННЫЙ 84  
Поэль Карп. АНТИСЕМИТИЗМ XX ВЕКА 85  
Иван Дуда. Два стихотворения 86  
Борис Путилов. ОПЫТ ИМПЕРИИ 87  
Джо Горовиц. ПИСЬМО ВАЛЕРИЮ ГЕРГИЕВУ 88

## 1492 И ДРУГИЕ ГОДЫ

9 сентября 1522 года восемнадцать изможденных моряков, держа в руках свечи, босиком шли по Севилье к храму Санта-Мария де ла Виктория, дабы вознести благодарственную молитву за свое счастливое возвращение. Именно ей, этой Божьей Матери, вверили они себя более трех лет назад в этом самом соборе, отправляясь в экспедицию, которая намеревалась достичь островов пряностей, двигаясь не на восток, а на запад, для чего ей предстояло либо обогнуть Американский материк, либо найти в нем сквозной проход. За три года, хотя и страшной ценой, им

масштабов. Но парадокс состоит в том, что едва их мир расширился, он тут же начал сжиматься. Земной шар, окольцованный кругосветным плаванием, стал уменьшаться.

Конечно, сама попытка нанести моря и земли на глобус помогала сжать невообразимое пространство до умопомрачительных масштабов. Первый известный нам глобус изготовил в 1492 году Мартин Бехаим из Нюрнберга. Первый глобус, на котором отмечен путь Магеллана, был сделан тоже в Нюрнберге, около 1526 года;

Дж. Г. ЭЛИОТ

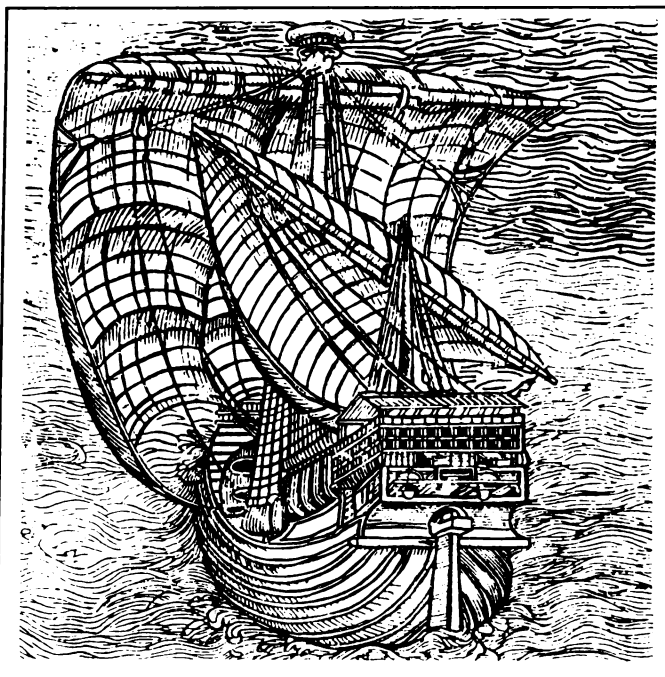
приобщиться, пускай при их посредстве, к тому ощущению силы, которое порождали путешествия и покорение народов и стран. Высокомерие европейца, глядящего на мир, вновь нанесенный на карту, замечательно передаст гравюра на фронтисписе книги испанского капитана Бернардо де Варгас Мачука «Milicia y descripción de las Indias»\*, изданной в 1599 году, где автор изображен держащим два компаса над глобусом, а в качестве девиза начертаны бессмертные слова «A la espada y el compás / Más y más y más y más» («С компасом и шпагой / Все

# МИР ПОСЛЕ КОЛУМБА

удалось выполнить эту задачу. Корабельные команды бунтовали, их косили голод, холод, цинга; командир экспедиции португалец Фернандо Магеллан был убит свирепыми туземцами на одном из тихоокеанских островов; из пяти судов, которые вышли в море в составе экспедиции, только одно, «Виктория», доплыло, с сильно поредевшей командой, до Севильи. Зато тем немногим, кто выжил, удалось то, что до них не удавалось никому. На своем разбитом, маленьком корабле под водительством непреклонного баска, капитана Себастьяно Элькано, они совершили кругосветное плавание.

Тридцать лет разделяют отплытие Колумба из Палоса в Андалузии и возвращение «Виктории» в севильскую гавань Сан Лукар де Баррамеда. В начале этого тридцатилетия Европа была почти заперта между непреодолимым Атлантическим океаном на западе и враждебными, обширными пространствами Азии на востоке. К его исходу европейцы уже сумели обогнуть Африку на пути к Индии и Молуккским островам; на другом берегу Атлантики им пришлось столкнуться со странами и народами, не укладывающимися в круг их первоначальных представлений и ожиданий, и, наконец, теперь, пройдя штормовым проливом к югу от Патагонии, они пересекли безбрежные просторы Тихого океана и нашли дорогу к родным берегам.

Непосредственным результатом этих трех десятилетий, наполненных небывалыми открытиями, стало новое, поражающее воображение ощущение размеров мира, возникшее у тех европейцев, которых занимали эти вопросы. Вскоре стало ясно, что Колумб сильно преуменьшал расстояние между Китаем\* и Европой -- рыцарь родосского ордена, итальянец Антонио Пигафетта, находившийся на борту «Виктории» во все время ее эпического плавания, писал с трепетом, после того как корабль миновал Магелланов пролив: «Плывя все время на запад, мы больше не встретили никакого острова за мысом Одиннадцати Тысяч Дев, а он -- мыс в том проливе на Море Океане» (1). Другими словами, европейцы столкнулись с пространством, и с пространством невероятных



Корабль пятнадцатого столетия  
(из "Isolario", 1547 г.)

он изображен на знаменитой картине Гольбейна «Послы», написанной в 1533 году (Лондон, Национальная галерея). Выбрав в качестве герба изображение Земного шара, увенчанного орлом, император Карл V неосознанно отдал дань этой новой для Европы концепции пространства -- концепции, становившейся все более тривиальной к концу шестнадцатого столетия. Представляя мир как сферу глобуса, человек как бы держал его в руках. Получив в 1566 году от своего отца св. Франциска Борджиа\* в подарок глобус, его сын в ответном благодарственном письме писал: «Пока я не получил твой подарок, я не понимал, как мал этот мир» (2).

Земной шар, который можно взять в руки, -- это подвластный человеку Земной шар, и, вращая глобус, каждый мог мысленно следовать за своими странствующими собратьями -- европейцами, увидеть в мгновение ока заселенные ими земли, а значит,

\*Св. Франциск Борджиа (1510 -- 1572) -- герцог Гандин, с 1540 г. вице-король Каталонии. В 1548 г., после смерти жены, вступил в орден иезуитов, а с 1565 г. -- третий генерал ордена. Автор ряда богословских сочинений. Канонизирован в 1625 г. (прим. переводчика).

дальше, дальше, дальше, дальше»). Господство и захват -- вот ведущие идеи для поколения европейцев после Колумба -- наследников 1492 года.

Эти европейцы, отправившиеся в шестнадцатом веке в дальние страны, эти торговцы, миссионеры и -- слишком часто -- убийцы склонны были видеть в самих себе создания высшего порядка, который providence избрало, чтобы нести миру благословение христианства и цивилизации. С другой стороны, неевропейские народы, в чей мир они вторглись без спросу, естественно, смотрели на них совсем по-другому. Их остроконечные бороды, их пышные дублеты, их высокие шляпы -- «люди в шляпах», как их называли в Индии (3) -- все в этих людях, появившихся на своих гордых, удивительных кораблях, делало их чуждыми и часто зловещими пришельцами, пришельцами, склонными к захвату того, что им не принадлежит. Хотя в перспективе далекого будущего в них можно увидеть пионеров всемирного единства, разрушающих барьеры и способствующих контактам народов,

не следует забывать, что они вторглись в неевропейский мир, неся с собой небывалую нищету, смерть и разрушения. Европейцы, пустившись без всякого плана по дороге, которая должна была привести к созданию единого мира, бессознательно формировали этот мир по своему подобию. Один из испанских гуманистов писал в начале шестнадцатого столетия о Колумбе, что он, «отплыв из Испании... заново перемесил мир и снова вылепил те чужие страны по образу нашей собственной» (4).

Европейцам пришлось, правда, убедиться в том, что их попытки вылепить заново «чужие страны» по своему образцу были менее удачными в Азии, чем в Америке, где великие империи ацтеков и инков рухнули под их напором. Как ни превосходна была организация этих империй, как ни высоки отдельные достижения культуры и техники, изоляция от других центров цивилизации сделала их опасно уязвимыми, когда они были атакованы людьми, вызывавшими своими обычаями и снаряжением изумление и мистический ужас у аборигенов. Напротив, Европу и Азию связывали давние, хотя и пропущенные взаимной настороженностью, отношения; то же можно сказать и

\*Завоевание и описание Индии.

\*Китай -- так в средние века в Европе называли Китай (прим. переводчика).

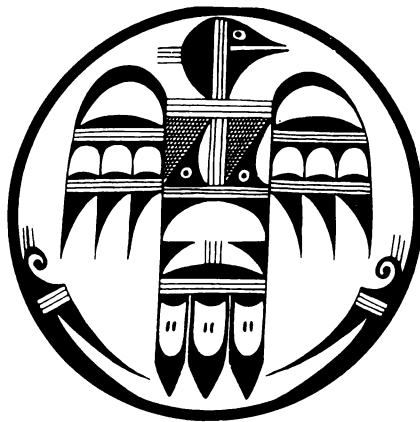
о странах Северной Африки. Долгое время португальцам, по чьим следам потом устремились в Азию голландцы и англичане, не удавалось ничего, кроме создания анклавных поселений на побережьях, из которых они пытались конкурировать с народами, чьи политические, военные и торговые навыки равнялись их собственными или даже превосходили их.

Везде, где бы в шестнадцатом веке ни появлялись европейцы, они вызвали большее или меньшее беспокойство, то, легкое поначалу, волнение, которое потом превращалось в сущий водоворот. Только Австралия и Океания остались исключенными почти на триста лет из той сумятицы, которой были отяжены эти открытия и умножение связей между людьми, населяющими различные части света. И хотя в 1600-м и даже в 1700 году мир был еще далеко не европеизирован, все же это был уже мир, в котором европейцы, невольно или сознательно, действовали как ускорители перемен.

Европейская экспансия за моря началась, в первую очередь, массовую миграцию населения. На протяжении шестнадцатого века 240 000 мужчин и женщин переехали из Испании в Америку и почти столько же португальцев, в основном молодежь, -- в Азию, причем большинство никогда не вернулось назад (5). Тем не менее европейцы, даже если речь идет об их малой части, были не единственными людьми, вовлеченными в миграционные процессы. Кроме них в эти процессы, вызванные расселением все большего числа европейцев на другом берегу Атлантики, оказались втянуты против их воли африканцы.

В пятнадцатом веке португальцы, начав торговать с побережьем Западной Африки, поняли доходность покупки рабов-африканцев и вывоза их за море -- либо через Лиссабон, в качестве домашних слуг в Португалию и Испанию, либо на вновь заселяемые острова в Атлантическом океане, на которых начали возделывать сахарный тростник. Затем прибыльная работорговля естественным образом распространилась за океан, где по тем или иным соображениям туземное население было признано непригодным к тому труду, который требовался для европейских поселенцев, жадно осваивающих рудные и сельскохозяйственные ресурсы вновь обживаемых ими земель. В результате, в течение шестнадцатого века была сплетена сеть торговли живым товаром -- сеть, соединившая узлами соучастия торговцев и вождей с берегов Конго и из внутренних областей Африки с купцами из Севильи и Лиссабона, поселенцами в Мексике и Перу и владельцами сахарных плантаций в Бразилии. Уже к 1600 году в Европу и Америку было вывезено около 275 000 черных рабов, а в течение следующего столетия -- примерно в пять раз больше (6).

Великое переселение людских масс за океан положило начало становлению новых смешанных рас, поскольку европейцы, азиаты, африканцы и туземцы Америки жили вместе и вступали в браки, производя на свет потомство столь разного цвета кожи, что в восемнадцатом веке в Латинской Америке в моду вошли серии рисунков с изображением межрасовых комбинаций, каждая из которых имела свое название. Однако контакты между людьми разных рас на заре эпохи Великих географических открытий сводились не только к переносу генов. Эти годы оставили другое, более зловещее наследство, потому что контакты означали

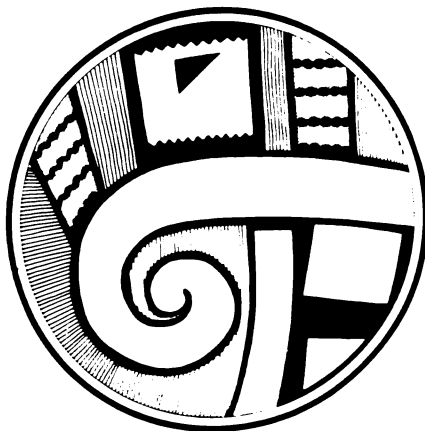


также распространение болезней.

Европа и Азия, составляющие единый материк, были на протяжении тысячелетий подвержены общим эпидемиям, и как раз европейцы гибли от болезней в первую очередь, когда во множестве стали переселяться в непривычный для них климат и условия обитания в Азии. В Америке, однако, дело обстояло иначе. Она была изолирована от великих пандемий, которые время от времени опустошали Евразию, так что туземное население Америки оказалось в ужасающей степени уязвимо для новых болезней, завезенных из Европы: оспы, кори, гриппа -- всех тех болезней, к которым у европейцев уже выработался некоторый иммунитет. В результате коренное население Америки через сто лет после ее открытия уменьшилось на девяносто процентов, а, например, тайны, населявшие Антильские острова ко времени появления там Колумба, вымерли полностью. Европейцы привезли с собой из Америки такой бич, как сифилис, но в ответ уничтожили целый мир (7).

В те времена скопление людей означало, в первую очередь, скопление болезнетворных микробов, так что танец смерти охватил весь Земной шар. Но смерть приходила во многих обликах, не последним из которых являлась война. Европейцы, вступая в контакты с иными народами, стремились с самого начала захватить их земли и подтвердить свои торговые начинания силой оружия. Европейские купцы разнесли гром своих пушек по всему свету. Вот как описывается штурм португальцами Малакки в 1511 году в «Малайских хрониках». «Пушки грохотали, как гром в небесах, и огонь из их жерл был точно молнии; замки мушкетов трещали, как арахис на сковородке» (8).

Превосходство европейской военной техники принесло ей немедленный успех, особенно в Америке, где шок от огнестрельного оружия и лошадей сыграл существенную психологическую роль на



ранних, а потому важнейших, этапах ее завоевания испанцами. Но Азия знала применение пороха, а потому начальное превосходство Европы в военной технике скоро стало незначительным. Турецкая армия немедленно взяла на вооружение и совершенствовала европейские ружья и пушки; уже в конце шестнадцатого века многие солдаты в армии Великих Моголов были вооружены мушкетами; дальше к востоку, в Китае, было свое туземное огнестрельное оружие, что же касается Японии, то она как импортировала, так и удачно воспроизводила европейские пушки (9). Огнестрельное оружие, так же, как микробы, распространилось теперь по всему Земному шару.

Агрессивное поведение вооруженных пушками европейцев -- «белых бенгальцев», как их называли пораженные жители Малакки, когда первые португальские суда вошли в ее гавань (10) -- повсюду вызывало изумление. «Почему, -- спросил татарский царь у португальских путешественников, -- вы все время ищите новые страны? Зачем подвергаете себя столь великим тяготам?» Когда один из португальцев постарался ответить ему, старый татарин покачал головой и заметил: «То, что эти люди ушли так далеко от своего дома для завоевания новых земель, ясно указывает на то, что они весьма несправедливы и многим из них свойственна алчность» (11).

Жажда золота, серебра, пряностей и, следовательно, новых земель, обувшая европейцев в пятнадцатом и шестнадцатом веках, была действительно тем, что заставляло их, по мудрому слову татарского царя, «носить по морям, чтобы завладеть тем, чем Господь не наделил их». Именно эта жажда была их движущей силой, именно она позволила им, когда они овладели планетарной системой ветров (12), покрыть весь Земной шар сетью торговых путей.

Один из таких морских путей, проложенный португальцами, вел вокруг Африки через Индийский океан в Южно-Китайское море, что позволило им все с большим успехом конкурировать со старыми путями доставки заморских пряностей и шелка в Европу с рынков Востока. Другой, монополизированный испанцами, тянулся от Севильи до островов Карибского моря, а оттуда в порты Веракрус в Мексике и Картагена в Колумбии. По этому пути американские колонии снабжались европейскими товарами, а в обмен корабли везли обратно мексиканское и перуанское серебро, которое должно было вновь и вновь наполнять сундуки европейских князей и купцов, а оттуда идти на оплату дефицита в торговле между Европой и Азией. На побережьях Индийского океана, так же, как в Америке и Европе, испанский реал, отчеканенный из серебра, добытого на рудниках Цакатекас в Потоси, стал конвертируемой единицей товарообмена. Кроме испанской Атлантики, несшей ежегодный поток американского серебра в Европу, была еще и португальская Атлантика -- Атлантика сахара и рабов, по которой суда шли из Лиссабона к берегам Западной Африки и Азорским островам, а оттуда -- в Бразилию. Таким образом, в Атлантическом океане доминировали иберийцы, а англичане, голландцы и французы появились там сперва контрабандой, чтобы затем проникать туда все успешней.

В 1565 году был заполнен последний отрезок трансокеанского торгового пути, когда испанский галеон пересек в обратном направлении Тихий океан и, выйдя из

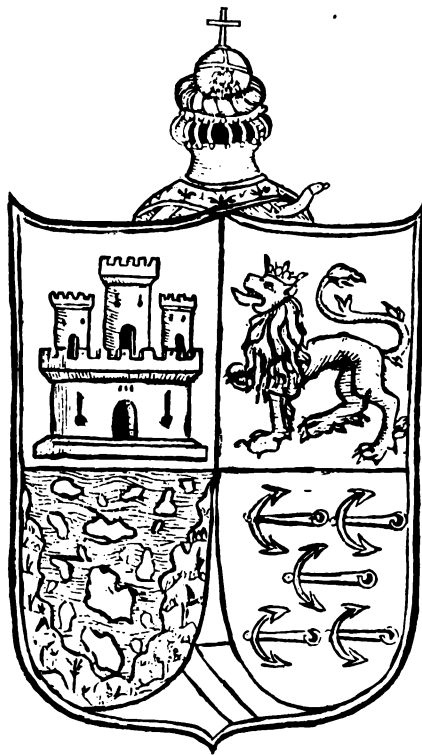
Манилы, разгрузил на мексиканском берегу груз корицы. Это плавание означало начало регулярных рейсов «манильского галеона» между Манилой и Акапулько. Из Мексики он вез серебро, необходимое для покупки товаров Китая и других стран Востока -- шелка, фарфора, пряностей, яшмы и перламутра, которые доставлялись на Филиппины флотилиями джонок, а затем испанским галеоном -- в Акапулько, откуда их развозили по рынкам предметов роскоши Америки и Европы (13). Приветствуя Акапулько в поэме во славу родной Мексики, поэт Бернардо де Бальбуэна\* писал в 1604 году: «Ты соединяешь Испанию с Китаем, Италию -- с Японией и, в итоге, весь мир -- просвещенным общением» (14).

Эти слова Бальбуэны живо свидетельствуют о том, как благодаря развитию системы дальней торговли все четыре континента -- Европа, Азия, Африка и Америка -- оказались вовлечены в тесные обоюдные отношения продавцов и покупателей. Восточные драгоценности -- персидские ковры, китайский фарфор, яванский перец и ткани -- все в больших количествах текло в дома европейской знати. Африканские изделия из слоновой кости, покрытые резьбой, отражавшей факт присутствия и вкусы португальцев, которые проникли далеко в ее внутренние области и благодаря смешанным бракам образовали афро-португальские общины, привозились в Европу как ценные диковины (см. иллюстрацию). Европейские изделия -- текстиль и огнестрельное оружие -- проникали на азиатские рынки, где португальский постепенно стал языком международной морской торговли (15). Но заинтересованность Азии в европейских товарах, за исключением серебра, была гораздо меньше ненасытных appetitов Европы к товарам Востока. Несмотря на то что португальские купцы появились в Персидском заливе, в Индийском океане, в Малаккском проливе, они, а также сопутствовавшие им другие европейцы, были в шестнадцатом столетии всего лишь еще одной, хотя и заморской, конкурирующей группой, вторгшейся в давно сложившуюся местную торговую сеть, чтобы среди прочих купцов покупать и продавать по мере своих сил.

Несмотря на весь динамизм и агрессивность этих «людей в шляпах», они были поглощены азиатскими просторами с их огромным населением и древними путями торговли. Они были приемлемы в этом мире постольку, поскольку он нуждался в их серебре, а это серебро, в свою очередь, было бы для них недоступно без испанских рудников в Перу и Мексике. Мы можем считать шестнадцатый век веком становления «мировой экономики»: ведь именно тогда произошло испанское завоевание и освоение богатых серебром районов Центральной и Южной Америки, что, в свою очередь, сделало возможным начало экономической интеграции во всемирном масштабе.

Америка, жестко вырванная испанцами из своей изоляции -- на аллегорических изображениях четырех континентов, которые стали появляться с 1570-х годов, ее символизировала нагая женщина в головном уборе из перьев, сидящая на броненосце, иногда в окружении экзотических представителей флоры и фауны этого странного нового мира (16), -- так вот, Америка была связана с Европой в такой степени, какую для Азии невозможно себе даже представить. Захватываемые, управляемые, крещенные и

эксплуатируемые европейцами Антилы и обширные районы материковой Центральной и Южной Америки были безжалостно втянуты в орбиту европейского мира, решившего переделать их по своему «превосходному» образцу. Коренных американцев приучили к технике, основанной на применении железа и колеса. Из Европы были ввезены новые растения и животные. Поскольку отсутствие хлеба было равносильно для новых поселенцев голодной смерти, на тех местах, где росла кукуруза, посеяли пшеницу. «Индейцев, -- отмечает испанский источник, -- не удается заставить сеять пшеницу, поскольку она доставляет им множество тягот. Они не понимают, как ее выращивать, и не имеют плугов» (17). Мало-помалу испанцы занялись «улучшением» американской природы с помощью всех этих плантаций сахарного тростника, виноградников, оливковых рощ -- всего того, что должно было служить напоминанием



Герб Колумба  
(из "Cosmica" Овьедо)

о покинутом ими мире. Подобно растениям они ввезли также домашних животных: лошадей, овец, коров, свиней, кур и коз, тем самым круто изменив туземные хозяйство и жизнь, а заодно экологическое равновесие в завоеванных странах (18).

Процесс переноса не был, однако, односторонним. Не только Америка оказалась открыта для интродукции европейских культур, но и в Европу, а равно и в остальные части света, начали ввозить не только благородные металлы, не только колумбийские изумруды и жемчуг из Венесуэлы, но также растения и продукты, которые с течением времени в огромной степени изменили качество и количество питания европейцев и африканцев. Эти продукты, за исключением табака, не оказали немедленного и драматического воздействия на образ жизни европейцев, но появление фасоли, кукурузы и, в первую очередь, картофеля, по мере того как они пересекали Атлантику, привело к глубоким, долговременным изменениям в рационе, а значит, и в демографии Европы на всем ее протяжении от Ирландии до Урала.

Включение до этой поры изолированной Америки в процесс становления всемирной экономической и экологической системы было важнейшим вкладом Колумба в образование единого мира. Но всегда ли это единство складывалось на тех основаниях, которые предлагала Европа? Безусловно, экспансионистский характер европейской цивилизации, ее алчность, ее жажда превосходства и миссионерский пыл двигали процесс в этом направлении. Тем не менее европейцы сразу встретили то явный, то тайный отпор. Воинствующее христианство столкнулось с грозным соперником в лице воинствующего ислама, господствовавшего в Северной Африке, а на окраинах Европы -- с Османской империей, достигшей наибольшего могущества в шестнадцатом веке. Удельный вес христианской проповеди оказался весьма ограничен в сложном религиозном мире Индостана, а что касается Китая, то он и вовсе оказался глух к ней и вообще почти непроницаем для западных влияний. В начале семнадцатого века иезуиты сумели обратить около 300 000 человек среди 20 миллионов жителей тогдашней Японии, но заигрывания этой страны с Западом кончились в 1639 году, когда португальцы были изгнаны из Японии и она закрылась для европейцев с их губительными дарами.

Даже в Латинской Америке, где усилили миссионеров опиралась на мощную поддержку светских властей, они во многих местах встречали молчаливое сопротивление. Хотя церковь добилась успешного, особенно в Мексике, обращения туземцев, они усваивали в первую очередь те элементы религии завоевателей, которые отвечали их собственным верованиям. Старые боги и алтари все еще сохраняли ореол святости, и в результате их ассимиляции возникли новые, особые формы американского христианства со своими синкретическими ритуалами и догматами.

Культе Девы Марии мог сменить культ Коатликуэ\*, но ведь это происходило в мире, где боги всегда претерпевали бурные метаморфозы.

Понадобились существенное превосходство европейской техники и свобода перемещений, далеко превосходящая транспортные возможности шестнадцатого века, чтобы единый мир стал в основном миром европейским. Поскольку эта цель вообще могла быть достигнута, она была достигнута только в девятнадцатом столетии. Но, не считая даже трудностей технического характера, в достижении мирового господства в любой области, будь то политика, экономика или культура, европейская цивилизация шестнадцатого века сама обладала рядом качеств, которые препятствовали преобразованию «тех чужих стран по образу нашей собственной».

Во-первых, эта цивилизация складывалась под влиянием идеи разнообразия. Разделенная на конкурирующие политические, а с шестнадцатого века и религиозные, объединения, Европа эпохи Возрождения была плюралистическим обществом, лишенным единого центрального управления, которое было характерно в те времена для Османской или Китайской империй. Европейцы не сомневались в превосходстве своей религии и своего образа жизни, но в то же время степень их отчуждения от «варваров», живших вдоль границ их мира, была меньше, чем в Китае. В результате внутрицерковных дебатов в средние века было сделано заключение о

\*Бернардо де Бальбуэна (1568 -- 1627) -- выдающийся испанский поэт. Одно из главных сочинений -- поэма «Величие Мехико» (1604 г.).

\*Коатликуэ -- в мифологии ацтеков богиня земли и смерти, мать бога солнца Уиццилопочтли.

том, что нехристиане вправе законно распоряжаться своей землей и добром и, следовательно, у христиан нет безусловного права выселять иноверцев из их владений. Когда в результате завоевания Америки испанцами вновь возникла эта дискуссия, виднейший испанский богослов того времени Франциско де Витория подтвердил вышеизложенную точку зрения и утверждал, что коренные американцы, продемонстрировав свою способность к общественной жизни, доказали тем самым, что принадлежат к «гражданам мира, которые составляют некоторым образом единое сообщество» (20).

Когда было решено, что все эти вновь открытые народы имеют право, по крайней мере теоретически, на свои собственные земли, европейское сознание их просто

противоречила христианским понятиям о благопристойности (22). В других вопросах, не столь тесно связанных с воззрениями христианства на правильный образ жизни, противодействие местным обычаям было гораздо слабей. Кроме того, в реакции европейцев на эти явления неприятно сопоставлялось любопытство.

То любопытство, с каким европейцы вступали в неевропейский мир, нашло свое отражение в путевых записках Пигафетты и Верацано: они были очарованы обычаями народов, которые им довелось встретить во время своих путешествий. Это любопытство означало определенную степень открытости европейской цивилизации шестнадцатого века. Иногда она оказывалась способна не только любопытствовать, но и восхищаться: так, например, Дюрер был в восторге от красоты привезенных из Мексики сокровищ Монтекумы и от искусства тамошних мастеров-ювелиров. Эта реакция показывает, что Европа отчасти проявляла восприимчивость влияниям неевропейской культуры, хотя в шестнадцатом веке изумление бывало основной реакцией чаще, чем желание соперничества (23).

Эта отзывчивость к некоторым сторонам неевропейской культуры в ряде случаев подкреплялась чувством вины. Хотя высокомерие, проистекавшее из ощущения превосходства, преобладало в отношении европейцев к неевропейцам, находились как в самой Европе, так и за ее пределами совестливые люди, задумывавшиеся над мотивами поступков и самими поступками своих собратьев-европейцев. Кроме всего прочего, именно растущее осознание той гибельной судьбы, которая постигла американских туземцев от рук испанцев, способствовало первым угрызням совести в неевропейском сознании. То пробуждение совести всегда будет ассоциироваться прежде всего с именем Бартоломео де Лас Касаса, испанского мо-наха, который, став

свидетелем страданий индейцев Антильских островов и материковой Америки, посвятил остаток своей долгой жизни разоблачению злодеяний своих соотечественников и прославлению культурных и социальных достижений народа, который, как он писал, близок к вымиранию (24). Например, упоминая о Юкатане, он восхищался «превосходными правителями, законами и добрыми обычаями» майя, организацией их рынков и строительством пирамид.

Сочетание у лучших представителей Европы шестнадцатого века таких чувств, как осознание разнообразия, любознательности и углубляющегося чувства вины, лучше всего иллюстрируют слова французского мыслителя-скептика Мишеля Монтеня; чтение хроники завоевания Индии, написанной Гомарой\*, побудило его задуматься над историей столкновения Европы с неевропейским миром:

«Столько городов разрушено до основания, столько народов истреблено под корень, столько миллионов людей перебито беспощадными завоевателями, и богатейшая и прекраснейшая часть света перевернута вверх дном ради торговли перцем и жемчугом...» (25)\*\*.

Поскольку серебро Индии\*\*\* и предметы роскоши с Востока продолжали течь

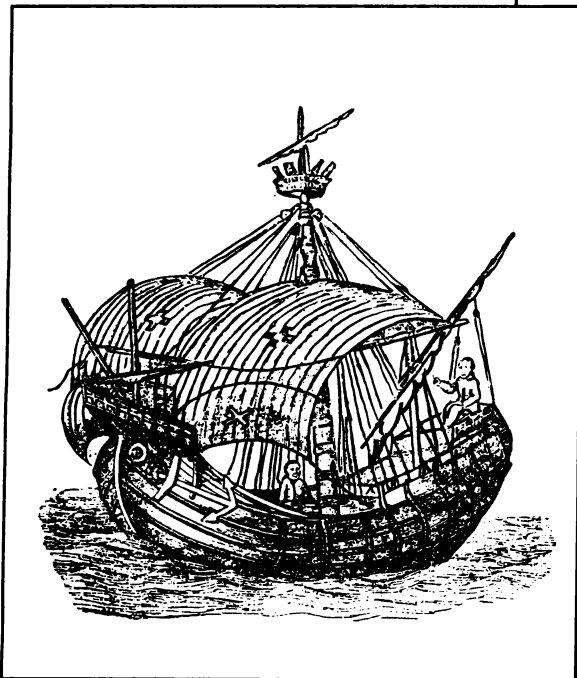
\*Лопес де Гомара. Общая история Индии. 1553 г. (прим. переводчика).

\*\*Мишель Монтень. Опыт. Перевод А.С.Бобовича.

\*\*\*Индия -- старинное название Америки (прим. переводчика).

в Европу, все больше приучая европейцев устремлять свой взор за моря в поисках того, что могло удовлетворить их аппетиты и потребности, постольку не могло быть возврата к предыдущей эпохе более ограниченных и менее корыстных контактов между ними и другими народами. К добру ли, к худу, но эра заморской экспансии европейцев, эффектно начатая плаваньем Колумба, объединила мир на новых путях, с которых ему уже никогда не было дано сойти.

Современник и соотечественник Монтеня Ланселот де ла Попелиньер спрашивает, что заставляет современных ему жителей Европы рисковать жизнью, богатством, честью и совестью, чтобы «нарушить покой наших братьев, живущих вместе с нами в большом доме Земли, которые хотят только дожить остаток своих дней в мире и довольстве» (26). Вопрос ла Попелиньера волнует нас до сих пор. Европейцы потрясли до основания «большой дом Земли», обшаривая его в поисках того, что, как они считали, было для них важнее всего. Алчность, высокомерие, догматизм -- все это сыграло свою роль. Но ведь европейской цивилизации был присущ и более благородный дух, который, даже когда она занималась разрушением, начинал одновременно создавать новый, единый мир. Этот дух лучше всего выражен в словах Лас Касаса, которые, вместе с вопросом ла Попелиньера, доносятся к нам через столетия. «Все люди на земле, -- писал Лас Касас, -- суть люди, есть только одна вещь, отличающая всякого и каждого человека -- то, что он наделен разумом». Эти слова -- тоже наследие 1492 года.



Корабль 1486 года

приплюсовало ко всем тем разнообразным народам, которым до этого принадлежал Земной шар. В конце концов, итальянцы отличались от французов, французы -- от англичан, все они говорили на разных языках. Также само собой разумеющимся считалось, что народы, живущие в различных условиях и климатических поясах, должны иметь свои собственные особенности и образ жизни, каким бы диким он ни показался глазам европейцев. Их одежда (или отсутствие таковой), их сексуальное поведение, их различные верования -- все это позволяло поместить их среди того множества примеров, которые были собраны в энциклопедической компиляции Иогана Босмуса «*Omnium gentium mores*»\*, впервые изданной в 1520 году, еще до того, как коренные жители Америки всерьез столкнулись с проявлениями европейской ментальности (21).

Такое приятие факта разнообразия человеческой природы -- это разнообразие считали следствием климатических и географических различий -- ставило предел, как с точки зрения необходимости, так и с точки зрения осуществимости, распространению европейских норм среди народов мира. Благодаря энергичным и неожиданно успешным усилиям испанских монахов в Мексике удалось убедить мужское население носить штаны, но это произошло потому, что набедренная повязка

\* Нравы всех народов (лат.)

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Antonio Pigafetta, *Magellan's Voyage*, translated and edited by R.A.Skelton, two volumes (Yale University Press, 1969), v.II, p.38 (Антонио Пигафетта. Путешествие Магеллана. Перевод В.С.Узина. Государственное издательство географической литературы. М., 1950, с.63).
2. Francois de Dainville, *La géographie des humanistes* (География гуманистов) (Paris: Beauchesne et ses fils, 1940), 92, n.3.
3. Bernard Lewis, *The Muslim Discovery of Europe* (Мусульманское открытие Европы) (Norton, 1982), cited James D.Tracy, *The Rise of Merchant Empires* (Возвышение купеческих империй) (Cambridge University Press, 1990), p.4.
4. Fernan Pérez de Oliva, *Historia de la invencion de las Yndias* (История открытия Индии), edited by Jose Arrom (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1965), pp. 53-54.
5. Об испанских колониях в Америке см.: Woodrow Borah, «The Mixing of Populations» (Смешение населения) and Magnus Morner «Spanish Migration to the New World prior to 1800» (Миграция испанцев в Новый Свет до 1800 г.) in Fredi Chiappelli, editor, *First images of America* (Ранние образы Америки), two volumes (University of California Press, 1976), vol.II, pp.707-722 and pp.737-782.
6. О португальцах в Азии см.: G.V.Seammell, *The World Encompassed* (Окольцованный мир) (University of California Press, 1981), p.292.
7. Eric R.Wolf, *Europe and People Without History* (Европа и люди, лишенные истории) (University of California Press, 1982), p.195.
8. Современный взгляд на вмешательство европейцев в демографические процессы за пределами Европы см.: Alfred W.Crosby, *Ecological Imperialism. The Biological Expansion of Europe, 900-1900* (Экологический империализм: биологическая экспансия Европы, 900-1900 гг.)

(Cambridge University Press, 1986) ch.9.

О сифилисе см. того же автора: *The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492* (Обмен, совершенный Колумбом: биологические и культурные последствия 1492 года) (Greenwood, 1972), ch.4.

8. *Sejarah of Melayu Annals* (Малайские хроники), translated by C.C. Brown (Oxford University Press, 1979), p.162.

9. Краткий, но содержательный обзор военных столкновений между Европой и неевропейским миром, см.: Geoffrey Perker, *The Military Revolution* (Революция в военном деле) (Cambridge University Press, 1988), ch.4.

10. *Malay Annals*, p.132.

11. Fernao Mendes Pinto, *The Travels of Mendes Pinto* (Путешествия Мендеса Пинто), edited and translated by Rebecca C. Catz (University of Chicago Press, 1989).

12. Philip D. Curtin, *Cross-Cultural Trade in World History* (Межкультурная торговля в мировой истории) (Cambridge University Press, 1984).

13. William Lytle Schurz, *The Manila Galeon* (Манильский галеон) (Dutton, 1939).

14. Bernardo de Balbuena, *Grandeza Mexicana* (Величие Мехико) cited in *El Galeon de Acapulco* (Галеон из Акапулько) (Mexico City: Instituto Nacional de Antropologia e Historia, Museo Nacional de Historia, 1988), p.78.

15. Curtin, *Cross-Cultural Trade in World History*, p.143.

16. Hugh Honour, *The New Golden Land* (Новая золотая страна) (Pantheon, 1975), pp.83-91.

17. Alonso de Zorita, *The Lords of New Spain* (Властелины Новой Испании), translated by Benjamin Keln (Rutgers University Press, 1963, p.291).

18. Crosby, *Ecological Imperialism*, ch.3.

19. James Muldoon, *Popes, Lawyers and Infidels* (Священники, юристы и неверные) (University of Pennsylvania Press, 1979).

20. Cited by J.H. Elliot, *The Old World and the New, 1492-1560* (Старый и Новый Свет, 1492-1560 гг.) (Cambridge University Press, 1970), pp.45-46.

21. О Босмусе см.: Margaret T. Hodgen, *Early Anthropology in the Sixteenth and Seventeenth Centuries* (Ранняя антропология в шестнадцатом и семнадцатом веке) (University of Pennsylvania Press, 1964; repr., 1971), pp.134-143.

22. Charles Gison, *The Aztecs Under Spanish Rule* (Ацтеки под властью испанцев) (Stalford University Press, 1964) p.336.

23. Nicole Dacos, «Présents Américains a la Renaissance, L'assimilation de l'exotisme» (Дары американцев эпохе Возрождения: освоение экзотики), *Gazette des Beaux-Arts*, VI periode, LXXIII (1969), pp.57-64.

24. О Лас Касасе и его сочинениях см. в первую очередь: Lewis Hanks, *The Spanish Struggle for Justice in the Conquest of America* (Испанцы -- борцы за справедливость в период завоевания Америки) (University of Pennsylvania Press, 1949).

25. «Des Coches», in *The Essayes of Michael, Lord of Montaigne*, translated by Jonh Florio (1603) (London: Toronto: J.M. Dent and sons, 1927-1928), vol.3, p.244. (Мишель Монтень. Опыты, книга 3. «О средствах передвижения», с.165. Перевод А.С. Бобовича. Изд. АН СССР. М.-Л., 1960.)

26. Lancelot de la Popeliniere, *Les Trois Mondes* (Три мира) (Paris, 1582), p.38.

27. Cited in Elliott, *The Old World and the New*, p.48.

Об этом случае мне рассказали в Техасе, хотя произошел он в другом штате. В этой истории только один герой, тогда как во всякой истории героев, видимых и невидимых, живых и мертвых, тысячи. Его звали, помнится, Фред Мурдок. Он, как все американцы, был высок, ни блондин ни брюнет, с острым, как лезвие, профилем и очень немногословен. В нем не было ничего особенного, не было даже того стремления от всех отличаться, которое так свойственно юнцам. Любезный и благожелательный, он еще не утратил веры

## Хорхе Луис БОРХЕС

нет слов? -- заметил тот.

-- Вовсе нет, сеньор. Сейчас, когда я знаю секрет, я мог бы рассказать его на сотни ладов, исключаящих друг друга. Я не очень хорошо представляю себе, как вам объяснить, насколько все это важно, ведь сейчас наука, то, чем мы занимаемся, кажется мне совершенным вздором.

Помолчав, он добавил:

-- К тому же не так важна сама тайна, как путь, который меня к ней привел. Этот путь надо пройти самому.

Профессор холодно сказал ему:

# ЭТНОГРАФ

в печатное слово и в тех, кто его сочиняет. Он был в том возрасте, когда человек еще себя не знает и готов заняться всем, что ему ни подвернется: погрузиться в непостижимые тайны языка фарси или темную проблему происхождения венгерского, связаться в боевые действия, углубиться в алгебру, предаться оргиям или сделаться пуританином. В университете ему посоветовали изучить индейские языки. У некоторых племен на западе сохранились тайные обряды, и его профессор, человек уже в годах, предложил ему поселиться в индейской деревушке, чтобы узнать секрет, который колдуны открывают проходящему обряд инициации. А после возвращения ему предложили написать диссертацию, и университетское начальство согласно было ее опубликовать. Мурдок с радостью принял предложение. Один из его предков погиб в пограничной стычке с индейцами, и распри дней былых только укрепили его намерение сойтись с индейцами. Естественно, предвидя трудности, он полагал обязательно добиться того, чтобы краснокожие приняли его как своего. И он пустился в эту авантюру. Больше двух лет он жил то на лугах, то под открытым небом, то в индейской хижине. Вставал до зари, с наступлением темноты ложился, и сны стали спиться ему уже не на языке предков. Он свыкся с грубой пищей, обрядился в причудливые одежды, позабыл город и друзей, ему стали вняты вещи, которые никак не укладывались у него в голове. В первые месяцы обучения он делал тайные пометки, которые потом рвал, то ли чтобы не возбудить подозрений у окружающих, то ли потому, что больше в них не нуждался. По истечении срока, положенного для ряда духовных и физических упражнений, жрец велел ему вспоминать сны и на заре их рассказывать. Он вспомнил, что в полнолуния ему синились бизоны. Он рассказал эти повторявшиеся раз за разом сны учителю, и тот наконец открыл ему тайное учение. Однажды утром, ни с кем не попрощавшись, Мурдок ушел.

В городе его охватила тоска по тем первым вечерам в деревушке, когда его охватывала тоска по городу. Он пошел к профессору и сказал ему, что знает секрет, но решил его не разглашать.

-- Вы дали клятву? -- спросил тот.

-- Нет, дело не в этом, -- сказал Мурдок.

-- Там я понял нечто, о чем не могу рассказать.

-- Может быть, в английском для этого

-- Я сообщу ваше решение Совету. Вы намерены возвратиться к индейцам?

Мурдок ответил:

-- Нет, думаю, я не стану туда возвращаться. То, чему меня научили эти люди, может пригодиться когда угодно и где угодно.

Таким в общих чертах был этот разговор.

Фред женился, развелся и сейчас работает библиотекарем в Йельском университете.

## Хорхе Луис БОРХЕС

Милонга Мануэля Флореса

*Вот и конец Маноло.  
Как дважды два четыре,  
Сойдет в могилу каждый  
Живущий в этом мире.*

*Наутро пудя свистнет,  
И тьма меня поглотит.  
Сказал премудрый Мерлин:  
Нет вечности для плоти.*

*И оттого томлюсь я,  
И оттого тоскую,  
Что должен жизнь покинуть,  
Привычную такую.*

*Смотрю -- не понимаю,  
Куда девались силы?  
Мои ли это руки?  
Мои ль темнеют жилы?*

*Ах, навидались очи  
И доброго и злого...  
Кто знает, что увижу  
После Суда Христова.*

*Вот и конец Маноло.  
Как дважды два четыре,  
Сойдет в могилу каждый  
Живущий в этом мире.*

ПРИМЕЧАНИЕ: милонга -- народная песня, схожая с балладой. Жанр родился в начале века в предместьях Буэнос-Айреса: герои милонги часто изображены с ножовидными родами (рис. 1492).

## Координаты европейского культурного ландшафта во времена Христофора Колумба

**К**акую картину являл собой Старый Свет, когда его берега покинул Колумб, открыватель Нового Света? Картину переломной эпохи: крушение представлений о мироздании, страх перемены, адские муки и мечты о небесном блаженстве, Фаустова жажда деятельности и новые горизонты.

«В эпоху Возрождения у людей открылись

совсем неподалеку от нее. Райские кущи стали уже не метафизическим посулом, задачей топографического поиска. Отправляясь в плавание, Колумб хотел найти золото, Бога и земной рай.

Стремительный подъем городов, охвативший всю Европу, еще в средние века побудил богословов наделять вечный Иерусалим («город был чистое золото, подобен чистому стеклу». Откр.21.,18) вещественными атрибутами и, тем самым, -- овеществлению его духовной сути. В городах с крепкими высокими стенами, сторожевыми башнями, соборами, людными рыночными площадями, ремесленными мастерскими и богатыми домами знати зародились новые восприятия жизни и новые религиозные идеи:

## Герман ГЛАЗЕР

приобрели особую ауру. Фолькер Райнхардт в своей книге о Флоренции пишет:

*"Любоваться видом своего города для жителя итальянской коммуны XIV-XVI вв. было особым, чуть ли не сакральным актом, выражавшим восхищение неповторимостью, уникальностью и величием города. Патриотизм в то время был чувством, которое довольствовалось небольшими пространствами, но было оттого лишь сильнее. Коммуна не являлась случайным местом рождения, она*

# НЕБЕСА, ПРЕИСПОДНЯ, ГОРА И ДОРОГА

глаза, -- пишет Эгон Фридель в своей «Истории культуры Нового времени». -- Люди огляделись вокруг, они уже не всматривались в священные таинства Небес и страшные бездны преисподней, они не разглядывали больше и самих себя, размышляя о роковых вопросах происхождения рода человеческого и его предназначения. Устремив взгляд не к вершинам, не в бездны и не в глубь человеческого я, люди увидели Землю и поняли, что Земля -- их собственность: "Земля прекрасна и принадлежит человеку; впервые со времен грехов люди осознали это".

Но обращенность ко всему земному была лишь одним аспектом этой переходной эпохи. На примере Христофора Колумба видно, как продолжающееся воздействие средневековья толкает зачастую в обратную сторону. Единая религиозная картина мира была утрачена, и это порождало страх перед всем новым; неуверенность и разлад побуждали людей искать спасения в безумных идеях, стремление к высотам совершенства оборачивалось падением в бездны. Подобно двуликому Янусу, Ренессанс обращен и в прошлое и в будущее одновременно, он рассечен пропастью; по одну ее сторону -- идея сошествия в ад, по другую -- мечта о рае, здесь -- продажность церковников, там -- пробуждение совести, здесь -- деятельность в пределах города, там -- стремление к открытым просторам познания. История культуры, понимаемая как «география», обнаруживает ряд существенных изменений картины мира, его очертаний, которые произошли в середине тысячелетия.

### Тот свет на этом свете

В эпоху Возрождения возникает идея рая для людей, который предстает как картина земного блаженства. Средневековая «вертикальная» перспектива, соответствовавшая идее бессмертия души (покинув земной мир, она возносится, т.е. устремляется «вверх»), уже не устраивала людей. Они желали благоустроенной земной жизни со всеми ее красотами и радостями бытия. Столь типичное для человека средневековья чувство греховности -- соотносимое прежде всего с фигурой Иова, воплотившей «скверну» земной жизни, -- отступило перед уверенностью притязаниями на райское блаженство если уж не на Земле, то где-то



Памятник Колумбу, воздвигнутый в Генуе в 1862 году

*«Во имя упочения христианства деньги соединились с благочестием. Деньги были нужны, чтобы строить храмы, совершать крестовые походы, помогать беднякам. Деньги вместе с истовой верой придавали необычайную силу и красоту религиозной жизни, достигшей расцвета в XIII в. Горожане, за исключением разве что последних бедняков, отличались более искренней и деятельной верой, нежели сельские жители. В новых городах христианство отличала высокая эмоциональность, тогда как в селах и поместьях подобной была большой редкостью»* (См.: Б. Ланг, К. Мак-Даннел. «Небеса. Историко-культурное исследование образа «святого города Иерусалима» -- города эпохи Возрождения, т.е. средоточия высококоразвитой торговли, а также искусств и наук (с *homo universale* в центре внимания)

была чем-то своим, частицей самого горожанина. Потерявший ее терял и самое себя".

Появившиеся в эпоху Возрождения утопии и идеальные проекты утверждали, что город, подобный Иерусалиму, может быть создан людьми. При этом главенство геометрического начала рассматривалось как «имманентная трансцендентность» (смоделированная идея): "Кто узнает об одном городе, узнает обо всех, так они похожи друг на друга (насколько этому не препятствует местность)", -- сказано в «Утопии» Томаса Мора.

### Земные муки

Противопоставленная небесам в вертикальной плоскости преисподняя, понимавшаяся как подземелье, в котором царствует дьявол, как потустороннее пространство в глубинах земли, внушала ужас. Его возбуждали фантастические рассказы об аде. Однако еще ужаснее казались людям горе и муки на земле. Страшные бедствия: чума, сыпной тиф, корь, сифилис, оспа -- то и дело обрушиваются на Европу. Постоянный голод «подлого люда» часто приводит к болезненному смещению галлюцинаций с действительностью.

Пьеро Кампореизи оставил нам ошеломляющее свидетельство о «хлебе, порождающем мечтания». У горожан было достаточно пшеничного хлеба, а сельское население, питалось сплосью и рядом плохим хлебом, который содержал наркотические и ядовитые вещества, например спорынью. Но удивительные идеи и безумные представления порождались еще и тем, что был нарушен ритм жизни, а лучше сказать, ритм животного существования множества людей.

*«Хроническое недоедание, а зачастую и настоящий голод, которые уже сами по себе способствуют изменениям в человеческой психике и приводят к галлюцинациям, стали причиной своего рода коллективного погружения в мечты. Этим объясняются тогдашние массовые психозы -- состояние транса, пляска святого Витта (хорея), -- внезапно поражавшие целые общины и деревни. Здесь же и ключ к пониманию того факта, что для тогдашних людей мир был двуликим в силу их искаженного болезненного восприятия действительности. В этом мире все было настолько перевернуто с ног*



на голову, что даже общепринятым понятиям нередко придавался противоположный смысл».

«Лихорадающее», страдающее от бессонницы и голода общество воспринимало преисподнюю как реальность, то есть как сборище чертей, инкубов, кобальдов, вампиров, ведьм и оборотней. Католическая церковь при этом использовала «несчастья убогих» для усиления своего влияния и власти.

Смертность была высока, а следовательно, идея смерти и бренности всего земного постоянно присутствовала в сознании людей. Ни одна эпоха не насаждала с такой настойчивостью мысли о смерти, как XV век, -- считает нидерландский историк Йохан Хейзинга.

В мистериях постоянно обыгрывалась чья-то смерть; искусство умирать -- *ars moriendi* -- было темой многочисленных трактатов и произведений изобразительного искусства.

Мораль осуждала болезни, ибо в них видели кару, посланную за грехи (например, в случае сифилиса), или же козни и происки пособников дьявола -- этнических и религиозных меньшинств, скажем, евреев, и отдельных людей, в основном женщин (ведьм).

Ульрих фон Гуттен в «Диалогах» воссоздает воображаемый разговор большого сифилисом автора со своей «лихорадкой»:

Гуттен: Ты жжешь меня огнем.

Лихорадка: Я выжигаю лобострастие.

Гуттен: Ты причиняешь страдания.

Лихорадка: Я изгоняю скверну.

Однако Ульрих фон Гуттен приветствовал наступление эпохи разума и отвергал пугающие мысли о преисподней:

*"О век, о науки! Радостно жить... Возьми веревку, варварство, подыщи себе место сыски!"* Варварство этого не сделало -- оно задушило свободу и достоинство человека.

Общеизвестно, какие гнусности творились в эпоху Возрождения папством и правящими династиями итальянских городов-государств. Суды яростно искореняли уголовщину, столь частую в тогдашней повседневной жизни, но сплошь и рядом каратели обрушивались на безвинных «козлов отпущения». Признания вырывались под пыткой, приговоры приводились в исполнение со зверской жестокостью: при казни колесованием палач с помощью тележного колеса ломал жертве кости конечностей и спинной хребет, потом умирающего или уже мертвого протаскивали сквозь спицы колеса и наконец выставляли на обозрение на виселице или у позорного столба.

Инквизиция, впервые заявившая о себе еще в XI в., а к XV в. уже развернувшаяся со всей мощью, буквально понимала слова Христа (Иоанн, 15,6): *"Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают"*. Уже то, что суд над еретиками и сожжение их на костре называли «делом веры» (*auto da fé*, т.е. *actus fidei*), показывает все убожество извращенной религиозности.

В 1487 г. в Германии появилось сочинение под названием «Молот ведьм» («*Malleus maleficarum*»). Его авторами были доминиканцы, инквизиторы Генрих Инсиссторис и Якоб Шпренгер. В нем говорилось: неверие в существование ведьм есть ересь; ведовством занимаются преимущественно женщины, и к нему всегда причастен дьявол. Каждая страница этого сочинения, входящего в число позорнейших книг в истории человечества, однозначно свидетельствует о сексуально извращенной одержимости ее авторов, сформированной женоненавистничеством католической теологии.

Вскоре после открытия Колумбом Вест-Индских островов началось массовое уничтожение индейцев, и здесь ненависть и

репрессии инквизиции против иноверцев слились с безудержной жадой наживы, неистовый садизм -- с ханжеским христианским миссионерским самосознанием. В то время как конкистадоры насильничали и убивали, с лютой жестокостью осуществляя на деле культ мужественности (*machismo*), мастера слова, например придворный капеллан и воспитатель королевских детей Хуан Гинес де Сепульведа, сочиняли теоретические обоснования геноцида, жертвой которого стали миллионы.

Осуждение средних веков как темного средневековья, начавшееся с Ренессанса и популярное по сей день, требует по меньшей мере двух коррективов. Мрак спустился на Европу в конце средних веков; муки, на которые люди обрекали людей, намного превзошли метафизические адские кары. Между тем мрак Нового времени был уже тенью в игре света и тени, поскольку науки и искусства, живопись например, значительно содействовали тому, что у людей появилась возможность выразить свои надежды на лучшую, добрую, достойную человека жизнь.

Свет и тень нового дня в истории человечества пронизывают речь Джованни Пико делла Мирандола «О достоинстве человека», которую он написал в 1487 г. для предстоявшего в Риме диспута ученых Европы. Сочинение флорентийского гуманиста, умершего в возрасте 31 года (в результате преследований со стороны папы Иннокентия VIII), проникнуто характерным для Ренессанса *experimentum medietatis* (мыслительным экспериментом). Это попытка человека поставить себя в центре мироздания, облеченная, впрочем, в надлежащую форму: якобы Бог повелел человеку царить над всем сотворенным и ничем не ограничивать своей свободной воли:

*«Я поставил тебя в центре мира, дабы тебе удобнее было видеть, что в мире сотворено. Мы сделали тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, дабы ты с помощью собственного разума и к твоей собственной чести стал своим творцом и создателем, в какой бы форме ты ни воплотился. Ты можешь опуститься до низших созданий животного царства. Ты можешь по собственной воле подняться до высших, то есть божественных сфер».*

### Взгляд с вершины

Находясь в центре мира, смотреть на то, что уже создано и еще может быть создано в этом мире -- до этой возвышенной и самостоятельной позиции человеку предстоял долгий путь, на который его вдохновляли жажда открытий, дух изобретательства и жадность захватничества. Франческо Петрарка (1304 -- 1374) был первым, кто окинул мир взглядом с вершины. 26 апреля 1336 г. в Провансе Петрарка поднялся на гору Мон-Венто (1912 м над уровнем моря) и был глубоко поражен величественным видом от Альп до Марселя и Роны. Петрарка стоял «взволнованный и ошеломленный непривычным дыханием воздуха и совершенно свободным видом окрестности». (До сих пор неизвестно, на самом ли деле Петрарка поднимался на вершину или его описание -- плод фантазии и, следовательно, ранний пример восприятия «виртуальной действительности».)

Но наслаждаться этой картиной Петрарке мешала неспокойная совесть -- ведь душа должна не предаваться земным радостям, а только служить Богу. И Петрарка прочел брату, сопровождавшему его в путешествии, следующий отрывок из десятой книги «Откровения» св.Августина:

*«И идут люди дивиться вершинам гор и пучине морской, и далеко стремящимся*

*потокам, и пене океана и обращениям небесных тел, самих же себя не почитают».*

Здесь очевидно напряженное взаимодействие гуманистического самосознания и чувства вины верующего католика.

И как в жизни Петрарки, так и во всей эпохе Возрождения все более и более утверждался «мировой взгляд», *montes saeculi* (вершины мирские) стали более важными, чем *montes Dei* (вершины Божьи).

«Осторожное освоение горизонтальной плоскости окружающего ландшафта проявилось прежде всего в искусстве живописи, которое поначалу осмеливается изобразить на картинах лишь вид из окна церкви или других культовых зданий. Всюду, где в позднем средневековье ослабевало одно из пронизывавших все сферы бытия христианских представлений -- представление о порядке, врывались беспредельные разрозненные и уже не подчинявшиеся никакой теории реальные факты». (Карл-Хайнц Штирле).

Порой между точкой, где находился наблюдатель, и уже не такими дальними, как раньше, но все же дальними далями, которые в пейзажах развевались в виде «ковра жизни», простиралась теперь не суша, а море. В этом случае желание освоения пространств скрывалось особенно сильными страхами. История творения и предание о потопе -- "и воды стояли над горами" -- еще долго сдерживали познавательные способности людей.

Неукротимое бурное море вызывало мысли о несовершенстве творения, о грехопадении первых людей, которые погибли в водах потопа. Но именно поэтому оно вызывало восхищение тех, кто с бояливой радостью развивали уже не идеи «вертикального» благочестия, а напротив, испытывали «горизонтальную» жажду открытий. Подобно тому как Адам и Ева, пусть даже изгнанные из Божьего рая, пытались создать своей собственной земной рай (достаточно вспомнить фрески Сикстинской капеллы Микеланджело и изображения Евы -- Венеры в буколической живописи Ренессанса), так теперь вся природа -- и суша и море -- становится объектом освоения для человека.

Согласно Леонардо да Винчи, удовольствие живописца состоит в том, что он как свободный властелин творит разнообразие видов зверей, растения, плоды, села, земли, рушащиеся горы, местности, вызывающие страх и ужас, и приятные, красивые, прелестные луга с пестрыми цветами, что легко волнуются легким ветерком под нежным небом; художник изображает и беспокойное грозное море с бурными волнами в их сражении с ветрами.

*«Оно вздымает яростные волны и низвергается вниз, и обрушивает свои волны против ветра, который потрясает малые волны, и, заключив в себе и схоронив их в своей глубине, оно разрывает и разделяет ветер и перемешивает его со своей мутной пеной, и так бушует оно яростно, пока не успокоится».*

Море было обуздано и покорено благодаря творческому «воспроизведению», тем самым люди преодолели последнее препятствие на пути ума и зрения. Колумб олицетворяет смелость первооткрывателя, который мудро поставил себе на службу достижения прогресса в картографии, навигации и судостроении и осмелился испытать, что есть море, презрев связанный с ним мрачный миф.

Обнаруживается символическая связь между Мон-Венто Петрарки и мощной скалой *Ponta de Sagres* на берегу Атлантики -- здесь португальский принц Генрих Мореплавец

плаватель (1394 -- 1460) устроил исследовательскую станцию, где собрались картографы, математики, капитаны и судостроители всей Европы. Он был протагонистом группы теоретиков и практиков, чья деятельность начала эпоху открытий и «наступление на все моря и континенты».

Как пишет Дитмар Хенце в семитомном издании Э.Шмидта «Документы по истории европейской экспансии» (авторитетном исследовании с богатейшим справочным аппаратом), начался разрыв с мифом и постижение глобальных категорий. Границы неизвестного, не претерпевшие существенных изменений с древности, пядь за пядью сужались, натиск на неведомое, продолжавшийся еще в XIX в., уже ничто не могло остановить.

Период с XV по XVIII в. Хенце называет «самой бурной фазой в истории географических открытий, можно сказать, ее пароксизмом». Термин «пароксизм» в его медицинском и геологическом значениях достаточно хорошо передает как патологическую социальную, так и реальную политическую ситуацию эпохи: острые симптомы болезненных явлений -- бурное извержение вулкана.

### В пути

В средней части внутренней стороны триптиха Иеронима Босха «Воз сена» (созданного, вероятно, между 1485 и 1490 гг.) в обрамлении картины грехопадения, на которой рай выглядит вполне «земным» (слева), и сюрреалистической картины Страшного суда (справа) изображен груженный сеном воз, который победно катит среди широких солнечных просторов, окутанных легкой голубоватой дымкой. Шарль де Тольнай, опубликовавший исследование об этом триптихе, предполагает, что Босх имел в виду фламандскую поговорку: «Весь мир -- воз сена, и каждый берет от него, сколько может унести». Воз сена -- символ мирской суеты, и на нем устроились молодые влюбленные -- привлекательный образ радостей земной жизни:

*«Словно обезумев, все человечество: монахи, горожане, крестьяне, здоровые и хворые -- бросились к возу; кто-то уже попал под колеса, кто-то безуспешно старается приставить к возу лестницу, -- чтобы схватить клочок сена, иные отчаянно дерутся не на жизнь, а на смерть. Великие -- папа, император и князя -- торжественной процессией следуют за возом, в который впряжены люди. До ада недалеко, и они уже превращаются в звероподобных демонов. На фоне окруженного облаками солнечного диска возвышается Христос, он с огорчением и болью взирает на неотвратимые последствия тщеславия, которое увлекает человечество в ад».*

Дорога, изображенная на картине, символизирует путь человечества. На внешней стороне складного алтаря изображен странник, бредущий по дорогам «злого мира». Эта картина также содержит много аллегорических и символических намеков, но вместе с тем в ней явственно изображена реальность пеших странствий во времена Колумба.

Одетый в лохмотья бродяга с опаской оглядывается на собаку; поодаль работают мостильщики и пастух равнодушно наблюдает разыгравшуюся на его глазах сцену ревности; на заднем плане видна виселица, к ней ведут, вероятно, преступника.

Пыльные усеянные камнями дороги того времени с глубокой колеей, непроходимые в дождливую погоду, причиняли путешественникам немало страданий. Велик был

страх перед разбойниками и солдатами -- мародерами, которые не просто грабили, а чаще всего и убивали путешественников. Трактиры были убоги. «Кто приехал на постоянный двор последним, получит дрянной ужин и негодную постель», -- говорили в те времена.

Тем не менее дорога стала средоточием культурной жизни Нового времени, ибо путешествия играли в Европе все более важную роль, что обуславливалось экономическими, научными и политическими факторами. Масса школяров странствовала в поисках таких университетов, где они надеялись найти наилучших наставников (первоначально в области теологии, затем -- в медицинской, юридической и других нау-

*поддерживал знакомства, собирал впечатления и пытался воплотить их в словесной форме. Многие из того, что мы наблюдаем в последующие столетия -- срастание мира в единую множественно дифференцированную цивилизацию, -- Дюрер предвосхитил, отразив, точно в вогнутом зеркале, в своем нидерландском дневнике».*

Отец Парацельса, родившегося в 1493-м или 1494 г. в швейцарском местечке Айнзидельн, был переселенцем (и врачом). Вскоре после рождения сына семья переехала в Каринтию, в город Виллах. Вероятно, в Вене странствующий школяр Парацельс получил ученое звание бакалавра, доктором медицины он стал в Ферраре, затем служил



И. Босх. Воз сена. Триптих (центральная часть)

ках). Эта жажда опыта звала в дорогу художников. В семье Дюреров, например, путешествия и поездки были обычным делом. Предки Альбрехта Дюрера переселились в Венгрию, его отец переехал оттуда в Нюрнберг. Между 1490-м и 1494 г. Альбрехт Дюрер ездил в Базель, Кольмар и Страсбург, в 1494 -- 1495 гг. и в 1505 -- 1507 гг. путешествовал в Венецию, в 1519 г. -- в Швейцарию.

Наибольшую известность имеет путевой дневник Дюрера, который он вел во время путешествия в Бельгию в 1520 -- 1521 гг. Норберт Олер, автор «Истории путешествий в средние века», считает это путешествие свидетельством большой мобильности населения Европы в начале Нового времени; оно отразило также наличие международного сообщества художников и титанов духа:

*«Дневник Дюрера показывает, как почитали известного признанного художника властители и торговцы, гуманисты и люди искусства; как Дюрер заводил и*

военным врачом в разных странах Европы, ездил, кроме того, в Афины и на Родос. В 1526 г. он был пожалован званием гражданина города Страсбурга, позднее стал городским врачом и профессором в Базеле, но из-за судебного конфликта бежал оттуда через Регенсбург, Амберг и Форальберг в Санкт-Галлен. Парацельс жил и работал также в Инсбруке и Южном Тироле, в Ульме и Мюнхене, Пресбурге и Вене. Умер он в 1541 г. в Зальцбурге.

Эразм Роттердамский, как предполагают, внебрачный сын священника, родился в 1469 г. в Роттердаме, а учился в Париже. В университетские годы он несколько раз ездил в Нидерланды. В 1499 -- 1500 гг. он побывал в Англии, где познакомился с Томасом Мором. Это знакомство Эразм поддерживал во время своих позднейших путешествий в Англию. В 1514 г. он ездил в Базель, затем, после «неоднократной смены места жительства», провел в этом городе восемь лет, с 1512-го по 1529 г. Однако

враждебность сторонников Реформации заставила Эразма уехать из Базеля. В дальнейшем он странствовал по европейским городам, где был окружен величайшим почетом.

Николай Коперник родился в 1473 г. в Торуня на Висле в купеческой семье, предположительно немецкого происхождения. В 1495 г. он был избран каноником капитула во Фромборке (Фрауэнбурге), годом позже приехал в Болонский университет, отсюда перебрался в Рим. Медицину он изучал в Падуе, степень доктора канонического права была присуждена ему в Ферраре, после чего Коперник вернулся во Фромборк на должность каноника. Здесь он работал над созданием гелиоцентрической системы мира. Незадолго до смерти (он умер в 1543 г.) Коперник увидел первый печатный экземпляр главного труда своей жизни "De revolutionibus orbium caelestium libri sex" («Шесть книг об обращениях небесных сфер»). В юности Коперник учился в Краковском университете, где приобрел фундаментальные познания в астрономии, математике, аристотелевской философии и латинской литературе.

Краков -- особенно наглядный пример того, какой тесно взаимосвязанной и взаимопроникающей была духовная и культурная жизнь Возрождения. Конрад Целтиус учился в Кельне и Гейдельберге, преподавал в Лейпциге, Эрфурте и Ростоке; удостоившись звания poeta laureatus, он приехал в Краков, сблизился с польскими поэтами и учеными и основал здесь первое польское литературное общество. Родом из Ландау была семья Бонер, члены которой занимали важное положение в политике и экономике страны (их называли «краковскими Футтерами»). Уроженец Вейсбурга Иост Людвиг Диц стал секретарем польского короля Сигизмунда I, женатого на итальянке Сфорца. Диц поддерживал знакомство с Эразмом Роттердамским. Фейт Штос проживал в Кракове около двадцати лет и создал в этом городе свой шедевр -- алтарь Марии.

Тесное общение и оживленность обмена информацией, главными каналами которого были дороги, стали еще интенсивнее с появлением почты, организованной в 1490 г. по указу Максимилиана I (впоследствии германского императора). Почтовое сообщение находилось в ведении итальянского семейства Тассис (позднее -- Таксис) родом из Бергамо. В XVIII в. правовед Иоганн Якоб Мозер назвал учреждение почты деянием, сравнимым с Колумбовым открытием.

В Новое время оживленно обсуждаются категории всеобщего и одновременного, потому что существенным стал уже не только новый опыт в освоении пространства и переход от вертикальной ориентации к горизонтальной, но претерпело изменения и чувство времени. Эсхатологическое мышление, сосредоточенное на проблеме конца света и человечества, преобразовалось в соответствии с земным пониманием времени, которое заявило о себе еще в позднем средневековье в виде *diversitas temporum* (многообразие времени).

"Вопрос о том, что может сделать индивид для продления своей физической жизни, стал экзистенциальным вызовом. Объем знаний возрастал, их распространение шло все быстрее, а потому время заставляло все быстрее получать образование и научные познания. Развитие торговли и мануфактур требовало выработки новых форм экономики времени. Неторопливое церковное благочестие приходило в столкновение с необходимостью трудиться ради заработка. Ценообразование, а также темпы обще-

ственного выдвигания тех, кто благодаря богатству добился уважения и власти, порождали социально-этические проблемы. Кроме того, все большая самостоятельность отдельных функциональных сфер общественной жизни возбуждала внимание к временным характеристикам политических, правовых и социальных явлений. Изменения права (*mutatio legis*) и строя (*mutatio politarum*) стали предметом историко-политических размышлений" (Клаус Шрайнер).

Народная книга о докторе Фаусте, как в фокусе, собрала разнообразные направления развития этой переходной эпохи, колебавшейся между средними веками и Новым временем. Открыв, какие чудеса и возможности существуют в мире, Фауст "не захотел более называться теологом, стал мирским человеком, именовал себя доктором медицины, стал астрологом и математиком, а чтобы соблюсти пристойность, сделался врачом. Поначалу многим людям он помог своим врачеванием, травами, кореньями, водами, напитками, рецептами и клистирами. При этом был он красноречив и сведущ в Божественном писании. Знал он хорошо заповедь Христа: тот, кто волю Господню знает и ее претупает, будет вдвойне наказан. Ибо никто не может служить двум господам зараз. Ибо ты не должен Господа Бога испытывать. Все это развеял он по ветру, выгнал душу свою из дома за дверь, поэтому не должно служить ему прощения". «Легенда о докторе Фаусте» (перев. Р.В.Френкель), М., 1978, с.39). Герхильд Шольц-Вильямс, американская и немецкая исследовательница средневековья, в работе «Расколдованный мир» на материале легенды о Фаусте продемонстрировала болезненные проблемы интеллигенции эпохи раннего модерна, ее раздвоенность, обусловленную, с одной стороны, скептицизмом и, с другой, горделивым сознанием людей, постигших тайные науки.

Фаустова жажда знания поставила оккультные учения в центр публичных дискуссий; в духе Парацельса оккультизм превращается в подобие науки. Парацельс неоднократно утверждал, что все знание доступно человеку в виде квинтэссенции. Человек, по Парацельсу, есть центр Вселенной, сердцевина Неба и Земли. Бог не желает что-либо скрывать от человека; в свое время, то есть в ходе истории, ему все откроется. Развенчание волшебства, секуляризация, создание системы категорий эмпирического знания в наши дни предстает в виде специализации наук.

Фауст, слишком далеко зашедший в мыслительном эксперименте, в конце концов становится добычей дьявола. Процесс просвещения в целом привел к тому, что преисподняя и небеса утратили свою метафизическую исключительность и, поднявшись на вершину сознания автономии Человека, люди наметили дороги в мире, который им предстояло открыть и исследовать, расколдовать и покорить.

Трагедия Нового времени как диалектики Ренессанса и Просвещения (обращение их в свою противоположность) показывает, что рай на земле не был обретен. В лучшем случае он приобрел вид утопии. Она показывает и то, что дьявольское начало в человеке несет земле как *terre des hommes* (земле людей) чудовищные опустошения. Одно из пророчеств Леонардо да Винчи: "Дела людей станут причиной их гибели".

## Уильям ШЕКСПИР



### Сонет 129

*В растрате сил души на зов бесстыдства  
Суть вождельня. Вожделя, ты  
Мог злым, жестоким, грубым становиться.  
Презревшим клятвы, чуждым правоты.  
А утолив нужду, то, что манило,  
Стал презирать. И больше не в чести  
Былой предмет, как будто злая сила  
В соблазн вводила, чтоб с ума свести.  
Безумен тот, кто жаждет утоленья,  
Равно безумен утоливший страсть.  
Сперва манят блаженные мгновенья,  
А сон пройдет, - и не избыть напасть.  
Но зная все, парим еще охотней  
На небесах, влекущих к преисподней.*

## Э. КАММИНГЗ

*Представьте себе, например,  
что в краски полуночи,  
которые глубже, чем тьма,  
(в них я и Париж,  
и что-то еще)  
проникает сверкающий дождь,  
глубокий, прекрасный.  
И я (у окна  
в эту полночь)  
внезапно раскован  
стихийною пляской дождя,  
вернее, Того, кто умеет заставить  
усталые улицы, чинные крыши  
так обнаженно звучать,  
как будто часы  
отбивают мгновенья. Затем неизбежно  
сквозь шелест и всплески дождя  
затеплится утро. О, не удивляйтесь, леди,  
(если над пропастью дня) я сочиню  
миллионное стихотворение, попытаюсь  
внезапно Вас угадать. Вернее, создать Вас  
из тысяч разрозненных Вас,  
которые прячутся в Вашей улыбке.*

**В** гигантской летописи открытий, сделанных на суше и на море, в архивах, библиотеках, музеях, запечатлены свершения всех или почти всех народов Земли. Одна из самых славных ее глав принадлежит России.

И это естественно. Вспомним хотя бы, что если Колумб открыл Америку с запада, то русские землепроходцы -- с северо-востока. Именно они обнаружили и освоили Аляску, дошли до Калифорнии... Но это особая тема, и писать о ней надо отдельно.

Вспомним сначала, когда в России стало известно об открытии Колумба, о Новом

источник хронографа: сочинение Марцина Бельского (около 1495 -- 1575) «Хроника всего мира» (первое издание 1551 г., первый русский рукописный перевод 1564 г., затем 1584 г.). Это был первый польский ученый, писавший не на латыни, а на родном языке. В Россию его труд попал через перевод на белорусский язык. Конечно, произведение Бельского носило отпечаток своего времени -- вряд ли стоит указывать на некоторые содержащиеся в нем фантастические утверждения. Но фамилия Веспуччи названа почти правильно. И то, что Новый Свет назван по его имени (Америго) -- это тоже не ошибка.

Польша была одной из тех стран, откуда шли в Россию сведения о новооткрытых

## А. Д. ДРИДЗО

его портрет (такая легенда существует). И, вернувшись на родину, конечно же, рассказывал и о путешественнике, вернувшемся из-за океана, из неведомых прежде земель.

Кстати, в 1525 году в Мадриде побывало русское посольство князя И. И. Засекина Ростовского и дьяка С. Б. Трофимова; их сопровождали два переводчика. Было бы странно, если бы они ничего не слышали при дворе об открытии Нового Света, о Колумбе и его путешествиях. В том же году из Москвы была отправлена еще одна дипломатическая

# РУССКОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

Свете вообще.

Оказывается, сравнительно рано. В 1523 г. появляется русский перевод так называемого письма Максимилиана Трансильвана (1490 -- 1538), секретаря императора Священной Римской империи Карла V. В этом письме, адресованном одному из епископов, рассказывается о путешествии Магеллана и его спутников, в том числе о пребывании их в Южной Америке. Очень показательно, что перевод выполнен в том же году, когда был опубликован оригинал, и всего через год после возвращения экспедиции в Европу.

Итак, 1523.

А откуда впервые русский читатель узнал именно об открытии великого генуэзца? Очевидно, из одного сочинения замечательного ученого, настоящего имя и фамилия которого были Михаил Триволис (1470 -- 1556), а в России, куда он приехал в 1517 г. и где прожил всю свою остальную жизнь, его прозвали Максим Грек. Сочинение его (не датированное) содержит рассказ о плавании через океан (причем указана дата -- 1492), об открытии новых земель (в том числе острова Кубы -- его название впервые приводится по-русски). Правда, само имя Колумба Максим Грек не называет.

Оно прозвучало позже, уже в начале следующего, XVII века. В одном из русских хронографов, своеобразном историческом сочинении, говорится, что в лето 6992 (т.е. в 1492 г.) «отпустил шпанский король Фердинанд земли своя человека в дальние страны..., именем Христофора... и назывался Колимбос». И в том же хронографе впервые приводится и название Нового Света: «Ходил прежде со Христофором из Шпанские земли немчин именем Веспучей, а потом прозвали его Аммериком, от великого острова, что он нашел. А ныне тот остров немецкия люди почитают за четвертую часть света, и называют его Америкой».

Написано это в 1617 году. Известен и



Ф. В. Каржавин (со старинной гравюры)

землях за океаном. Сведения эти восходили к известиям, поступившим в Западную Европу. И еще один «мостик» оттуда, еще один источник информации -- это, наверное, Прибалтика.

Случилось так, что когда Колумб, открыв Новый Свет, вернулся в Испанию, там при королевском дворе находился художник из Ревеля (теперь Таллинн) Михель Зиттов (1468 -- 1525 или 1526). Судьба привела его туда 30 марта 1492 года и минимум до середины 1502 года он оставался придворным живописцем испанских королей. Разумеется, Зиттов не мог не видеть Колумба, безусловно слышал его рассказы. С точки зрения хронологии, вполне мог создать и

миссия -- на этот раз в Рим. Ее возглавлял крупный русский дипломат того времени, полиглот, знавший латынь, немецкий и несколько других языков, Д. Герасимов. В науке сложилось мнение, что первый перевод письма Трансильвана, о котором только что шла речь, принадлежит именно Дмитрию Герасимову. Вот и еще один русский человек, узнавший об открытии Америки там, куда стекались первичные сведения об этом...

А если вернуться к Прибалтике, то можно поставить вопрос так: Зиттов, конечно, знал Колумба, хотя документальных данных об этом нет. Но какова вероятность того, что кто-то из прибалтийцев встречался, скажем, с кем-нибудь из знаменитых конкистадоров?

Такой человек отыскался. Это Дионизиус Майдель, родившийся в Эстонии в XVI веке (видимо, в 1525 г.) и умерший там же адмиралом шведского флота в 1600 г. Да, в Америке он не был, но, попав в 1530-х гг. в плен к алжирским пиратам, свел благодаря этому обстоятельству знакомство с... покорителем Мексики Эрнаном Кортесом.

Как это ни странно, они встретились именно в Алжире, ибо Кортес, вернувшись в Европу, принял участие в походе против пиратов. И совершенно точно известен год этой встречи -- 1541. Известно также, что

Кортес подарил своему новому знакомому серебряный подсвечник, попавший затем в церковь в Мартна на западе Эстонии и сохранившийся до сих пор. Не сделан ли он был из серебра, добытого в Мексике? Знаем мы и дату передачи подсвечника -- 1595 г.

Рассказ о встрече с Кортесом (возможно, именно он и освободил Майделя из плена), о том, что конкистадор видел за океаном, сохранился в семье Майделей. Иначе он просто не дошел бы до нас.

А уже в XVII веке прибалтийцы побывали в Новом Свете и сами. Это было связано с колониальными планами герцога Курляндии (запад Латвии) Якоба (1642 -- 1682). Его корабли стали совершать рейсы в Вест-

Индию, а затем и в Бразилию с начала 40-х годов XVII века, а в 1652 -- 1660 гг. на вест-индском острове Тобаго существовала курляндская колония. Еще раньше курляндец Йоахим Деннигер принял участие в голландско-португальской войне за восточную часть Бразилии. Зная дату его прибытия туда (1630), можно сказать, что на данной стадии наших знаний он остается, видимо, самым первым прибалтийцем, ступившим на латиноамериканские берега.

Отзвуки всех этих событий вполне могли быть услышаны и в России.

Отзвуки... А можем ли мы назвать, когда сами русские люди попали в Новый Свет, -- точнее, в южную его часть, в те места, которые и были открыты Колумбом, -- прежде всего, на Антильские острова, в Вест-Индию?

Ответ на этот вопрос находим уже в следующем, XVIII столетии.

Однако не сразу. Первые десятилетия отмечены своеобразными чертами: не раз и не два к Петру и его преемникам обращались иностранные предприниматели и авантюристы с проектами колонизации латиноамериканских земель.

Первым был, по-видимому, английский купец Руперт Бек, предложивший Петру в 1711 году устроить колонию на... острове Тобаго, который был, по его словам, в это время «бесхозным». Бек знал о том, что этот остров когда-то принадлежал Курляндии, и предлагал царю либо купить его у курляндского герцога, либо, учитывая успехи России в Северной войне, как-то проще с ним договориться. Как писал Бек, царь, закрепившись на Тобаго, смог бы иметь «права торговли на всем берегу, создать колонии среди индейцев, торговать с французами, англичанами и испанцами, а также аругагами, калибами, караибами и другими индейскими народностями, что увеличит его торговые обороты и сильно обогатит его страну». Как видим, купец называет в своем письме вест-индские племена карибов и араваков. План этот Петром принят не был.

Чуть позже, в начале 1720-х годов, царю подали еще один проект. На этот раз он исходил от некоего голландца, предложившего отправить в Южную Америку военную экспедицию, успех которой, по его мнению, был гарантирован плохим оборонительным состоянием этих земель. Несмотря на весьма заманчивые описания богатств Нового Света и огромных выгод его колонизации, Петр не принял и этот план всерьез.

В 1732 г. один англичанин (возможно, Уильям Эдстон, посетивший Россию в 30-е гг. XVIII в.) предложил организовать охоту на китов у берегов Америки с базой в «Архангельске городе». Некто Б. Кнебель дважды обращался к русскому правительству с проектами по торговле с Испанией и ее владениями за океаном, в результате чего «Россия получит свою долю американского серебра...»

Практических последствий эти обращения не имели.

Тогда же всплыл еще один проект, на этот раз исходивший от голландца Симона Аброгама, якобы обнаружившего на материке Южной Америки, против острова Тобаго (как видим, этот остров не переставал волновать прожектеров), богатейшие земли, которые и предлагали колонизовать России. Этот проект вызвал довольно оживленную переписку на высоком уровне, включая Кабинет министров, но практических последствий не имел.

Наконец, тогда же из Лондона, от российского посла (и известного писателя) А. Д. Кантемира пришел документ, представленный португальцем по фамилии д'Акоста. Назывался документ так: «Проект

о поселении новой слободы в Америке между областями<sup>14</sup> подвластными Гишпанской и Португальской коронам». Автор его просил предоставить ему два военных корабля для овладения этими «областями», вверить ему управление ими, а он и его компаньоны, в свою очередь, обещали содержать там русский отряд в 500 солдат и платить России половину доходов от проданных земель, столько же -- от продажи товаров, а также 10 процентов от добытых драгоценных металлов и камней. В Петербурге начались переговоры с двумя представителями д'Акосты. Затем прибыл ирландец О'Брайен, которого предлагали представить во главе обсуждавшейся экспедиции.

Все это очень обеспокоило испанцев. Так как в этот период испано-английские отношения были весьма близкими, представитель Испании с тревогой сообщил английскому послу в Петербурге «о намерении русского правительства учредить поселение в части Америки», находящейся под властью испанцев. Тот заявил протест -- и услышал в ответ, что никаких планов колонизации Южной Америки Россия не имеет.

В самом деле, даже если бы не было противодействия Британии, а Испания отнеслась бы ко всей этой истории достаточно спокойно: отсутствие экономических интересов и в то же время необходимость понести огромные расходы несомненно продиктовали бы отрицательный ответ Петербурга на предложение португальского авантюриста.

Итак, колониальных планов в Южной Америке Россия не имела. Но места эти перестали быть такими незнакомыми, как раньше. Многие из обращавшихся с проектами сами побывали за океаном, и их рассказы не сводились к одним только рекламным преувеличениям. Начиная с петровского времени в нашу страну стали прибывать опытные и бывалые моряки, которым американские берега были неплохо знакомы. Поток информации усилился, приобрел более конкретный характер...

И вот теперь мы подходим к еще более важному вопросу: когда же первые русские люди увидели Антилы и Южную Америку своими глазами.

Я бы связал ответ на этот вопрос с тем обстоятельством, что при Петре Великом стали посылать многих молодых людей для военной и иной подготовки за рубеж. Особенное внимание уделял царь формированию военно-морских специалистов. Молодые люди из России обучались не только теоретическим основам морского дела. Они совершали дальние и длительные путешествия во все концы света в составе экипажей английских, голландских и иных судов. И, конечно, кто-то из них увидел в таких походах и берега далекой Южной Америки и Вест-Индии...

К сожалению, о самых первых таких поездках мы пока не знаем. Но традиция стажировки, скажем, в английском флоте сохранилась на многие десятилетия. Таких молодых русских моряков стали называть волонтерами. Вот по поводу одного такого волонтера, Никифора Полубояринова, есть абсолютно точные данные о посещении им порта Рио-де-Жанейро в Бразилии. Пока что это -- наиболее ранняя дата пребывания русских в Южной Америке.

Мичман Полубояринов и еще один молодой русский моряк -- унтер-лейтенант Т. К. Козлянинов в 1762 г. прибыли на стажировку в Англию. Полубояринова поместили на корабль «Спикер», принадлежавший Ост-Индской компании (с которой и договаривался о стажировке русский посол в Англии А. Т. Воронцов). На

этом корабле мичман отправился в Индию. Путь его лежал через Бразилию, куда «Спикер» и прибыл летом 1763 года. Полубояринов оставил дневник своего путешествия, опубликованный почти двести лет спустя -- в 1959 году.

За две недели пребывания в бразильском порту Н. Полубояринов внимательно присматривался к природе далекой страны, к тому, как так живут люди. Не ускользнуло от его внимания, скажем, то, что «народ там по большей части черный, привозной из Африки». Или еще, что коренные жители «никакого согласия с европейцами не имеют», пытались их «отогнать», но «с великими уронами от тех мест отходили». Хотя он и написал, что «за малобитием всего приметить невозможно», однако ему удалось кое-что записать в свой дневник, вычертить карты, сделать несколько рисунков...

Конечно, личность первого русского человека, побывавшего -- пусть и недолго -- в Южной Америке, вызывает законный интерес. Но что мы знаем о Никифоре Полубояринове?

Год рождения -- 1735. Поступление в Морскую академию -- 1753. С февраля 1757 г. -- он гардемарин, а после кампании 1757 -- 1760 гг. в Балтийском море -- мичман. Затем, как мы знаем, поездка в Англию, плавание в далекую Индию... По возвращении в Россию -- командир яхты «Св. Андрей», курсирующей из столицы в Шлиссельбург. С апреля 1766 г. -- лейтенант, получает год отпуска по болезни. Но и вернувшись на службу, в 1768-м и 1768 гг. «за болезнью» служит на берегу, в Петербургской корабельной команде.

Служба складывается странно -- то она идет на суше, то плавания какие-то короткие, вроде бы неподходящие для моряка, ходившего из Лондона в Калькутту. И тут новое поручение -- набор рекрутов в Пензенской провинции. А по возвращении Полубояринов становится... командиром придворной яхты «Петергоф». Назначение отнюдь не рядовое, предполагающее достаточно крепкие связи при дворе. И снова -- Пенза, опять набор рекрутов, а после, в 1770 г. -- опять та же яхта и опять коротенькие рейсы: Кронштадт -- Петергоф.

Уже два года идет война с Турцией, и Полубояринов вдруг оказывается на фронте -- вначале на Дунае, затем, в 1771 году, производит опись реки Прут, под самый новый 1772 год занимается трофейными судами, затем под его командой оказываются четыре малых корабля. Его производят в следующий чин: Полубояринов уже капитан-лейтенант.

Война продолжается, однако он уже вновь в Петербурге -- и опять не на строевой должности, а «капитан» в Кадетском корпусе. Но и это назначение -- ненадолго. В 1773 г. капитан-лейтенант принимает под командование бот и на нем доставляет на остров Эзель (Сааремаа) секретные пакеты. Это почетное поручение. Но с 1774-го по 1776 г. -- новое место службы -- Ревель -- и новый корабль -- «брандвахтенное судно». С весны 1777 г. Полубояринов -- капитан 2 ранга, командир брандвахты (это сторожевое судно, охраняющее вход в порт).

В 1780 г. -- отставка, следующее звание и «пенсион».

Больше о Никифоре Полубояринове мы не знаем ничего. Неизвестен ни год его смерти, ни причина того, что в сорок пять лет он уходит со службы. Даже отчество его неизвестно.

И уже совсем неясно, что же это был за человек.

Если моряк по призванию, то ведь он почти не плавал. Может быть, разведчик -- всегда успешно действующий разведчик --

такие перемены по службе?). С другой стороны, командование придворной яхтой никогда бы не доверили человеку без связей и устойчивой репутации.

А может быть, служба не была его призванием? Не влекло ли Полубояринова к чему-то другому? Ведь не случайно он вел дневник, а его спутник Козлянинов, скажем, этого не делал...

Кстати, вот у него все по службе было благополучно. Звали его Тимофей Гаврилович, обучаться морскому делу он стал с 1756 года, затем, как мы знаем, Англия, «изучение морской практики» (он, как говорится в его официальной биографии, «из Англии плывал в Восточную Индию и Америку»). Затем возвращение на родину, разные флоты, восхождение по лестнице чинов. Последняя должность -- командир порта в Архангельске. Там он в 1798 году и умер в звании вице-адмирала.

Два разных человека, две разные судьбы... Жаль, что мы так мало знаем об этих людях.

Буквально через несколько лет первый наш соотечественник, о котором есть данные, оказался на островах Вест-Индии. Звали его Федор Васильевич Каржавин (1745 -- 1812), и он имел все основания написать о себе так:

«Я объехал 3/4 света. Я прошел сквозь огонь, воду и землю... Я видел разные народы, знаю их обычаи, их промыслы, я измерил пучины и глубины, иногда с риском для моей жизни...»

Действительно, биография Федора Васильевича столь разнообразна, а приключения его настолько неожиданны и удивительны, что он заслуживает подробного разговора.

Отец Каржавина был купец-старообрядец, но семья никак не была типичной для этой среды. В ней росли сыновья, увлеченные не древней религией и не торговыми делами, а политикой. Старших братьев Федора называли «верных министров и сенаторов ругателями», а сестра Марфа, оказавшаяся в Оренбурге, осажденном войском Пугачева, была уличена в «возмутительных подговорах» и -- есть такие сведения -- даже арестована. В конце концов отец решил послать Федора со своим братом в Париж -- может быть, чтобы он не заразился примером старших братьев. Во французской столице ему пришлось прожить долго -- целых тринадцать лет. Федор получил там среднее, а затем и высшее -- медицинское -- образование. Но больше всего его интересовали языки -- древние и новые. К моменту отъезда на родину Каржавин знал их уже более десяти. Среди парижских его знакомых назову известного архитектора Баженова.

В 1765 году Федор Васильевич возвратился в Россию. Вначале он преподавал французский в духовной семинарии, но не ужился там, среди людей, которых называл потом «здесьними лжеучителями, а мне -- лжебратьями». Переехав через два года в Москву, он поступил к Баженову «архитектурным помощником» в «Экспедицию строения Большого Кремлевского дворца». Но и эта работа не принесла удовлетворения. Кроме того, обострились отношения с отцом, который желал видеть в Федоре своего помощника и не понимал его отвращения к

торговым делам. «Я, -- писал Каржавин, -- хочу видеть в себе от вольной крови рожденного человека, а жизнь делает меня холопом императоров и купцов».

И Федор Васильевич снова в Париже. «Спасся я бегством, -- писал он, -- в чужие края... не положил голову под поднятое уже надо мною колесо». В точности обстоятельства его отъезда так и неизвестны. Это одна из многочисленных загадок биографии Каржавина.

Не совсем ясны и многие подробности его парижского бытия. Как следует устроиться Федору Васильевичу не удавалось. Российский писатель Юрий Давыдов, посвятивший Каржавину свой роман «Неунывающий Теодор» (М., 1986), не без

в городе Св. Иоанна на Антиге. Оттуда ездил с гишпанцами по морю в Новый Йорк, в Кап Французский и в Гавану на острове Кубе».

Не касаясь приключений Каржавина в Северной Америке, обратимся к тому, где он побывал в Вест-Индии. Это, следовательно, Мартиника, затем остров Антигуа (британское владение), французская колония Гаити и, наконец, Куба, принадлежавшая тогда Испании. На всех этих островах Федор Васильевич был первым русским человеком.

Опять-таки о двенадцати годах его пребывания в Новом Свете известно не все. Однако мы знаем, что из первой поездки в США он вернулся на Мартинику в 1780 году и был назначен там переводчиком с русского при морском начальстве. Казалось бы, кто,

кроме него, мог говорить тогда на этом острове по-русски. Но, во-первых, Каржавин был прикосновенен к тайным операциям по вывозу оружия из Франции в США (между прочим, доставил его оттуда на Мартинику французский военный корабль), так что должность могла маскировать именно эти его занятия. А во-вторых, пригодился он и как переводчик: французы захватили английское судно, капитан которого выдавал себя за русского, а в доказательство показывал книги на русском языке. Федору Васильевичу не составило труда определить, что предполагаемый его земляк никакого отношения к России не имеет.

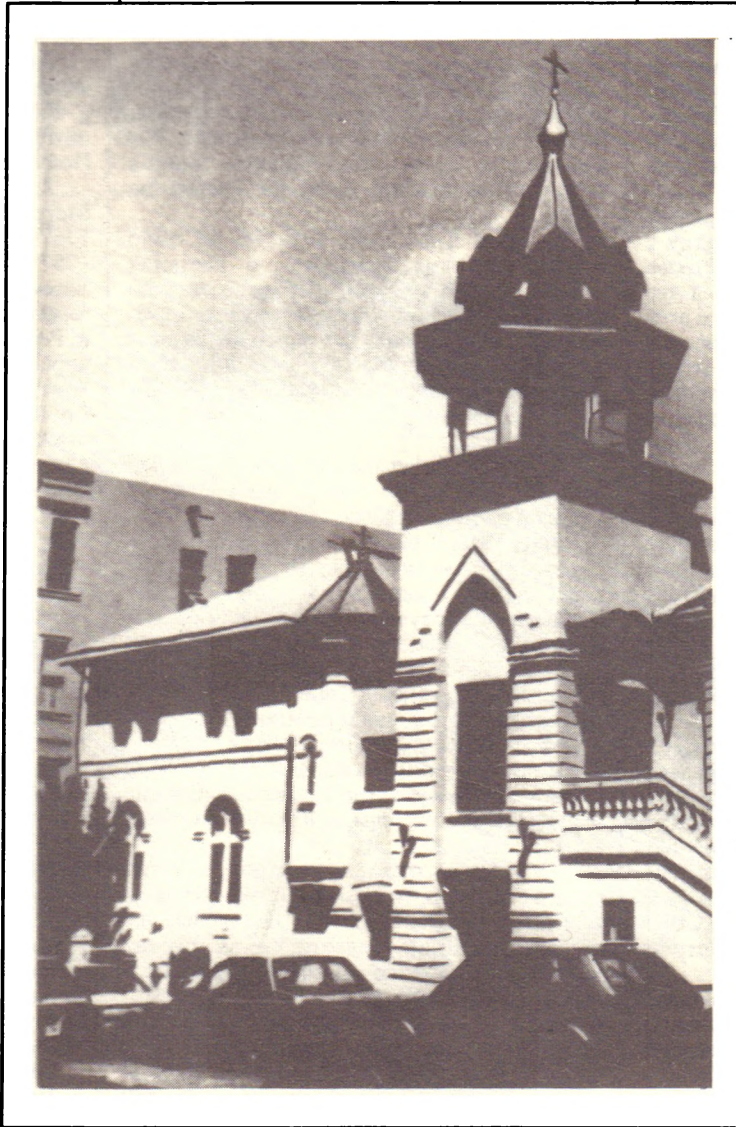
А вскоре после этого последовал новый рейс в США, однако неудачный: Каржавина захватили в плен англичане. Сначала он, как мы уже знаем, был на Антигуа, потом его отправили на Гаити, а оттуда на Кубу, где он пробыл с 11 августа 1782 по 4 августа 1784 года.

Вот что написал впоследствии Федор Васильевич о своем там пребывании:

«В Гаване и околичных местах прожил я 23 месяца... и сыскавал себе хорошее пропитание своим знанием, именно: лечил больных, составлял медикаменты для аптекарей, делал разные водки для питейных лавок и домов, и учил по-французски. По заключении мира велено всем иностранцам выехать из гишпанских селений в силу кастильских законов». Так Каржавин вновь оказался в США.

На родину он возвратился в 1788 году и занялся активной преподавательской и литературной деятельностью. До сих пор даже специалисты затрудняются назвать точное число его произведений -- переводных и оригинальных, вклю-

чая словари, грамматики и т.п. Дело в том, что лишь немногие из них подписаны полной фамилией Каржавина, на некоторых стоят только его инициалы, некоторые же вообще не подписаны. Возможно, что какие-то книги, автором которых он считается, принадлежат не ему, -- и, наоборот, какая-то часть его сочинений приписывается другим авторам. Достоверно известно лишь одно: Федор Васильевич издал несколько десятков больших и малых по объему книг. Часть из них имеет отношение к пребыванию автора в Вест-Индии. Это его автобиография, комментарии к следующим переведенным им книгам: «Сокращенный Витрувий, или современный архитектор» (1789), «Словарь архитектурно-технический» (1789), «Описание хода купеческих и иных караванов в степной Аравии» (1790), «Краткое известие о



Одна из первых русских церквей в Сан-Франциско

основания полагает, что в поисках заработка Федор Васильевич познакомился с Бомарше. Этот последний занимался тогда контрабандной поставкой оружия восставшим против англичан Соединенным Штатам... Во всяком случае, уже в 1776 году, под именем француза Теодора Лами, Каржавин отплывает на Мартинику -- остров в Вест-Индии, который уже тогда был французской колонией, а в мае следующего, 1777-го прибыл в США с грузом оружия и боеприпасов.

Но предоставим лучше слово самому Каржавину.

«Родился в Петербурге, в России, -- пишет он, -- учился в Париже, бывал в Петербурге, Виргинском, видел Филадельфию и Бостон, служил в городе Св. Петра на Мартинике в должности переводчика, потом сделан военнопленником англичанами, сидел в плену

достопамятных приключениях капитана д'Сивилия, трижды умершего» (1791) и, наконец, книги, написанные им самим: «Французские, российские и немецкие разговоры» (1791), «Вожак, показывающий путь к лучшему выговору букв и речений французских» (1794), «Новоявленный ведун, поведающий гадания духов» (1795).

Однако все писавшие о Каржавине единодушно считают самым интересным произведением его дневник -- к сожалению, не дошедший до нас. Может быть, опасаясь тайной полиции, автор сам его уничтожил? Но хочется все же надеяться, что где-нибудь в забытой архивной папке он дожидается исследователя, которому посчастливится сделать такое открытие...

В тех же книгах, что я назвал, Каржавин касался своих латиноамериканских впечатлений как бы вскользь, попутно. Думается, что причина тут просматривается ясная: Федору Васильевичу приходилось маскировать свои взгляды. Открыто высказывать их было опасно.

Он резко осуждал рабство. «Все берега Африканские и Американские, -- читаем мы в «Ведуне», -- стонут от бесчеловечья, с каким сахарные промышленники поступают с черноцветными народами». Писал Каржавин и о тяжелой судьбе «арапа» и о «несносных побоях тиранствующего над ним белого человека, который его без всякого права купил вместо скота для обогащения своего потовыми его трудами».

Не оставлял он без внимания и кровавые подвиги испанских конкистадоров, «которые с мечом в одной руке и с крестом в другой, сопровождаемые псами, изрубили, растерзали, сожгли двадцать миллионов душ как на островах, так и на матерой земле Америки...»

Каржавин выступает как поборник равенства народов, как ярый противник расизма: «Множество народов я видел, которые не так живут, как мы, не так, как и прочие европейцы; видел я людей разумных, видел глупых, везде нашел я человека, но дикого -- нигде, и признаюсь, что дичее себя не находил». Или еще: «Всякое дело, служащее к поношению целого народа, есть погрешение против благопристойности и знак гордости, следовательно, и малодушия, или, правильнее сказать, низкого и подлого духа».

Нельзя не почувствовать актуальность этих строк даже сейчас, более чем двести лет спустя...

Как видим, первый наш соотечественник, побывавший в Вест-Индии, был человеком явно незаурядным, широко образованным, придерживавшимся прогрессивных взглядов.

Любопытно, что и самому Федору Васильевичу хорошо было известно: он «первый из нашего народа человек, который двенадцатилетнее жительство имел в тех отдаленных странах и должен был видеть их примечательными глазами...»

Каржавин, однако, не подозревал, что, будучи первым россиянином в Вест-Индии, он в то же время не был там единственным человеком из России. Одновременно с ним (правда, не на тех же островах) находился еще один русский -- Василий Бараншиков. Был он родом из Нижнего Новгорода, купец второй гильдии. Но если Каржавин маршруты своих путешествий выбирал, в общем, сам, то Бараншиков попал на архипелаг совсем не по своей воле.

А произошло с ним следующее. В 1780 году он отправился на ярмарку в Ростов. Товар свой он продал, но не смог сохранить вырученные за него деньги. Остались у Бараншикова только две лошади. Он решил продать их и добраться до Петербурга, рассчитывая, что там ему повезет больше. Торговать в столице Бараншикову было нечем. Надо было приискать другое занятие. Так на

торговом корабле, отправлявшемся с грузом леса во Францию, появился новый матрос.

До Франции, однако, Василий не доехал. В одной из таверн Копенгагенского порта, куда судно зашло по дороге, его опоили, и очнулся он в трюме чужого корабля, который вез его в далекую Вест-Индию. В то время там была датская колония -- Виргинские острова. На одном из этих островов -- Сент-Томасе -- Бараншикова, которого стали называть Михаилом Николаевым, сделали солдатом колониальных войск. А затем в его судьбе наступила перемена еще худшая: его выменяли на двух «арапов», и он оказался белым рабом в доме губернатора испанской колонии Пуэрто-Рико. Стоит подчеркнуть, что ни на том, ни на другом острове до Бараншикова русских людей не было.

Всего вест-индский период в жизни нижегородца длился полтора года -- с 1782-го по 1783 г. И вечным напоминанием о нем остались девять клейм, которыми заклеили «Михаила Николаева» (и которые были изображены в книге, написанной им по возвращении на родину). Новый слуга, серьезный и работающий, обратил на себя внимание губернаторши, и Бараншиков, овладев испанским, рассказал ей о себе, о своих несчастьях, о том, что в далекой России у него остались трое детей. Жена губернатора помогла Василию. Его освободили, выдали нужные документы («пашпорт печатный на гишпанском языке») и дали возможность сесть на корабль, шедший в Европу.

Однако, прежде чем Бараншиков вернулся домой, ему суждено было пережить еще немало: несколько лет он провел в турецком плену, был снова в рабстве, попал потом даже в янычары. Наконец ему удалось бежать, и только в феврале 1786 года он оказался в родном городе. Свои приключения он описал в книге, называвшейся так: «Несчастные приключения Василия Бараншикова, мещанина Нижнего Новгорода, в трех частях света: Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 год» (первое издание вышло в Петербурге в 1787 году, затем за четыре года книга выпускалась еще дважды).

В этой книге материалы о Вест-Индии занимают небольшое место и сводятся, в основном, к описанию экзотической природы. Бараншиков, в частности, пишет о бананах, о кокосовых пальмах, о кофейном дереве, о ценных древесных породах. Рассказывает он и о дрессированных обезьянах. Тем не менее перед нами первые на русском языке зарисовки флоры и фауны Вест-Индии, сделанные на основе личных впечатлений. Я уже упоминал о клеймах, изображения которых также включены в книгу.

Это совершенно уникальный памятник эпохи рабства, подобного рода иллюстраций в отечественной (да и зарубежной) литературе мне встречать не приходилось.

Итак, первые наши соотечественники попали в Латинскую Америку во второй половине XVIII века. Перечень стран, посещенных ими, не так уж мал: Бразилия, Мартиника, Антигуа, Гаити, Куба, Виргинские острова, Пуэрто-Рико.

Следующий, XIX век, который открывают знаменитые русские кругосветные путешествия, принес новые впечатления, новые открытия, внес в историю американистики новые имена.

## Юрий КОЛКЕР

\*\*\*

*Противится твоя совесть,  
велик соблазн уклониться,  
Но битва -- предначертанье  
верховного божества.  
Итак, крепись и сражайся, --  
вождю говорит возница,  
И кони ржут, подтверждая  
божественные слова.*

*-- В бою ты не знаешь равных,  
тебе суждена победа,  
Ты праведен перед небом,  
а Кауравы -- грешны.  
-- Все верно, -- шепчет Арджуна, --  
но сердцу противно это:  
Ценой их жизни  
ни слава, ни царство мне не нужны.*

*Смотри, о бог кровожадный, --  
там братья мои и дяди,  
Там тот, кто мечом и словом  
меня научил владеть.  
Каких утех и сокровищ,  
какого призванья ради  
Их гибели предрешенной  
я должен сейчас хотеть?*

*Два войска стоят недвижны,  
и каждый знает свой жребий.  
Истории нет в помине,  
она еще не нужна.  
Служенье, мудрость, величье --  
сам выбери, что нелепей.  
Добавь любовь, если хочешь.  
Крепись. Получай сполна.*

1992

\*\*\*

*Грустно шотландцам.  
История не удалась.  
Жемчуг творительный  
родина порастеряла.  
Все чемпионам досталось:  
и воля, и власть.  
Не восстановишь  
таинственного матерьяла--*

*Юности гений дается народу лишь раз.  
Дик он и страшен,  
но делает верное дело.  
Пусть и обида забыта,  
и рана срослась --  
Не воскресишь Александра:  
душа отлетела.*

*Я в Эдинбурге осеннем недавно бродил:  
Людям невесело и  
в суеде фестивальной.  
Один заоблачный  
квельный свой лик обратил  
К траченным немочью  
стогнам отчизны печальной.*

1992

**В** 1875 году, завершив работу над «Приключениями Тома Сойера», Марк Твен писал У.Д.Хоуэлсу: «Я закончил книгу, но так и оставил героя подростком. Сделать по-другому, думаю, можно было бы лишь в форме автобиографии -- как в «Жилье Блазе». Наверное, я совершил ошибку, не написав «Тома Сойера» от первого лица... Вскоре я возьму двенадцатилетнего мальчишку и пропущу его через жизнь (в рассказе от первого лица), но не Тома Сойера -- он для этого характер неподходящий». В этих словах уже сформулирован основной замысел новой

длительность всех эпизодов на берегу. Таким образом, Гек и Том появляются на плантации Фелпсов, самое раннее, в середине сентября, на подготовку побега Джима у них уходит еще три недели, и, следовательно, финал романа можно датировать октябром. Отвечая как-то на вопрос одного американского мальчика, Марк Твен написал ему, что с удовольствием поменялся бы с ним местами и вернулся в детство, но при одном условии: чтобы всегда были лето, река и лодка. Идиллическое летнее время в романе -- это и есть реализация ностальгического мифа о вечной молодости, о возвращении в утраченный Новый Эдем детства -- мифа, который, как много раз указывалось, чрезвычайно

## Александр ДОЛИНИН

«Финне» метафоризации и символизации последовательно подвергается образ великой американской реки Миссисипи, который, не теряя своей конкретности, становится одновременно «всезначашим образом реки человеческой жизни» (Т. С. Элиот).

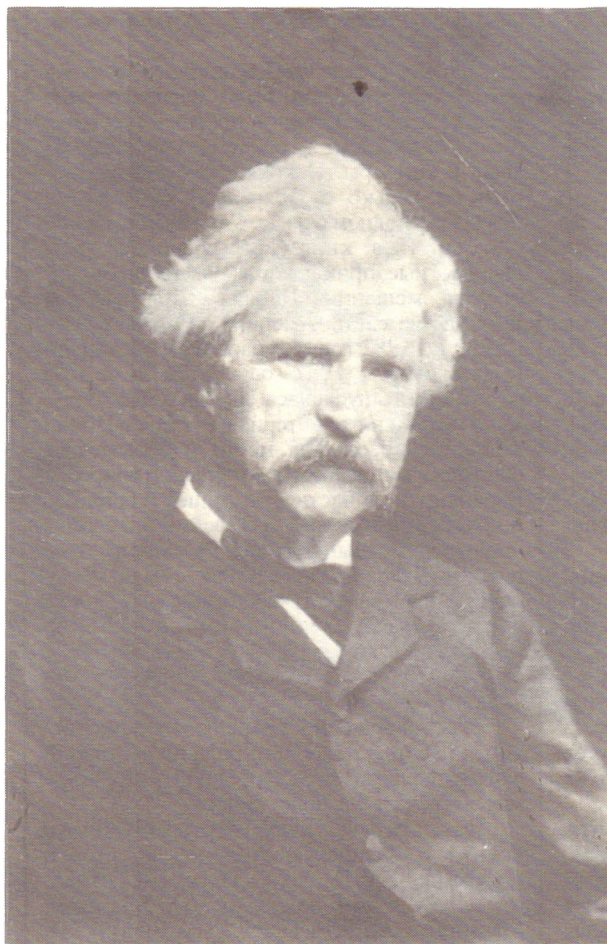
В 1842 году, то есть примерно в то же время, к которому отнесено действие романа, Чарльз Диккенс совершил путешествие на пароходе по Огайо и Миссисипи, и в своих «Американских заметках» он довольно подробно описывает места, по которым у Марка Твена плывут Гек и Джим. Сама река

# НЕСЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТАРОЙ АМЕРИКЕ

книги, которую Марк Твен вскоре назовет «автобиографией Гека Финна», причем крайне важно, что, обдумывая ее на столь раннем этапе, он сразу вступает в полемику с самим собой, со своим только что законченным «Томом Сойером».

Основное действие «Гекльберри Финна» разворачивается в течение всего нескольких месяцев, но зато это месяцы значимого, непрерывного, необратимого времени, имеющего ярко выраженную историческую окраску и символический смысл. Быстрое авантурное время отдельных эпизодов противопоставлено у Марка Твена, с одной стороны, изначально встроенному в роман времени историческому (речь идет о вполне конкретном периоде истории рабовладельческого Юга США -- о 1830 -- 40-х годах, узнаваемые приметы которых -- быт, нравы, социальные типы, «привычки» сознания -- постоянно обыгрываются в тексте, обращенном к читателю иной эпохи), а с другой -- идиллическому времени детства, времени неторопливого плавания вниз по Миссисипи.

Путешествие Гека и Джима на плоту, пока его не прерывают сюжетные события авантурных новелл, ностальгически осмысливается в романе как чистая длительность, как нескончаемая череда летних дней. Если в эпизодах на берегу счет идет на часы и минуты, то в речных сценах само время замедляется и растягивается. Не случайно странствование героев начинается в июне и завершается, когда, судя по всему, лето еще в полном разгаре (Том Сойер приезжает к тетушке Салли на каникулы), хотя при простом суммировании длительности каждого эпизода финал романа должен был бы приходиться на осень. Начав свое путешествие на плоту в последних числах июня, герои, согласно точному указанию в сорок второй главе романа, проделывают путь в 1100 миль, на что у них должно уйти около двух месяцев. Еще примерно месяц составляет суммарная



М. Твен

характерен для всей американской культуры.

Когда Гек вспоминает в романе об идиллической жизни на плоту, он сравнивает движение времени с движением реки, по которой они плывут. «Прошло два или три дня, -- говорит он, -- ...можно, пожалуй, сказать, что они проплыли -- так спокойно, гладко и приятно они шли». Это вполне традиционное метафорическое отождествление времени и жизни с рекой приобретает здесь особое значение, ибо в «Гекльберри

представляется ему «омерзительным склизким чудовищем, на которое противно смотреть», «огромной канавой, ... по которой со скоростью шести миль в час течет жидкая грязь», и, покидая этот «безотрадный край», он надеется «больше никогда не увидеть Миссисипи, разве что в тревожном сне или кошмаре». Взгляд стороннего наблюдателя-современника, принадлежащего к чужой культуре, не замечает в великой реке ничего пригодного для символического осмысления. И напротив, Марк Твен, выросший на Миссисипи и вспоминая много лет спустя реку своего детства, обнаруживает в ней поэзию и красоту, обнаруживает скрытый от чужака тайный язык, преисполненный значений. По верному наблюдению Л.Триллинга, Миссисипи в романе -- это своего рода «божество», «сила, как бы обладающая разумом и волей»: она спасает героев и уносит их прочь от спасения, вызывает в них благоговение и страх, угрожает и успокаивает. Она становится центральным, сквозным символом романа, превращается в мифологема, которую впоследствии подхватывает и вбирает в себя американская культура XX века.

«Марк Твен был первым, вдохнувшим жизнь и краски в то, что стало потом всеобщей легендой, -- пишет М. Каули. -- В «Жизни на Миссисипи» и в особенности в «Гекльберри Финне» он создал миф, который не умрет, пока за береговыми дамбами будут расстилаться хлопковые поля, а в сердцах американских школьников сохранится мечта о путешествии на плоту к теплому южному морю». Этот миф о Миссисипи, которую отныне будут называть «рекой Гека», получит дальнейшее развитие в творчестве многих американских писателей. Но для Марка Твена Миссисипи еще не была устойчивым символом с несколькими закрепленными значениями, он смотрел на нее не сквозь призму культурной традиции, а впрямую, глазами восхищенного ребенка, и



поэтому мифопоэтическое начало органично вырастает у него из реалистического изображения, а не искусственно ему навязывается.

И все же, наверное, было бы преувеличением считать, что, как пишет Т. С. Элиот, «если бы в книге не было реки, она превратилась бы в цепочку приключений со счастливым концом». Предоставив слово Гекльберри Финну, который говорит на неправильном, но чрезвычайно гибком и выразительном языке, писатель придает единство всему повествованию. «Автобиография Гека» -- это не условное Ich-Erzählung, освоенное и канонизированное европейским и американским романом задолго до Марка Твена, но типичный «сказ» или, используя формулировку Б. М. Эйхенбаума, «такая форма повествовательной прозы, которая в своей лексике, синтаксисе и подборе интонаций обнаруживает установку на устную речь рассказчика».

Эта установка обнаруживается с самого начала, со знаменитых вступительных фраз: «Вы про меня ничего не знаете, если не читали книжки под названием «Приключения Тома Сойера», но это не беда. Эту книжку написал мистер Марк Твен и в общем, не очень наврал». Гек непосредственно, «впрямую» обращается к читателю; его голос «звучит» как бы из жизни, из реальности иного, высшего порядка по сравнению с реальностью «книжной», которую создал «мистер Марк Твен». В оригинале эта «иллюзия сказа» ощущается сильнее, чем в переводах, благодаря просторечию и диалектизмам: слово рассказчика и других персонажей подается здесь как заведомо неправильное, социально-экзотическое, что создает комический эффект. В результате сенсационность и мелодраматичность фабулы смягчается юмором, делается почти неощутимой, а читательский интерес частично переносится с события на рассказывание.

Все без исключения американские авторы, писавшие о «Гекльберри Финне», отмечают, что Марку Твену удалось создать «новый литературный стиль», ликвидировавший разрыв между литературным языком и живой разговорной речью. Прежде просторечие и диалектизмы служили у американских писателей лишь средством речевой характеристики социально-экзотического персонажа и подавались на фоне «правильного» стиля повествователя. И только в «Гекльберри Финне» лингвистический натурализм «сказа», пришедший из тех низших прозаических жанров, с которых Марк Твен начинал свой творческий путь -- юмористического рассказа, фельетона, пародии, -- доказал свое право на существование в качестве единой реалистической стилистической системы, воспринятой впоследствии многими американскими писателями XX века.

Герой Марка Твена очень удобен как рассказчик, слову которого полностью доверяет читатель, ибо его статус гарантирует истинность сообщения. В век психологической прозы (напомним, что «При-

ключения Гекльберри Финна» вышли в свет почти одновременно с «Женским портретом» Генри Джеймса и «Смертью Ивана Ильича» Л. Н. Толстого, «Жизнью» и «Милым другом» Ги де Мопассана, уже после смерти Г. Флобера и Ж. Гонкура, Ф. М. Достоевского и И. С. Тургенева) Марк Твен предельно упрощает и сводит до минимума психологические мотивировки, «пропуская через жизнь» героя-подростка с одномерным, наивным сознанием. Его простодушие и наивность создают надлежащие условия для возникновения эффекта комического. А когда рассказчик осуждает себя за помощь беглому рабу, автор как бы незримо стоит у него за спиной и молча

Марк Твен в 1895 году, -- все общество признавало священную неприкосновенность права собственности на раба. Помочь вору украсть лошадь или корову было подлым преступлением, но помочь беглому невольнику... или не выдать его охотникам на беглых рабов при первом удобном случае считалось преступлением намного более страшным, и совершивший его человек покрывался пятном позора, которое уже ничто не могло смыть. Существование подобных взглядов среди рабовладельцев можно понять -- у них были на то веские экономические причины. Но то, что их могли разделять и действительно разделяли, да еще в особенно страстной, бескомпромиссной форме, бедняки... в наши дни кажется просто невероятным. Тогда же это казалось мне вполне естественным; естественно, что и Гек, и его отец, никчемный бродяга, должны испытывать те же чувства и разделять те же взгляды, хотя сейчас они представляются нам нелепыми. Это доказывает, что странную штуку, именуемую обычно нашей совестью, нашу непогрешимую наставницу совесть можно заставить принять и одобрить любую дикость, которую ей хотя бы внушить, если взяться за ее воспитание достаточно рано и не отступать ни на шаг от намеченной цели.

Помогая Джиму бежать из рабства, скрывая его от охотников на беглых рабов, Гек вступает в конфликт с собственной «совестью» и, следовательно, с общественной моралью -- конфликт, в котором побеждает его «здоровое сердце», воспринимающее Джима не как чужую собственность, не как предмет, подлежащий купле-продаже, но как равного себе «человека в человеке». Подобным же образом он относится и к другим людям: все они -- даже убийцы, воры, обманщики, лицемеры, глупцы -- удостаиваются его «чувства к человечеству». Он искренне жалеет не только своего сверстника Бака, убитого в кровавой схватке, но и свою мучительницу мисс Уотсон, не только раненого Тома Сойера, но и бандитов, оставшихся на затонувшем пароходе «Вальтер Скотт», не только добрую Мэри Джейн, но и Герцога и Короля, растерзанных толпой. И всеобъемлющее дружелюбие Гека -- это вовсе не глупое дружелюбие «небитого школяра», который по неопытности готов довериться первому встречному, как Жиль Блаз в начале романа Лесажа. Парадоксальным образом оно сочетается в нем с трезвым, скептическим взглядом на жизнь, с недетским знанием человеческих пороков и слабостей. «Простак» Гек далеко не так прост и невинен, как это может показаться на первый взгляд: чтобы защитить себя и Джима, он умеет безошибочно схитрить, сыграв на низменных чувствах людей, -- например, отпугнуть от плота охотников на рабов рассказом о заразной болезни родителей; он сразу распознает в Короле и Герцоге двойников своего отца; он осторожен и скрытен с незнакомыми. Гек Финн уже инициирован в жизнь -- он знает ее темные



воздаст ему хвалу.

Но несмотря на элементарность психологических мотивировок, Гекльберри Финн в романе интересен и как объект художественного внимания. В одиноком и отверженном мальчишке -- невежественном, суевном, смешном, униженном -- Марк Твен обнаруживает чувствительность и милосердие, обнаруживает способность жалеть и сострадать, принимать подлинно нравственные решения в ситуации сложного этического выбора и бунтовать против социально санкционированных норм морали и поведения. По замыслу писателя, главным свойством Гека должно было стать его «здоровое сердце» -- то есть врожденное, природное моральное чувство, которое заставляет его совершать поступки, несовместимые с воспитанными в нем и принятыми в обществе представлениями. «В ту давнюю рабовладельческую эпоху, -- писал

стороны и потому прежде всего стремится к одиночеству, к сохранению своего положения изгоя-бродяги, живущего вне социума. Отлично овладев искусством социальной мимики (вспомним, что ему не удаются лишь две роли -- роль девочки и роль иностранца), Гек пользуется им только когда это необходимо для самосохранения; его же мечта, его идеал, к которому он стремится, -- это не социальная роль (даже самая престижная), а полная и абсолютная свобода от всякого социального принуждения. И если можно говорить о Геке Финне как о носителе определенной идеи, то это типично американская идея подвижности, неукорененности, неоседлости, идея индивидуальной свободы. «Буду бродяжничать по всей стране, лучше по ночам, -- мечтает Гек в самом начале своего странствования, -- пропитание буду добывать охотой и рыбной ловлей; и уйду так далеко, что ни старик, ни вдова меня больше ни за что не найдут». И хотя, казалось бы, за месяцы приключений он обрел верного друга, заменяющего ему и отца, и брата, хотя его готовы усыновить вполне милые люди, хотя в родном Сент-Питерсберге его ждет принадлежащее ему богатство, его идеал остается неизменным до самого конца: «Я, должно быть, удеру на индейскую территорию раньше Тома с Джимом, потому что тетя Салли собирает меня усыновить и воспитывать, а мне этого не стерпеть. Я уж пробовал». Именно поэтому, кстати, англо-американский поэт У.Оден писал, что с точки зрения европейца «Приключения Гекльберри Финна» -- очень грустная книга, ибо Гек расстается с Джимом, и мы знаем, что они никогда больше не встретятся, то есть для американца свобода важнее любви.

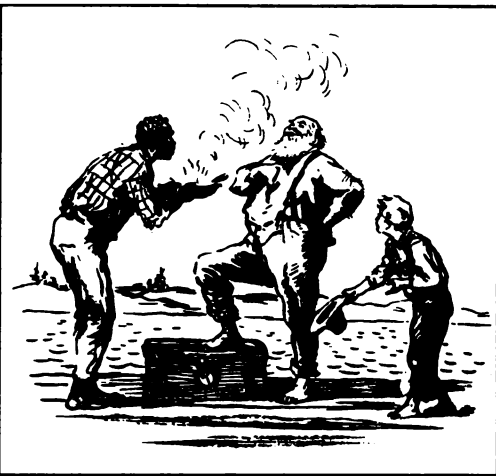
Как отмечает Ю.М.Лотман, реалистические образы «дают наименование спонтанно и бессознательно существующим в толще данной культуры типам поведения, тем самым переводя их в область социально-сознательного». Для американской культуры характер Гека Финна выполняет именно такую функцию -- он выявляет в ней устойчивый и распространенный тип поведения, который современные социологи назвали бы эскейпизмом маргинальной личности, и определяет его социально-культурную ценность. Поэтому в ходе развития сюжета сам характер героя не претерпевает существенных изменений: намеченный в основных чертах уже с первых глав книги, в дальнейшем он лишь раскрывается и углубляется, оставаясь равным самому себе. Сталкиваясь с жизнью Америки в самых жестоких ее проявлениях, Гек не взрослеет, не обретает новую жизненную философию, но сохраняет в себе обязательную для данного типа поведения «детскость» вечного мальчика, который всегда действует по обстоятельствам, «как окажется подручнее». В отличие от своего прямого потомка

Холдена из романа Дж.Сэлинджера «Над пропастью во ржи», он взирает на мир взрослых достаточно бесстрастно, без отвращения, потому что он находится *вне* того мира -- не на его пороге, не в процессе мучительного перехода, как Холден (или, скажем, Ник Адамс у Хемингуэя), а в постоянном положении добровольного изгнанника.

В связи с этим особо важное значение в романе приобретают мотивы испытания характера, выявления в нем нравственных потенций. События, связанные с побегом Джима, обнаруживают и испытывают «здоровое сердце» Гека; случайные встречи с опасными незнакомцами -- его хитрость и жизнестойкость; река -- его способность видеть прекрасное; плутни Короля и Герцога -- его здравый смысл и его покорность судьбе; общение с Томом Сойером -- его простодушие; домашний уют и семейственная устроенность Фелпсов -- его свободолюбие; искушение богатством -- его бескорыстие. Пройдя «через жизнь» и с достоинством выдержав все испытания, Гек в финале романа остается тем же простаком, который на первых его страницах мечтал попасть в преисподнюю, участвовал в играх Тома Сойера потому, что ему хотелось «поглядеть на верблюдов и слонов», удирал от отца и помогал беглому рабу. В этом смысле совершенно прав наивный критик из русского журнала «Женское образование», писавший в 1890 году, что Гек «добрый малый, который, попав в очень дурную среду, сумел избежать дурных влияний и все-таки остался тем же честным и хорошим человеком, каким был в начале». Именно *тем же человеком*, поскольку Гек не превращается ни в убежденного противника рабства (он по-прежнему истово верит в «священную неприкосновенность права собственности на раба»), ни в конформиста, признавшего над собой власть семьи и общества, -- он лишь сохраняет себя как особую, независимую, маргинальную личность и потому готов продолжить свои странствования.

В финале «романов воспитания», где определяющее значение имеет становление героя, мы обычно встречаем указания на результат «обучения», на то, что отношение героя к жизни, к самому себе, к обществу претерпело существенные изменения. У Марка Твена сюжет строится иначе -- не на переходе героя из одной возрастной стадии в другую, а на противопоставлении двух синхронных для него состояний -- естественного, свободного существования вне социума и вынужденного включения в социальную структуру. И хотя Гек может легко переходить из одного состояния в другое, этот переход всегда *обратим*, и его путь -- это не поступательное движение вперед, а челночное движение «туда и обратно». Поэтому важнейшую смыслообразующую функцию в романе выполняет противопоставление двух пространств, между которыми постоянно снуют герои, -- заселенного людьми берега реки и плота, который медленно проплывает мимо прибрежных городов и поселков.

В этой антитезе плот выступает как особо отмеченное символическое пространство, внутри которого отменяются все законы и нормы, предписывающие человеку определенный статус и регламентирующие его поведение. «Нет дома лучше, чем плот, -- восклицает Гек. -- Везде кажется душно и тесно, а на плоту нет. На плоту чувствуешь себя и свободно, и легко, и удобно». После каждого приключения на берегу, столкнувшись с «теснотой» и «духотой» социальных порядков -- с жестокостью, ложью, жадностью, стадностью, глупостью, он возвращается в свой «плавающий дом», как в некое волшебное убежище, спасающее от



погони и дарующее свободу. Например, став свидетелем кровавой бойни у Гренджфордов, Гек успокаивается, только когда плот выплывает на середину Миссисипи: «Тут мы... решили, что теперь мы опять *свободны* и в безопасности». Точно так же он воспринимает свой побег на плот в финале новеллы о наследстве Уилксов: «До чего хорошо было очутиться опять *на свободе*, плыть одним по середине широкой реки -- так, чтобы никто нас не мог достать!»

Если на берегу -- среди людей, в социуме -- Геку приходится врать, изворачиваться, скрываться, переодеваться, придумывать защитные роли, то на плоту -- рядом с Джимом, таким же гонимым и преследуемым «большим ребенком» -- он становится самим собой. Это освобождение от неподлинности, от власти условностей, запретов и социальных знаков в романе символизирует нагота: и Гек, и Джим плывут по Миссисипи без одежды, «голышом, и днем и ночью» («...я и вообще на охотник наряжаться», -- сообщает рассказчик), тогда как вне плота человека определяет и классифицирует именно его наряд (скажем, «чистая рубашка, белый полотняный костюм; по воскресеньям -- синий фрак с медными пуговицами» полковника Гренджфорда или «новая белая шляпа» и парадное черное облачение Короля). Раздеваясь ночью, герои как бы снимают с себя знаки социального статуса и становятся равными друг для друга личностями -- на плоту Джим перестает быть рабом, негром, преступником, а Гек -- парией, белым, подростком, плутом, пособником преступления. Непроницаемые перегородки, разделяющие их на берегу, здесь исчезают, обнаруживают свою иллюзорность. После того как Гек, победив в себе гордыню расового превосходства, просит у Джима прощения за глупую шутку («Прошло, должно быть, минут пятнадцать, прежде чем я переломил себя и пошел унижаться перед негром; однако я пошел и даже ничуть об этом не жалел и никогда не жалел»), ни разница в возрасте, ни разница в образовании, ни разница в цвете кожи и, соответственно, в общественном положении уже не имеют для них никакого значения -- каждый из них относится к другому как к сотоварищу, как к близкому и родному человеку, ради которого жертвуют собой и идут на унижение.

Центральная для романа оппозиция «плот-- берег» осмысливается в нем как система значимых противопоставлений: общечеловеческая мораль--норма, равенство--неравенство, свобода--рабство, миф--религия, смирение--гордыня, бескорыстие--себялюбие и т. д. «Самое главное, когда плывешь на плоту, -- говорит Гек, -- это чтобы все были довольны, не ссорились и не злились друг на друга». Этот наивно сформулированный закон «правильной жизни», по которому Гек и Джим строят свои отношения, постоянно нарушается всеми остальными людьми,



которые не принадлежат к их общине. В домах, поселках и городах на берегу, изображенных Марком Твеном с не меньшей отчужденной неприязнью, чем Диккенсом в «Американских заметках», господствуют совершенно иные жизненные принципы и установки, иные типы взаимодействий и связей. Человек здесь отождествляется с его социальным статусом и оценивается по иерархической шкале знаков социального положения; деньги и власть становятся объектом поклонения и вождения; стереотипы, бессмысленные обычаи и условности приобретают абсолютное владычество над сознанием. Ради фантома родового чести истребляют друг друга гордые «аристократы» Гренджфорды и Шепердсоны, хотя никто уже не помнит, с чего началась их «кровная вражда»; ради утверждения своего превосходства над другими убивает жалкого пьяницу Богса полковник Шерборн; ради денег готовы перегрызть друг другу глотку не только бандиты и жулики, но и вполне добропорядочные горожане. Община вырождается в толпу, в «самое жалкое, что есть на свете»: люди, утратившие истинное человеческое лицо, объединяются в анонимное стадо, которое трусливо разбегается при виде двустолки Шерборна, впадает в экстаз на молитвенном собрании, безропотно верит откровенной наглой лжи Короля и Герцога, а потом, обвалюя их в смолу и перьях, тащит по городу на шестах. По отношению к этому миру Гек и Джим занимают позицию, характерную для всех персонажей этого типа -- простаков, шутов, «святых нищих», юродивых, чудаков, которые в различных культурах олицетворяют высшую правду, высшие общечеловеческие ценности, -- позицию непонимания. Подобно Дон Кихоту, они видят мир, но не всегда правильно «прочитывают» его, не всегда правильно расшифровывают его языки.

По сравнению с многозначными напряженными эпизодами странствия Гека и Джима, затянутые, перенасыщенные элементами буффонады и фарса главы финала, где в центре событий оказываются игры и затеи «романтика» Тома Сойера, производят впечатление спада. И хотя сам Марк Твен относился к финалу «Гекльберри Финна» с неподдельным энтузиазмом, бесспорно правы те многочисленные критики, которые оценивают заключительную часть книги как не вполне удачную импровизацию. Однако в решении писателя завершить путь героев комической квазиразвязкой все же есть определенная художественная логика, которую нельзя игнорировать. Дело в том, что по мере развития сюжета ситуация Гека и Джима становится все более и более безнадежной, а разрыв между смысловыми полюсами романа все более и более трагическим. После того как героям не удается осуществить свой план и пристать к берегу у городка Каира (речь идет о населенном пункте у слияния Огайо и Миссисипи, -- в современной транслитерации -- Кейро), где они намеревались сесть на пароход, идущий вверх по Огайо в свободные штаты, их путешествие теряет цель или, вернее, делается самоцельным -- ведь Миссисипи несет их в **глубь** рабовладельческого Юга, и желанная свобода остается только на плоту.

В условиях, которые по определению есть лишь «фаза, момент», их идиллия преходяща. Хрупкий дом-плот дает им не спасение, а передышку, которая оканчивается, когда плот захватывают Король и Герцог, порабащивающие Гека и Джима подобно тому, как настоящие короли и герцоги порабащивают своих подданных. Абсолютное противостояние героев миру рабства и несвободы грозит им гибелью, и Марк Твен, безусловно, отдавал себе в этом отчет. Но

трагическое разрешение конфликта отнюдь не входило в его замыслы, поскольку оно противоречило бы общей комической тональности романа и его «сказковой» повествовательной структуре. Именно поэтому он выбирает такой финал, который позволяет ему, с одной стороны, мотивировать освобождение Джима счастливым стечением обстоятельств, а с другой -- смягчить и даже отчасти снять «двоемирие» романа, выраженное в оппозиции «плот--берег».

В отличие от «вечного мальчика» Гека, проказник Том Сойер одновременно принадлежит обоим мирам и потому способен сыграть роль посредника между ними. Преобразуя серьезную, безнадежную ситуацию в смешную (хотя и небезопасную)



игру и втягивая в нее всех окружающих, он как бы подменяет центральную оппозицию романа другой, менее резкой антитезой «вымысел--реальность, игра--жизнь», на которой уже строились вступительные главы. В финале «Гекльберри Финна» мы обнаруживаем ряд ситуационных параллелей к его началу: Джим опять, как и во второй главе книги, становится лицом страдательным, объектом проказ Тома; герои снова совершают побег на остров; подкоп, который они роют, напоминает о том, как Геку удалось выбраться из хижины отца, и т.п. Тем самым роман получает композиционную кольцевую рамку, которая с двух сторон симметрично замыкает

линейный сюжет пути; равновесие, нарушенное бегством героев из Сент-Питерсберга, восстанавливается в его «двойнике» Пайксвилле, и герои возвращаются к своим первоначальным положениям -- Гек вновь готовится к победе, Джим вновь обретает статус, а Том вновь задумывает очередные «романтические» проказы. И хотя у современного читателя есть достаточно веские основания последовать известному совету Э. Хемингуэя и «остановиться на том месте, где негра Джима крадут у Гека», книгу Марка Твена все же следует дочитать до конца, ибо только комический, пародийный финал (при всех его излишествах и преувеличениях) придает ей формальную и смысловую завершенность, которой требовали от писателя законы жанра и к которой он стремился.

Когда «Приключения Гекльберри Финна» вышли отдельным изданием в США, американская литературная критика безмолвствовала. Лишь один журнал «Сенчурри», в котором раньше печатались главы из романа, счел своим долгом поместить небольшую рецензию на него, и этот доброжелательный отклик оказался единственной попыткой оценить новую книгу писателя как литературный факт, заслуживающий серьезного обсуждения. Зато педагоги, журналисты, члены библиотечных комитетов и прочие блюстители общественной ответственности не обошли «Гекльберри Финна» своим вниманием. А поскольку возраст героя заставлял считать главным адресатом книг его сверстников, она не просто выводилась за пределы «серьезной» литературы, но и была признана вредной для целей воспитания. Многие американские газеты с одобрением встретили скандальное решение библиотечного комитета в одном из центров новоанглийской культуры, городе Конкорде, изъять «Приключения Гекльберри Финна» из местной публичной библиотеки как «книгу грубую, непристойную и неизящную». Так, газета «Спрингфилд Рипабликэн» писала: «Конкордская библиотека заслуживает общественной похвалы за свое решение запретить новую книгу Марка Твена «Гекльберри Финн», ибо она вульгарна и низкопробна. ...Истории с Геком Финном ничуть не лучше по тону, чем бульварное чтиво, поток которого изливается на нашу публику, жаждущую крови и насилия. ...Уровень морали в книге настолько низок, что ее чтение может принести только вред».

Подобный уныло-моралистический взгляд на роман господствовал в Америке (и не только в Америке) еще, по крайней мере, несколько десятилетий. Т.С.Элиоту -- уроженцу того же штата Миссури, что и Марк Твен -- родители в детстве категорически запрещали читать книгу своего знаменитого земляка. В России авторитетный педагогический журнал в 1904 году доказывал, что все в «Гекльберри Финне» «до крайности грубо» и «незачем рано знакомить детей с такими темными, и главное, грубыми сторонами жизни». Пожалуй, только к середине нашего века репутация романа изменяется и его рассматривают как великий американский роман, как один из центральных документов американской культуры, без которого она не может быть правильно понята.

**Я** узнал о том, что Америку открыл испанский мореплаватель Христофор Колумб в школе, на уроке географии, примерно в то же самое время, когда Советское правительство в середине сороковых годов закрыло ее для нас, и мои родственники по материнской линии, проживавшие на другом берегу Берингова пролива, на долгие годы оказались за «железным занавесом». Именно Берингов пролив, а точнее водное пространство между двумя островами -- Большим и Малым Диомидом, один из которых принадлежит России, а другой -- США, было самым

и бород, стремились попасть в Америку совсем с другой стороны.

Продолжая тему приоритетов географических открытий, льщу себя и тайной гордостью, что из народа чукчей я наделал географических открытий несравненно больше, нежели Христофор Колумб, о приоритете которого спорят, присовокупляя к этому спору еще и притязания двух европейских народов, каждый из которых считает отважного мореплавателя своим соплеменником.

Так что если подойти к плаванию Колумба научно-географически, то его подвиг сужается до заслуги нахождения пути в Америку из Европы по самому непрактич-

## Юрий РЫТХЕУ

еще не очень верилось в то, что можно будет приезжать в Америку прямо с Чукотки, я по любезному содействию американского журнала «Нэйшнл Джеографик», проделав почти кругосветное путешествие, побывал и на Аляске, посетив и Малый Диомид, и Ном, и другие места. На острове Святого Лаврентия, в небольшом залеце местной баптистской общины я вслух вспоминал имена жителей советского селения Ново-Чаплино и был поражен возгласами удивления и нового узнавания близких и дальних родственников островитянами, долгие десятилетия изо-

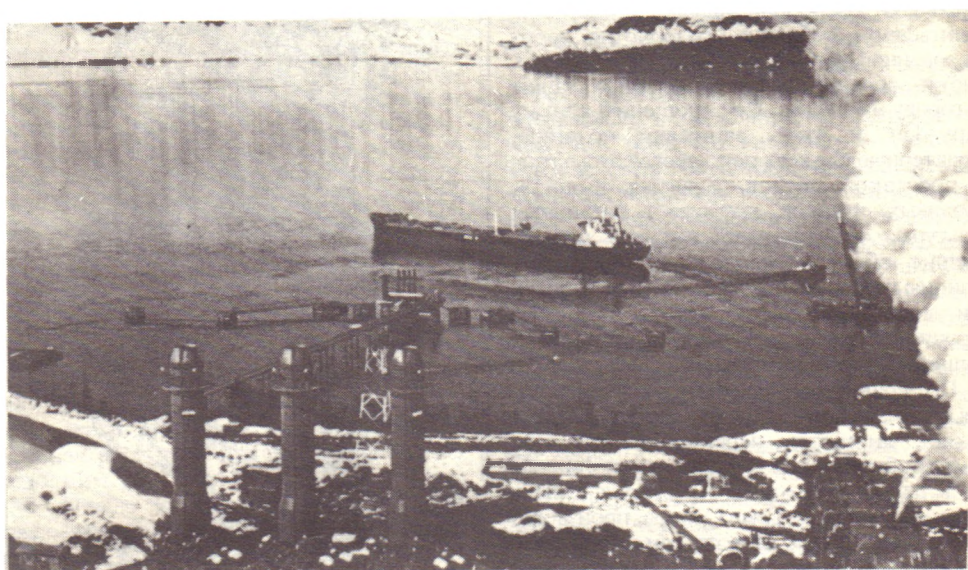
# У КАЖДОГО СВОЯ АМЕРИКА

подходящим местом для установления такого сооружения. Ведь между нашей страной и США больше нет иного места физического соприкосновения.

Хотя Америка по-прежнему была хорошо видна в ясную погоду с высоты мыса Пээк, прозванного русскими мысом Дежнева, а американцами Ист-Кейп, Америка вставала на горизонте плавающим в синеватом мареве мысом Принца Уэльского. По Берингову проливу проходит Международная линия изменения дат. Таким образом, когда на том берегу пролива еще воскресенье, то у нас уже наступает трудовой понедельник. Пропагандисты возвеличивания социалистического, советского образа жизни немало поэксплуатировали это обстоятельство, намекая на то, что географическое отставание на целые сутки неспроста, и оно подразумевает социальное, политическое и историческое отставание на целую эпоху, ибо по ту сторону пролива загнивал капитализм, а по эту -- процветал самый прогрессивный общественный строй -- социализм. Но даже в ту пору об истинном экономическом положении Америки у нас остерегались говорить, правда, не забывая напоминать, что наш рубль -- самая твердая валюта в мире. Но это утверждение немедленно развеялось, едва я только начал ездить за границу.

Приоритет в географических открытиях очень часто вещь спорная. Особенно когда это касается «открытий» обитаемых человеком земель. Ведь даже честь достижения Северного полюса никак не могут поделить Пири и Кук, хотя в том и в другом случае отважных первооткрывателей на вершину Северного полушария буквально принесли на собственных плечах гренландские эскимосы.

Что же касается открытия Америки, то здесь тоже не все ясно... На приоритет претендуют и древние викинги, и скандинавы, и русские мореплаватели... Но напрочь не принимаются в расчет коренные народы, давным-давно обжившие и освоившие Американский материк от Арктики до подходов к Антарктике. Забывают также и о том, что со стороны Берингова пролива древнейшие народы арктической Азии спокойно плавали в эту самую Америку на своих кожаных лодках, смотрели на нее каждый погожий и ясный день, не подозревая, что кто-то из европейцев, прозванных арктическими аборигенами «людьми с волосатыми ртами» из-за наличия у них усов



ному маршруту. Правда, судить его строго нельзя: плыл-то он пятьсот лет назад!

Одним из самых замечательных географических феноменов после плавания Колумба можно считать уже упомянутое мной закрытие большевиками Америки.

И это продолжалось почти полвека, так как только в этом году коренным жителям обоих берегов Берингова пролива снова разрешили свободно общаться.

Однако новое открытие Америки для жителей Чукотки происходит нелегко: многие старые родственные связи оборвались, долгая разлука разрушила старую дружбу, не говоря уже об экономических связях. Теперь надо все начинать заново. Тем, кто вспомнил своих родственников, узнал заново своих родичей, тем легче. Но многие потеряли старых друзей. Нового друга по правительственному соглашению не создашь за короткое время. Поэтому современные открыватели Америки, подобно спутникам Колумба, с известной настороженностью и опаской высаживаются на плоский берег Ном, вглядываются в лица людей с острова Святого Лаврентия и Малого Диомиды.

Кстати, коренные жители острова Святого Лаврентия и эскимосского селения неподалеку от бухты Провидения -- Ново-Чаплино -- близкие и кровные родственники друг другу.

Помню, полтора десятка лет назад, когда

лированными друг от друга по большевистскому приказу «закрытия Америки». Лет сорок назад старое эскимосское село Уназик (старое Чаплино), располагавшееся на выдающейся далеко в океан галечной косе, было переселено в бухту Тасик яксбы для удобства местных жителей. Точно так же поступили с древним эскимосским селением Наукан на берегу Берингова пролива, выселив и смешав его с чукотским селением Нуямю, подальше от пролива, от соблазна встреч со своими родственниками на охотничьей тропе Берингова пролива. Слишком много было у этих людей родственников за границей. Этот зловещий пункт в многопараграфной советской анкете еще недавно портил многим жизнь. Но если были прямые родственники в Америке, то это обстоятельство вовсе означало печать неизгладимой ущербности.

Но несмотря на драконовские меры по изоляции людей, оказавшихся волею судьбы по разные стороны государственной границы, старые друзья продолжали тайком встречаться в Беринговом проливе. И, хотя эти встречи держались в строжайшей тайне, всегда находилась свой доморощенный предатель, и людей начинали таскать на допросы в местные органы КГБ, где, между прочим, подвизался один-единственный «чукотский чекист», вырванный в нашем интернате.

Мои путешествия конца семидесятых и начала восьмидесятых по Америке прежде

всего поразили меня тем, как бережно на Западном побережье берегут даже малые знаки давнего присутствия русских. Не говоря уже о том, что в языках местных племен со времен так называемой «Русской Америки» сохранилось множество легко узнаваемых русских слов. От старой алеутки с русской фамилией Кашеварова я записал целую кассету старых русских песен. Алеутка не говорила по-русски, не знала значения слов, но определенно утверждала, что «это песня военная», «эта свадебная», а «это -- просто грусть».

До сих пор ходит множество спекуляций вокруг так называемой «продажи России Аляски» в 1867 году. Хотя, собственно говоря, никакой продажи Аляски не было. Мне довелось видеть собственными глазами оригинал документа и даже удалось снять копию в Госдепартаменте США «Договора об уступке права на административное управление территорией Аляска». Именно так на строгом языке международного права называется подписанное сто с лишним лет назад соглашение между Россией и Соединенными Штатами Америки. Уступалось право, а не продавалась земля, к тому же населенная коренными народами, кои и являются, собственно, хозяевами этой земли. Поэтому любые разговоры о неправомерности этой якобы «продажи», о мизерности вырученной суммы не имеют ни исторической, ни юридической основы, так как земля с населяющим ее народом вообще не может быть продаваема ни за какие деньги.

Тем более что коренные народы Аляски полноценное американское гражданство получили где-то уже в шестидесятых годах. Один из аборигенов острова Лаврентия показывал мне сертификат о предоставлении американского гражданства, где в графе «прежнее гражданство» стояло «российское».

Сегодня вслед за нашими предками и за Колумбом мы заново открываем Америку. И за простым географическим понятием лично для каждого из нас эта земля открывается, с одной стороны, как континент свершения самых дерзновенных человеческих устремлений, высочайших технических достижений, научных открытий, с другой стороны, как клубок, казалось бы, неразрешимых противоречий. Как континент, где не без труда, но работает демократия, где, во всяком случае, есть возможность в справедливом суде найти защиту своего человеческого достоинства.

Колумбу противостояло морское пространство, океанские штормы и течения, ропот команды, которая теряла веру в своего капитана, но у него хватило душевных и физических сил вести свою каравеллу вперед до конечной цели.

Нам же для нового открытия Америки пришлось преодолеть покрытые непроходимыми снегами лжи горы, завалы пропагандистской чепухи, ненависть собственных правителей, собственные предрассудки, нажитые за долгие годы господства «единой, самой правильной идеологии».

И совсем необязательно слепо копировать американский образ жизни, который для нас на протяжении многих десятилетий всегда окрашивался в черный цвет. Совсем необязательно строить «Макдональды» и заливать кока-колой и пепси-колой города и села нашей страны. Есть гораздо более ценное и нужное для нас в сегодняшнее трудное время: это американская способность до конца верить и полагаться на собственные силы, открытость и готовность с благодарностью воспринять чужой опыт, то, что в обиходе называется американской предприимчивостью.

Кто же будет главным юбиляром на этом всемирном торжестве, которое называется «Пятистолетие открытия Колумбом Америки»? Прежде всего, наверное, испанцы, которые снарядили экспедицию и построили весьма мореходные по тем временам корабли... Все американские государства, в особенности латиноамериканские, связанные прошлым и культурным наследием с Испанией. Сложнее с коренными жителями Американского континента, для которых за географическим открытием последовали века жестокого геноцида, уничтожения самобытных культур и древних государств. Деяния завоевателей, о которых в эти дни торжеств нынешнее большинство жителей Американского континента не любит вспоминать, буквально стерли с лица земли прекраснейшие и богатейшие цивилизации инков и майя, североамериканских индейцев. Этот печальный опыт человеческой истории не должен быть забыт за блеском праздничной

мишуры, и стоны и слезы миллионов убиенных, растерзанных, закопанных в земле, утопленных в бурных реках и морях коренных американцев не должны быть окончательно заглушены громом праздничных оркестров и звуками фанфар.

Сегодня Христофор Колумб принадлежит всему человечеству -- как Руаль Амундсен, Георгий Седов, Роберт Скотт, Юрий Гагарин... И может, в нынешних чествованиях первого из европейцев, достигшего берегов Америки, мы должны продемонстрировать именно единство человечества. Ведь в эпоху Великих географических открытий кроме чисто имперских и других амбиций зарождалась мысль и о том, что нет выше ценности на планете Земля, нежели сам Человек, его жизнь, его право на собственное счастье.

И это, в конце концов, самое главное, потому что каждый человек в какой-то степени Колумб своей жизни, и у него есть своя Америка.



\* \* \*

Где теперь? Где-нибудь на Тобаго теперь,  
в Тринидаде,  
Через тысячу лет,  
Что похожи на миг, что похожи на сон,  
бога ради,  
Сколько спал я, скажи, без подушки и  
полуодет?  
О, когда б не часы на дубовом комодке,  
в засаде,  
Мы б не знали, какой это час, это мир,  
это свет!

Помнишь, двое узнать не смогли почему-то  
друг друга  
В мире новом? Представь: буду черным,  
чернее чернил,  
И не вспомню, вот мука,  
Ни строки я из тех, что, находчивый,  
здесь сочинил,  
Не умеющий, впрочем, тростник  
отличить от бамбука,  
Но за рифмой спуститься готовый  
хоть в Нижний Тагил.

Как сейчас метиолам,  
минуя дворовую клумбу,  
Говорю я: спасибо, -- за то, что на запах  
вели  
В полутьме, так, быть может, сказать  
Христофору Колумбу,  
Что увел корабли  
Из Испании в ночь, доверяя волшебному  
румбу,  
Буду рад, если там, на краю мы сойдемся  
земли.

Так запомни пароль: Где наш дом?  
За Таврическим садом!  
Отвечать надо сразу, короткою фразой  
одной.

Для идущего рядом  
Это абракадаброй покажется, --  
значит, чужой!

Отойди. Извинись.  
Постарайся рассеянным взглядом  
Охладить его пыл  
под тропической красной луной.

\* \* \*

Спасибо кусту можжевельному,  
От взглядов меня закрывающему.  
Спрошу его, не надоело ему  
Весь год зеленеть вызывающе?

Сидеть на террасе мне весело  
В качалке за маленьким столиком.  
Пушистая зелень завесила  
Мой труд, словно шерстью иль войлоком.

И лишь стрекоза, как разведчица,  
Ко мне залетает, доносчица, --  
Что делаю, где-нибудь взвесится,  
Оценится, кто-то поморщится.

Нет, -- скажет, -- не видно трагедии,  
Не чувствуется страдания.  
Но скучно в железном столетии,  
Скажу, выполнять мне задание.



\* \* \*

Он поймал себя, пылкий, на том ощущение,  
Обнимая ее, что опять -- в лабиринте,  
Правда, в этот раз -- в маленьком,  
и восхищенье  
Испытал: с этим делом у них тут на Крите  
Хорошо, как нигде. И, смутясь, свою рыбку  
Прижимал, свою птичку, к себе  
что есть силы.

В полумраке она разглядела улыбку  
У него на лице и подумала: милый!  
Хорошо, что не все наши мысли и тени  
Мыслей, проблески, молнии, вспышки,  
догадки

Для сторонних: чужих и родных --  
наблюдений  
Абсолютно открыты, -- смешны они,  
сладки,

Прихотливы, сомнительны, произвольны,  
Безответственны, жутки,  
бог знает откуда

К нам приходят, темны их пути и окольные.  
Он сказал ей, опомнившись: ты мое чудо!

\* \* \*

Двенадцать месяцев поют о смертном часе...  
О.Мандельштам

Двенадцать цезарей поют о смертном  
часе.

Перелицованная чуть смешна строка.  
Но у Светония убийственных в запасе  
Рассказов множество -- и жизнь недорого:  
Его читали мы и радовались сходству  
С новейшим опытом, -- вот справочник  
чудес,

Учебник пламенный по злomu цветоводству,  
Махровый подлинник и курс КПСС!

Теперь посыпалось. Три века за три года!  
Катулл Авсония читает; клонит в сон:  
Все перепуталось. Теперь лишь позолоти  
Осталась ветхая -- и та с реки времен.  
Спешицей к вечности, сползает. Тучек стаю  
Проводишь под вечер глазами, -- ни к чему  
Знать, и не спрашивай, куда летят. Не знаю.  
Нет прозе рифмы, чем... Заткну ей рот,  
зажму.

## ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ

Оно шумит перед скалой Левкада...  
Е.Баратынский

Что ни поэт -- то последний. Потом  
Вдруг выясняется, что предпоследний,  
Что поднимается на волнолом  
Вал, как бы прятывшийся за соседний,  
С выгнутым гребнем и пенным хвостом.

Стой! Не бросайся в Левкадской скалы.  
Взгляд удержи на какой-нибудь вещи:  
Стулья есть гнутые, книги, столы,  
Буря дохнет -- и листочек трепещет,  
Нашей лица на ветру похвалы.

Больше в присыпанной снегом стране  
Нечего делать неву с инструментом  
Струнным. Сбылось, что приснилось во сне  
Сумрачном: будем с партнером, с агентом  
Курс обсуждать, говорить о зерне.

Я не гожусь для железных забот.  
Он не годится. Мы все не подходим.  
То-то ни с места наш парусный флот  
В век, обнаруживший смысл в пароходе:  
Крым за полдня, закипев, обогнет.

На конференции по мировой  
Лирике, к Темзе припавшей и Тибру,  
Я, вспоминая огни над Невой  
Парные, сопротивлялся верлибру.  
О, со скалы не бросайся, постой!

Кроме живой, что змеится, клубясь,  
В бедном отечестве, стыд многолетний,  
Есть еще очередь -- дивная связь:  
«Я», -- говорю на вопрос: кто последний?  
Друг, не печалься, за мной становясь.

**С**редиземноморье никогда не было единым. Все оно целиком, от северного побережья до южного, всегда оказывалось ставкой в игре и ареной борьбы. Не изменилось это положение и сегодня. Несомненно, и впредь будет то же самое. Мы могли бы просто не обращать на это внимания -- однако зачастую впадаем в тяжкий грех, обольщаясь благостным образом Средиземноморья, наконец-то сплотившегося в единое пространство, словно по манию неведомого божества. Разумеется, необходимо поскорей навести мосты между двумя берегами; обе стороны начинают осознавать свои общие инте-

рессы, поскольку исторические сдвиги все сильнее размывают устаревшие националистические схемы и требуют международной и региональной перегруппировки; и с той, и с другой стороны все заметнее искреннее стремление к жизни сообща, -- но все это не должно заслонять реальных трудностей, давнишнего недоверия, болезненного самоотождествления, доставшегося в наследство от истории, объективных противоречий и конфликтов, тормозящих любую инициативу, парализующих любую общий проект. Сколько бы ни распинаясь экономисты о том, какие выгоды сулит общее экономическое пространство, на котором бы распределялись богатства и блага, сколько бы ни нахваливали политики грядущее могущество Европы, которая после объединения Средиземноморья превратится в Ахилла без уязвимой пяты, сколько бы ни воспевали поэты, прозаики, эссеисты древнее дружество средиземноморских народов, общность питавших их источников, их нравы и обычаи, такие сходные между собой, и даже почти одинаковый цвет кожи, -- все это никогда не служило все-таки поводом к объединению, да и сейчас не заметно особой готовности к братанию. Средиземноморье раздроблено. Для преодоления этого исторического раскола необходим реализм. Холодный реализм, который состоит в правильном понимании интересов сторон. А потому первым делом необходимо выявить препятствия, скрытые конфликты и противоречия, которые мешают объединению и общим планам на будущее. Эти препятствия разнообразны. Как мне представляется, сегодня не менее, чем конфликт экономических интересов, рассматриваемых в самом широком смысле, а может быть, и более существен конфликт культур.

### Конфликт двух берегов

Цивилизационный фон, объединяющий определенные черты культуры и отводящий им надлежащее место и надлежащую роль, сам есть следствие своего рода мировой, планетарной культуры, воздвигнутой Западом, которая задает все ценности этой цивилизации и превращает ее в средство унификации, пользуясь в мировом масштабе своими системами информации и познания. Западная цивилизация стала мировой, а культуры остаются локальными. И в средиземноморском промежутке речь идет именно о распре, о конфликте между культурами и цивилизацией.

Средиземноморская цивилизация -- западная, полностью ориентированная на Запад. А культуры Средиземноморья,

## СТАРЫЙ И НОВЫЙ СВЕТ

напротив, разнообразны, они принадлежат и Северу, и Югу, и Западу, и Востоку. Конфликт между севером и югом Средиземноморья -- это конфликт не цивилизаций, а культур. Ведь оба берега включены в одни и те же основные структуры; повсюду с большей или меньшей полнотой торжествует материальная капиталистическая цивилизация; повсюду без помех циркулируют товары, и культурное сближение, обусловленное унификацией информации, все больше и больше сглаживает различия в каждодневном поведении между обоими берегами. Проблема

## Сами НАИР

грация создают взрывоопасную ситуацию, и проповедники исламского интегризма этим пользуются. Идея исламского интегризма -- это не просто уродливый нарост на культурной ткани арабо-мусульманских обществ; она уходит корнями в самые сокровенные глубины сознания этих обществ. Вот почему на интегризм нельзя воздействовать только силой. Необходимо бороться с носителями тоталитарных представлений о мире и с их тоталитарной практикой, но было бы ошибкой недо-

оценить тот культурный недуг, которыми они поражены: имеет смысл начать с лечения корней, а значит, следует обнажить эти корни, политические и культурные.

# СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ РАСПРЕЯ

сводится к следующему парадоксу: культура северного берега коренится в западной цивилизации и проистекает из нее, между тем как культура южного берега, культура ислама, проистекает из беспорядочного приспособления к этой цивилизации, в которой она не имеет никаких корней.

Этот вопрос можно рассматривать под разными углами зрения. Остановимся на религиозном аспекте.

В первом приближении можно сказать, что по всей протяженности средиземноморского побережья издавна идут разногласия между христианством, исламом и иудаизмом. Пожалуй, сегодня мы не обнаружим здесь яростного антагонизма, но несомненно, что на уровне глубинных структур сознания, определяющих идентификацию человека и принадлежность его к тем или иным общностям, эти три религии намечают достаточно четкие и резкие границы, позволяющие говорить о Средиземноморье скорее как о зоне культурного размежевания, чем взаимопроникновения. Сама проблематика секулярности, возникшая и получившая развитие на Западе, вписывается в культурный фон западной цивилизации, то есть, в широком смысле, цивилизации христианской. А история христианства с конца средневековья связана с господством Севера над Югом, и христианская мысль -- как, впрочем, и светская, внецерковная -- была не в силах оторваться от колониализма XIX века. В Магрибе универсалистская идея Французской республики потерпела полный крах под натиском колонизации, ее целей и задач, и алжирская война сто тридцать лет спустя оказалась ярчайшим воплощением этого краха. После Второй мировой войны вокруг магрибского вопроса развернулись дискуссии, вдохновленные ценностями Французской революции, свободой и равенством. Но подоплекой этого вопроса оставалась культурная почва арабо-мусульманского мира. Сегодня у многих народов мира происходит бурный процесс возврата к исламу; ислам более чем когда-либо играет в этом процессе центральную роль политической оппозиции и культурной объединяющей силы. Крах политико-экономического обновления этих стран, возникновение своеобразного недоразвитого капитализма и его неуверенное внедрение в средиземноморское пространство, демографический рост, безработица, эми-

### Идея интегризма

Прежде всего, со времен колониальной системы традиция ислама не претерпела никакой реальной эволюции; сперва ислам служил инструментом завоевания легкодоступного юга Средиземноморья, потом -- оплотом сопротивления колониальному обезличиванию, а позже стал аргументом в политическом споре с независимыми, но жестокими и авторитарными местными правительствами. В силу всех этих обстоятельств в исламе не произошло моральной и интеллектуальной реформы: этой задачи не ставили перед собой ни местные правительства, ни привилегированные социальные слои, на которые они опирались. Хотя формула Маркса, согласно которой религия -- опиум для народа, грешит примитивностью, тем не менее можно сказать, что в случае, который мы рассматриваем, религия всецело оказалась на службе у правящих элит этих обществ, которые ублажили себя иллюзией, что с помощью религии смогут на свой лад манипулировать населением, отчужденным от культуры. А для населения ислам оказался не столько опиумом, сколько мощнейшим рычагом общественного сплочения, политической активизации, подъема национального самосознания. Живая плоть -- и утопическая идея, как разящая сплеча сабля.

Именно потому, что элиты этих стран не предприняли тяжкого труда по культурному обновлению, на почве их демагогии укоренился интегризм, приносящий сегодня ядовитые плоды тоталитаризма.

Рассмотрим, например, проблему отношений между полами. Во всех странах, где властвует так называемый толерантный ислам, женщина как личность обладает статусом, более всего напоминающим о средневековье. Женщина не пользуется равными с мужчиной правами ни в браке, ни в разводе, ни в вопросах наследства, ни в семейных делах, ни в труде. Равенство полов есть нечто неслыханное и недопустимое даже для «толерантного» ислама; и интегризм, желающий всех безраздельно подчинить своей воле и осуществлять полный контроль над душами и телами, в первую очередь обрушивается на женщин, чтобы еще больше обострить неравенство, от которого они страдали и раньше. Иными словами, идея интегризма на плодородной почве ислама растит «государственную религию» и

использует все несообразности ислама, всячески их развивая и поощряя. Так называемая модернистская традиция в исламе не сумела подступить к проблемам отделения духовного начала от светского, религии от политики, гражданского от общественного, и теперь все эти проблемы интегрим обратил против нее.

Самоубийством было не замечать, что в конце концов все эти вопросы поставит сама историческая действительность: ведь она требует практической, объективной секуляризации, которая подразумевает как отрыв традиционной духовной власти от внецерковного обновления, так и секуляризацию социальной, поведенческой и культурной деятельности. Именно потому, что объективное обмирщение реально происходит, но и наталкивается на субъективную, консервативную по своей сути реакцию социальных слоев, более всего страдающих от этой эволюции. Интегрим -- это не тяга к национальному самосознанию, идущая из недр общества, это скорее консервативная по своей сути и пассивная реакция на эволюцию, реально происходящую в обществе. Иначе говоря, трагедия заключается в том парадоксе, что интегрим черпает свою теперешнюю силу в теоретической и практической слабости официального ислама, провозглашающего себя толерантным и реформистским. Эта слабость его связана со следующим противоречием: именно в Магрибе реформистский ислам оказался на стороне колонизаторов и с опозданием перешел на националистические позиции; на этой двусмысленной, противоречивой взаимосвязи между исламом и национализмом в борьбе за независимость базируются одновременно и политико-культурная слабость мусульманского реформизма, и растущая мощь интегрима, который претендует, и недаром, на роль нового радикального национализма, -- антизападного, но в основе своей преимущественно религиозного движения.

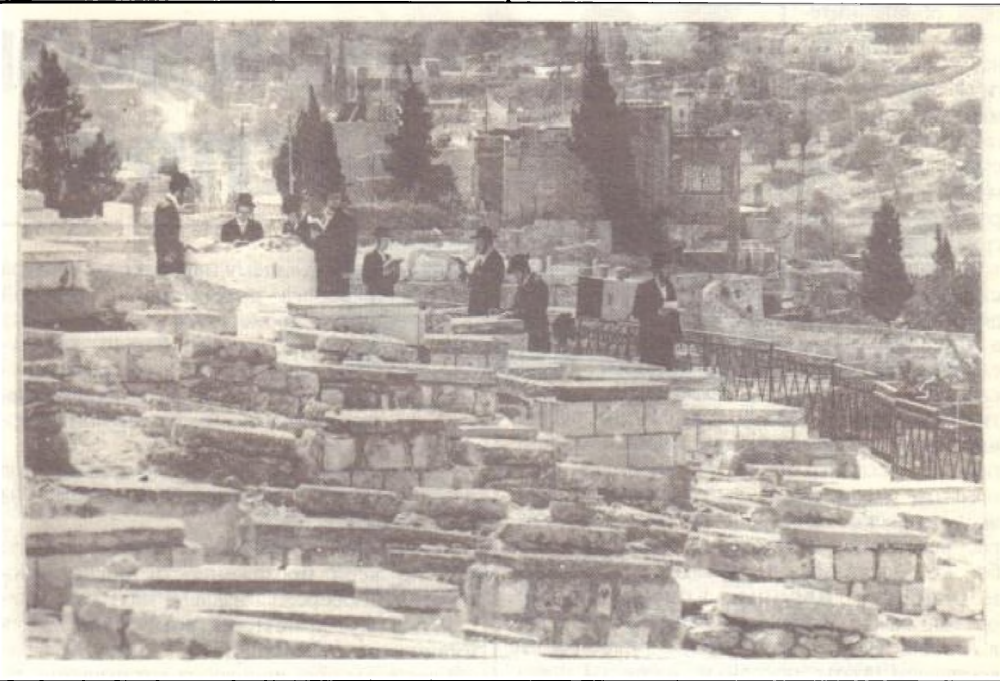
В эпоху колонизации строго замкнувшись в границах национального самосознания, а затем превратившись в официальную религиозную идеологию независимых государств, реформистский ислам так называемых *улема* (докторов права) блистательно умудрился всякий раз оставаться на стороне господствующей политической силы, но именно потому сегодня его теснит исламский интегрим. Все это было бы не страшно, если бы споры велись только в заоблачных высях теологии, но проблема приобретает черты трагедии, если вспомнить, что речь идет о будущем людей и обществ; уклонившись от вызова, который бросает им реальность, они в конце концов снова окажутся в хвосте истории. Ведь судьба народов решается не только в ходе ожесточенного соревнования между нациями, экономическими и политическими системами, она зависит и от их способности принять вызов других культур, вызов всемирной материальной цивилизации, идущей в наступление и стремящейся все подчинить своему принципу -- везде производить одно и то же, причем одинаково. Между тем можно констатировать, что арабо-исламская культура, веками исключенная из процессов материального и научного обновления и творчества, сегодня не в состоянии принять этот вызов. Почему?

Главным образом, по двум причинам, исторической и политической. Историческая причина такова: исламская цивилизация оказывалась на высоте тогда, когда ей удавалось раскрыться навстречу мировой культуре, усвоить ее и переварить на свой лад. Таким образом ей случалось участвовать

в мировой истории, а часто даже опережать ее: исламская цивилизация была открыта, поскольку включалась в историю, и включалась в историю, поскольку была открыта. Но это отношение к истории изменилось с наступлением упадка ислама, явившегося следствием исторического подъема на Западе начиная с XIV-XV веков. С тех пор цивилизация, воцарившаяся на Западе, значительно расширила связи с историей, то есть с мировым временем. Ислам -- и в этом заключается его радикальное отличие, например, от иудаизма -- оказался выброшен из мирового времени, изгнан, унижен. Подъем арабо-исламской культуры в XIX веке, обусловленный и культурными раздорами, в которых была повинна

сверху оказалось, в сущности, процессом социального исключения, быстрой дифференциации статусов, распада общества и на деле дало результаты, обратные желаемым: большая часть населения превратилась в типичных представителей третьего мира. Именно в этой мутной воде неизбежно плодятся фундаменталистский интегрим.

Что касается мимикрии -- западные ценности оказались механически перенесены в арабо-мусульманский мир, и общество при этом не произвело внутренней работы по осмыслению, критике и самоанализу. Западная культура прививалась поверхностно и образовывала нечто вроде тонкой пленки над переплетением социальных связей, при-



Еврейские могилы на Масличной горе

колонизация, и изобретением на Западе принципа национальности, происходил в трудных условиях (а именно, в условиях борьбы между западными империалистическими странами) и в таких культурных формах, которые скорее способны были затормозить доступ к современности, то есть к мировой истории, чем овладеть им.

Ответ на призыв к развитию, то есть к приобщению к западным ценностям, исходил из относительно слабых (таких, как местная буржуазия) или прошедших лишь пассивный процесс окультуривания (например, средний класс, политико-административная элита) социальных слоев и оказывался то трагическим анахронизмом, то тривиальной мимикрией. Анахронизмом -- в случае «прогрессивных» национализмов, с пятидесятых годов XX века увязших в советской модели и не умевших откликнуться на мощный призыв к демократизации снизу, который исходил от разных народных и национальных движений (три ключевых примера тут -- батизм, насеризм и алжирский социализм). Революция сверху, понимаемая как решение проблемы обновления, в итоге свелась скорее к образованию бюрократического и авторитарного правящего слоя, чем к настоящему процессу глобальной социальной интеграции, при которой все слои могли бы ощутить реальную причастность к процессу строительства своего общества. Целые социальные группы -- бедное крестьянство, мелкие торговцы, «раскрестянные» слои, притянутые к городу и скучившиеся вокруг него, скромная интеллигенция -- оказались ни при чем. Недемократическое обновление

видимых в движение глубинными структурами, зачастую не современными, а архаичными. Жак Берк, проницательный наблюдатель и страстный поборник искреннего общения с арабо-мусульманским миром, говорит об этом ясно: «Конкретные условия всякого развития: объективность, рациональность, историчность -- не были по-настоящему глубоко усвоены и обнаруживаются скорее в сварах коллективного сознания, чем в явном реальном переустройстве». (Предисловие к исследованию Грюнебаума «Культурная идентичность ислама».) Свары -- это слово здесь необычайно уместно, поскольку касается обоих направлений, по которым идет процесс мимикрии обновления: это и свара с Западом, против которого оказались обращены его собственные идеи и категории -- объективная наука, свобода, рационализм, -- и свара с социальными слоями внутри общества, выключенными из развития, по отношению к которым позитивистская риторика сыграла не столько роль философии просвещения, сколько роль авторитарного, в принципе не подлежащего обсуждению видения мира. Результат очевиден: обновление не удалось не потому, что окончилось провалом, а потому, что было неправильно начато. Остается выяснить, в чем следовало действовать иначе.

Разумеется, есть много причин для того, чтобы склониться в пользу менее радикального и менее пессимистического диагноза: общая ситуация, унаследованная от колониализма, экономические отношения в региональном и международном масштабе, региональный политический антагонизм и т.д. Но все это не может скрыть того камня преткновения, на котором в действительности затормозил



процесс модернизации арабо-мусульманского мира: этот камень -- высвобождение развития социальных связей. Это, грубо говоря, отношение к республике и демократии. Иными словами, это политическая проблема.

### Республика и ислам

Итак, республика. Если отбросить республиканский пафос, взятый напрокат у Европы (и особенно у Франции), то государственные формы, установившиеся на юге Средиземноморья, не столько заботились о том, чтобы узаконить статус личности и ее права, решительно разделить личное и общественное, объединить политических противников, сколько потворствовали кланам, группам давления, военным кругам, имеющим собственные корыстные интересы, и другим властным микроструктурам, использующим атрибуты и привилегии государства, словно принадлежащую лично им собственность, и присваивающим себе политическую власть. Если оперировать понятиями Макса Вебера, удаляясь, впрочем, от хода его рассуждений, -- здесь законная власть не столько способствовала формированию правового государства, удерживающего под своим контролем законную монополию на насилие, сколько маскировала архаическое и по всей видимости враждебное современности господство слоев меньшинства, зачастую паразитарных. Отсюда скрытый кризис политической легитимности, характеризующий это общество. Этот кризис некоторое время могла смягчать или затушевывать в глазах населения позиция харизматических вождей, но в конце концов он неизбежно вновь оказывался на виду. Насквозь окостеневшая под властью деспотизма республика была обречена на деградацию, и обилие абстрактных эпитетов («демократическая» республика, «народная» республика) не в состоянии было что-либо изменить.

Последний всплеск этой инфляции эпитетов -- изобретение так называемой «исламской» республики. Противоречивая по своей идее, исламская республика отныне является предметом грез для низов общества, обновляемого сверху, то есть для большинства населения, отрешенного от прогресса и от власти. Но если суть республики -- это равенство граждан в свободе вероисповедания и доступ к знаниям, обеспеченный рациональной системой образования, тогда понятие исламизации несовместимо с республиканской моделью. Потому что конфессионализация политической власти требует применения норм, присущих религии -- в данном случае исламу -- в области государственной, юридической и административной деятельности. Тем самым в основе своей извращается понятие свободного гражданина: над ним оказывается церковь (в нашем случае -- мусульманская), равенство ущемляется превосходством мужчины над женщиной, а образование подчинено строгой регламентации догматического богословия. Вот почему в исламской республике запрещено требовать отделения духовного начала от светского, равенства полов и изучения теории Дарвина.

То же и с демократией: авторитарное обновление обесценило ее, чтобы успешнее держать на расстоянии от политической власти маргинализированные слои населения; новый религиозный авторитаризм взрывает демократию изнутри, признавая ее осуществление только в рамках сообщества верующих. Шариат, или мусульманский закон, -- это юридическая система, закупоренная с обоих концов: начиная с ее истоков -- в той мере, в какой она отсылает к священному тексту,

к Корану, который датируется VI веком и требует исполнения законов, ныне полностью устаревших, и кончая выходом в реальную жизнь; суннам, представляющим собой совокупность традиций, связанных с пророком и его сподвижниками и окостеневших в течение веков. Вот почему подмена так называемой западной демократии исламским шариатом, за которую так ратует исламский интегрим, означает вытеснение всего мирского мумифицированными и вне-временными святынями; все, что не освящено властью -- между прочим, вполне мирской -- духовного лица, считается осквернением святынь. Таким образом, имам подчиняет своему духовному влиянию главу государства, духовное лицо имеет преимущественное право перед выбранным в результате голосования мирянином, а кади -- перед судебным следователем...

В итоге складывается трагическая ситуация: ни политико-культурное обновление, ни республика, ни демократия не развиваются так, как в принципе им следует развиваться, то есть не движутся навстречу истории современного мира. Подобно тому как тоталитарному сталинизму удавалось удерживать вне истории целые нации и культуры, точно так же и авторитарное обновление и тоталитарный религиозный интегрим пытаются отрезать доступ к современной цивилизации целым народам. Но в случае общества южного Средиземноморья опаснее всего то, что раскол, произошедший между сторонниками обновления сверху и воинствующими адептами интегрима, фактически создает два общества, два раздельных мира, почти что два разных народа (если воспользоваться выражением палестинца Элиаса Санбара). И пока что не видно моста, который соединил бы эти две сущности. Для всех несомненно, что разрешение этой проблемы лежит прежде всего в сфере политики, а не в сфере культуры. Нельзя же, в самом деле, уповать на то, что все дело только в системе ценностей, в запаздывании культурной реформы, в пересотрании собственного анахронического «я», которое, применив к себе нормы и категории Европы, в один прекрасный день осознает себя и переориентируется в истории в правильном направлении: это было бы разрушительной и смертельно опасной утопией. Не говоря уж о том, что История не указывает отдельной личности никакого точного направления, -- речь идет, в сущности, о доступе к плодам и благам господствующей в мире материальной культуры. Следовательно, необходима демократизация этих обществ, высвобождение таящейся в их недрах критической энергии, экономическое и социальное развитие. И в этом плане Европа может играть решающую роль. Но нужно еще, чтобы она проводила в Средиземноморье достойную политику, а не просто заботилась о своих нефтяных интересах.

### Европа и южное Средиземноморье

Дело в том, что Европа -- и в этом состоит препятствие культурного плана, коренящееся в самом сердце этого царства рационализма и объективизма -- своим отношением к южному Средиземноморью тоже участвует в его торможении. Это торможение проходит через европейское культурное самосознание по трем временным осям, неизбежно накладывающимся одна на другую, пересекающимися и поддерживающим одна другую: первая из осей -- это длительное время, укрепляющее глубинные структуры сознания. Здесь, на этом уровне, ислам всегда был заклятым врагом, в борьбе с которым западное христианство

формировалось в его нынешнем облике; этот облик неотделим от истории церкви и служит как бы моделью сопротивления исламу, понимаемому как оплот фанатизма, захватничества и жестокости. Этот исконный антиисламизм, разумеется, совсем не таков, как суровое исламское антихристианство. Но разница между ними, существенная с точки зрения истории, обусловлена тем, что в течение нескольких веков, скажем, с времен Лепанто\*, именно антиисламизм остается хозяином положения; другими словами, он поставил западную мысль, всю западную мысль, в магистральную позицию отторжения, а значит, и непонимания ислама. Эта глубинная структура составляет грозную силу сопротивления: в своем историко-культурном развитии она функционирует в режиме абсолютного отторжения, полного искоренения мусульманского начала из этоса западной сакральности. И эта реакция отторжения иная, чем по отношению к иудаизму. Потому что еврей, с точки зрения христианского пафоса, -- это внутренний враг, тот, кто в силу непризнания их христианского откровения навсегда превратился в богоубийцу. Но с этим внутренним врагом можно жить вместе, хотя, при удобном случае, от него охотно избавляются, как от тайного врожденного уродства. Понадобился языческий фанатизм нацистов, чтобы от самоврачевания перейти к отторжению, а в конце концов к уничтожению иудаизма как элемента самосознания христианского Запада. В случае ислама Запад вел войну не с собственным «я», а с Другим, резко отличным от этого «я». Задача была в некотором смысле более легкой, поскольку граница с исламом отчетливо видна и меняется в зависимости от перемен в соотношении сил, то есть от политической географии средиземноморского мира.

Следующая ось -- недавнее прошлое, время, когда складывались нынешние насильственные культурные и культовые, как сказал бы Брюно Этьенн, взаимосвязи. Сперва колонизация, потом ее теперешние культурные последствия. Здесь проблема еще осложняется торжеством западной, французской внецерковности. Французской -- потому что именно французская модель является абсолютной, беспримесной моделью западной внецерковности. Ее исторической задачей было изгнание религиозного начала из политики, а это, хотим мы того или не хотим, единственный способ преобразить политическое сообщество, разделенное различными вероисповеданиями, в универсальное, всемирное человечество. Но отсюда вполне закономерно следует резкое возрастание культурной дистанции в отношении ислама: если даже христианству отводится место религии, терпимой лишь в частной сфере, то какова же будет судьба других религий, изначально чуждых герменевтике homo occidentalis? Пусть меня поймут правильно: я не осуждаю внецерковности, будучи совершенно убежден в важности этого принципа как системы доступа к человеческой свободе. Я только описываю сложную историко-культурную конфигурацию, затрудняющую понимание нынешней проблемы отношений между европейским этосом и исламом.

И наконец, еще одна ось -- современность, характеризующаяся двумя мощными историческими событиями: новым подъемом ислама как вектора самосознания в южном регионе Средиземноморья, а главное, тем, что отныне ислам заодно с иммигрантами

\*Лепанто -- город в Греции, близ которого 7 октября 1571 года произошло морское сражение, в котором испано-венецианский флот под началом Дон Жуана Австрийского разбил турецкий флот (прим. переводчика).

поселился в Европе. Этот ислам возник в результате перемещения множества людей, перемещения неизбежного, поскольку иммигрантов манил призрак лучшей жизни на северном берегу Средиземноморья, а Европа остро нуждалась в рабочей силе, и вот теперь он не перестает беспокоить и одним своим присутствием будоражит фантазмагорические представления Запада о себе самом. Его присутствие влечет за собой, помимо расистского негативизма, и новое обращение Европы к себе самой, новый всплеск вопросов по поводу культурных основ Европы. И вот Брюно Этьенн предлагает дерзкую, иконоборческую типологию политико-религиозного понимания основных европейских государств, столкнувшихся с необходимостью упорядочить свое отношение к этому исламу-иммигранту. «Каким образом, -- вопрошает он в работе «Ислам во Франции», -- Европа «двенадцати» управится с этим обилием культа, покада законодательство в этой сфере становится все более разнообразным. Похоже, что мы столкнулись с несколькими типами комплексных ситуаций: светское государство, не подозревающее о том, что является цезаристским и папистским, -- Франция; светское государство Нидерланды и некоторые земли Германии; бывшая ГДР; некоторые швейцарские кантоны; государство, в котором церковь отделена от государства: на самом деле таковых не имеется, поскольку церковь, будь то протестантская или католическая, всегда сохраняет господствующее положение; конфессиональные государства Северной Европы; католические конфессиональные государства на юге Европы». Однако за этим разнообразием ситуаций стоит по сути одна и та же проблема усиления правового государства, усиления демократии и признания новой духовной реальности, возникшей на Западе. Сколько ни хитри с законотворчеством, все равно остается проблема: как углубить демократию, то есть как приспособить демократическую модель государства к новым конфессиональным реальностям. Здесь возможны два, и только два пути: или восторжествует конфессионализм -- и везде в Европе возникнут общинные гетто, как, похоже, видится папе Иоанну-Павлу II, судя по его пророчеству об отвоевывании христианской Европы -- и от этого неизбежно пострадает демократия; или в Европе произойдет модернизация демократических связей и усиление республиканской модели, созданной теперь уже не по образцу бессознательного цезаризма и папизма, признающей прежде всего и главным образом ценности свободы, прогресса и терпимости -- и тогда Европа смягчит и разрешит культурный конфликт, который пожаловал к ней с Юга. Но необходимо признать, что сегодня ничего еще не решено: в этом смысле Европа сейчас стоит на распутье.

### Израильско-палестинский конфликт

Другое препятствие к установлению равновесия в пространстве Средиземноморья -- израильско-палестинский вопрос. Этот вопрос -- тормоз всего средиземноморского будущего. Пока он не урегулирован, на Ближнем Востоке будет полыхать война, которая рано или поздно обернется драматическими последствиями для всего региона. Узел проблемы -- признание Израилем прав палестинского народа. Здесь уместно отрешиться от воинственной риторики, которая отравляет атмосферу Ближнего Востока в течение десятилетий, и попытаться нащупать путь к взаимопониманию, к мирному сосуществованию народов. Почему? Да потому, что война

ничего не решит: победителя в ней нет и не будет. Каждый раз, проиграв в очередном столкновении, арабские режимы, оставшиеся на прежних позициях, начинают готовиться к следующему; каждый раз, выиграв или почти выиграв войну, Израиль еще больше сжимается, еще больше превращается в неприступную крепость. Сегодня наметились перемены. Отважный шаг палестинцев, служивший фиговым листком большинству воюющих стран -- и в равной степени странам Магриба, -- обрел независимость и определенность; среди палестинских организаций наметилось согласие, позволяющее предложить Израилю компромиссное решение. Для палестинского народа это означает настоящую культурную революцию. Разумеется, такое решение было подсказано не сердцем, а разумом. Но было бы несправедливо требовать от палестинцев, после того как у них были отняты земли, принадлежавшие им тысячу лет, дома, жизненное пространство, чтобы они, единственные из всех, прониклись заботой об исторической трагедии еврейского народа. Потому что нам никогда в достаточной мере не удастся оценить, какова в этом деле



Анвар Садат молится

ответственность Запада. Израиль -- это западная, европейская проблема, перенесенная на Ближний Восток. Это не значит, что такое государство вообще не должно было возникать там, где оно теперь находится; это значит лишь, что если бы не отторжение, тянувшееся с давних времен, да не еврейская Катастрофа, да не вина основных европейских сил в сочетании с их двуличием, -- безоружному палестинскому народу не пришлось бы оплачивать счета расистского шабаша, к которому он никогда не имел отношения. В сумме это означает, что евреи на Ближнем Востоке играли бы другую роль в процессе национального самосознания этого региона и что еврейско-арабское государство, возможно, лучше разрешило бы проблемы народов, чем государство, задуманное как плацдарм Запада. Но историю нельзя переделывать.

Государство Израиль существует, палестинский народ тоже. Драма заключается в том, что Израиль ведет себя вовсе не как прибежище народа, веками носившего печать отверженности: своя государственность и политика силы внесли изменения в коллективную память еврейства. Израиль стал

таким же государством, как другие, или вернее, он стал нормальным, обыкновенным, к великой радости как его противников, так и самых заинтересованных союзников. Здесь снова сила одерживает верх над знанием, государственные соображения над простым здравым смыслом, националистический эгоизм над гуманистическим универсализмом. Сила превыше права, свершившийся факт превыше справедливости. Сегодня ситуация драматичнее, чем в прошлом; неумолимо продолжается колонизация оккупированных территорий, поощряемая как правонарушениями советской империи, так и грабительским экспансионизмом израильской правой. Будем ли мы присутствовать при перемещении палестинского населения, при депортациях? Все эти слова звучат особенно горько в контексте проблемы еврейства. И тем не менее! Кто и когда мог подумать, что народ варшавского гетто, народ-мученик Освенцима дойдет до того, что кое-кто из его представителей будет всерьез рассматривать подобные «решения»? Разумеется, арабский национализм не облегчил положения дел. Более того, само положение евреев в арабско-мусульманском мире было недостаточно надежным, чтобы удержать Израиль от непримиримости. В самом деле, вековое угнетение евреев существовало равным образом и в арабско-мусульманском мире. Утверждения типа: «арабы не могут быть антисемитами, потому что они сами семиты» ничего не решают. Истина в том, что антисемитизм всегда метил только в евреев и что в странах ислама точно так же, как в христианских странах, хотя и в других формах, всегда существовал антииудаизм, который не перестал развиваться и после создания государства Израиль. Сложная ситуация, основанная на том, что Эдгар Морен хлестко называет «причинностью петли». Расистская брань исламских интегралов от имени всего мусульманского мира лишней раз напоминает о том, что еврейскому народу вечно приходилось служить козлом отпущения. Арабский национализм, не осознав всей сложности ситуации, оказался беспомощным и слепым. Тем не менее сегодня ясно, что решение проблемы сейчас зависит от двух вещей: признания права Израиля на существование и безопасность -- и признания права палестинцев на родину и тоже на безопасность. Идеалом, разумеется, была бы федерация демократических государств, каждое из которых употребило бы все свои способности на службу развитию региона, а не на потребу войне; в идеале хотелось бы, чтобы Ближний Восток превратился в Андалусию XXI века, где наконец слились бы культуры Востока и Запада и, слившись, сотворили чудеса, в идеале... но что толку рассуждать об идеалах, когда ежедневно летят кровь и расширяется пропасть?

Не будем строить иллюзии. Вся арабская политика в Средиземноморье обусловлена палестинским вопросом, потому что каждый арабский гражданин, от Рабата до Мосула, считал и считает это своим делом. Идентификация по доверенности? Да, конечно, но вместе с тем она совпадает со стремлением к справедливости и равенству. Помочь урегулированию палестинской проблемы -- это значит преодолеть глубокое культурное торможение, это значит обезвредить мину законного недоверия по отношению к Европе, а также, что важнее всего, вытащить мучительную занозу из тела тех, кто в арабско-мусульманском мире ссылается на всеобщие и вместе с тем европейские ценности -- демократию, свободу и равенство. Средиземноморье оживет, когда средиземноморцы сами осознают наконец свой разногласия и конфликты, которые их разделяют, и сообща найдут адекватные средства для их разрешения.

**В**сю жизнь я был убежден, что нам, говорящим на испанском языке, досталось огромное наследство, на которое мы никогда не предъявляли своих прав со всей полнотой и определенностью. Мы видели отдельные части этого наследства, нам не раз хотелось его заполучить, выбрав для себя что-то одно и отказавшись от другого, и мы поступали совершенно неразумно. Историческое наследство должно приобретать in toto или вообще не приобретать.

Это не так просто понять, тем более что люди плохо отдают себе отчет в вещах очевидных. Мы скорее отдаем себе отчет в чем-то необычном, а вот в очевидном -- нет, меж тем очевидное -- вот оно, здесь, очевидное пребывает, становится обыкновенным, становится привычным, его нелегко различить. Иберо-американское сообщество и принадлежит к этому миру очевидного, столь очевидного, что мы его ощущаем и воспринимаем только тогда, когда случай нас сталкивает лицом с чудесной реальностью. Кроме того, мы люди с предрассудками, очень вспыльчивые по природе и несговорчивые, мы индивидуалисты и привереды, мы находимся в разладе с собой и с нашей историей, и это добрый знак того, что мы реально принадлежим одному сообществу, ведь мы так похожи друг на друга. Некогда Ганивет говаривал, и его слова можно отнести ко всему иберо-американскому миру, что каждому испанцу в глубине души хочется, чтобы у него был документ, подписанный королем, в котором было бы сказано: «Этот испанец имеет право делать все, что ни пожелает». Да, мы таковы: делаем все, что нам в голову взбредет, не ладим сами с собой, дурно говорим о самих себе и не ценим самого главного, что у нас есть.

Поэтому сама эта нынешняя полемика по поводу того, что нам предстоит праздновать 12 октября 1992 года, столь живая и творческая, очень показательна.

Мне представляется, что когда будут отмечать две тысячи лет со времени основания христианской церкви, полемики не будет. Я согласен с тем, что это великое событие, что оно имеет огромное значение, но ведь при этом никто не спросит, как же с теми, кого убили? с теми несчастными язычниками, которых обращали в христианство огнем и мечом? Я уверен, что европейцы, немцы, англичане, французы не проводят целый день с черепом в руке на манер Гамлета, пытая себя: как ужасна наша история! Что за кошмар эти вторжения варваров, какой ужас это крещение Европы, эти чудовищные преступления! Да нет, перед нами Европа такая, как она есть, и ее создали люди, со всеми им, людям, присущими отрицательными свойствами, люди по-животному жестокие, агрессивные и алчные. Но это приняли и простили: происшедшего в Европе никто не намерен отменять, никто ни в чем не раскаивается. Совсем не то, когда дело доходит до Латинской Америки. События в Америке, быть может, оттого, что они ближе к нам по времени или оттого, что у нас не хватило мужества оценить их во всей полноте, продолжают вызывать нарекания и тяготить совесть.

12 октября 1492 года несколько европейцев столкнулись с землей, о которой они ничего не знали, с цивилизациями, о которых ничего не ведали, с такими людьми, которых никогда не видели. Это и было Открытие Америки. У этого Открытия были величайшие последствия; ведь почти все незнакомо, и за спиной ничего, с чем можно

было бы сравнить, чтобы истолковать, а потому пришлось придумывать. Вот и придумали то, что европейский человек позднее назвал Америкой.

Это была не просто фантазия, столь свойственная человеку. Мы, люди, как волшебные фонари, содержим в себе изображения, которые сами и проецируем вовне, и это мешает нам видеть то, что нас окружает, ибо вообще-то, что мы видим, суть проекция того, что мы носим внутри себя.

Когда первооткрыватели столкнулись с Америкой, они были уверены, что плыли в Азию. Вот почему туземцев Америки назвали индейцами. С тем же успехом они могли быть названы китайцами. Понадобилось тридцать лет, или около того, чтобы понять, что это

Артуго Услар ПЬЕТРИ

впечатление, он рассказывает, что индейцы ходят голыми, что у них нет собственности и все общее, что они не знают, что такое война и оружие. Конечно, оружие у них было, но это были не мечи и не огнестрельное оружие, поэтому ему показалось, что индейцы живут в состоянии вечного мира и счастья. Новость обошла Европу, удивила гуманистов и вызвала еще один вопрос: почему же так получилось, что человек в Европе прошел столь тяжкий путь и создал в результате мир несправедливости, насилия, войн, нищеты и

## СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ИБЕРО-АМЕРИКАНСКАЯ ОБЩНОСТЬ?

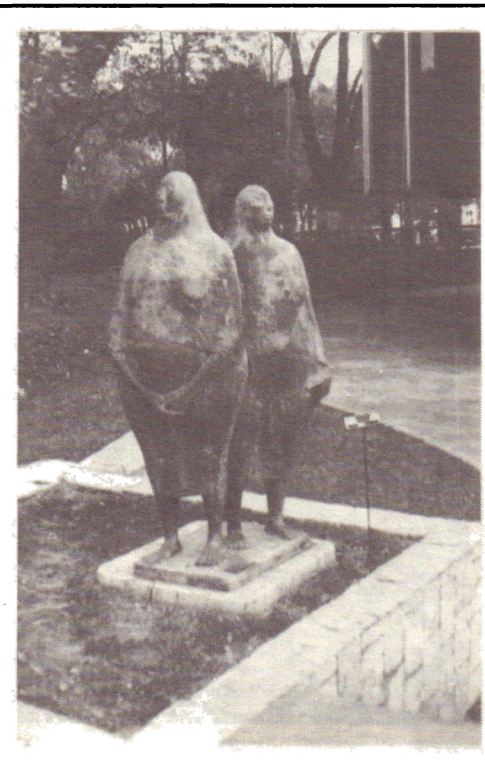
какой-то новый континент, а не Азия. По той же причине, по какой они были убеждены, что это Азия, они принялись искать и находить то, чего здесь не было. Например, искали амазонок, искали Эльдорадо, полагали, что где-то рядом должен быть рай земной. И тогда родились великие мифы и новые понятия, изменившие мышление всего мира, ведь возникновение Америки имело последствия не только материальные -- во всем мире изменился образ мыслей. После 12 октября 1492 года весь свет стал Новым Светом. Родились вопросы, которыми человек раньше никогда не задавался. Потому что коль скоро удалось добраться до земли антиподов, пришлось задуматься по поводу самого понятия, что же такое Земля? Как можно жить вверх ногами и вниз головой и не падать в пустоту? Вот вопросы, на которые в те времена нельзя было ответить, но в поисках ответов на них практически и сложилась современная наука. Когда же задалась вопросом о том, что такое европейское общество, наступила эпоха революций. Ведь идея революции -- дочь открытия Америки, так же как теория Дарвина и система Коперника.

В конце XVI века один испанский монах, падре Хосе де Акоста, написал книгу «История природы и нравов в Индиях». И сейчас большое удовольствие читать это скрупулезное описание всего того, что встретилось завоевателям в Америке. А встретились невиданные растения, неизвестные животные, туземцы, которые были совсем непохожи на европейцев, и такими же непохожими были их религии, обычаи и пища. Хосе де Акоста в смятении вопрошает: разве были эти животные в Ноевом ковчеге? Вопрос весьма характерный для монаха. И добавляет: а если они были в Ноевом ковчеге, то куда подевались в Старом Свете? Если же их не было в Ноевом ковчеге, то откуда они взялись? Ведь в христианском учении говорится об одном-единственном акте творения. Ответ найдет четыре века спустя Дарвин. Кто-то справедливо заметил, что философия и науки не что иное как ответы на соответствующие вопросы. Вопросы уже были, вот только падре Акоста не мог ответить на них так, как позже ответил Дарвин.

Увидев американских индейцев, Колумб в 1493 году пишет свое знаменитое письмо католическим королям. Описывая свое первое

неравенства, в то время как человек в другой части света наслаждается счастьем и равенством? Что за несчастный жребий выпал Европе? Когда люди еще задолго до открытия Америки говорили о счастье, они или относили его к давно прошедшему золотому веку или отправляли в недостижимое будущее, тысячелетнее царство или вечную жизнь, но они никогда не помещали его сюда, на землю, в эту юдоль слез. Проблема всколыхнула европейское сознание, и благодаря этому родилась утопия Томаса Мора, представляющая собой критику на тогдашнее английское общество. Эти же вопросы тревожат Монтеня, рассуждающего так: а что сказал бы Платон и другие великие мыслители древности, узнай они о том, что есть народы, живущие в равенстве, счастье, добре и мире, в то время как мы существуем в кошмаре войн и неравенства? Пройдет много лет, и сделает свои выводы Руссо: почему, будучи по природе существом нравственным, человек нашей старой Ев-





ропы дошел до такого плачевного состояния? Что испортило и извратило его натуру? Его ответ прост: виновато общество. Руссо не задается вопросом, кто создал это общество, но зато он спрашивает, что нужно сделать, чтобы вернуть человека к природной доброте, чтобы извести зло, поразившее Старый Свет. Так рождается идея, что общество нужно изменить, но это уже семя революции.

Идея революции рождается из американского семени, и точно так же идея независимости. С этого начнется эра революций, американской революции, французской, а много позднее русской и китайской. Так что без особых преувеличений можно было бы сказать, что Карл Маркс поздний внук Христофора Колумба.

Американский вклад в мировую историю имел огромные последствия, и не только потому, что стали привозить кукурузу, картофель, золото и серебро, но и потому, что изменился образ мыслей. Родились новые идеи, неопределенные ожидания, европейское сознание было взбудоражено, и это способствовало сотворению того мира, в котором мы сейчас живем.

С самого начала это недостаточно понятное великое событие породило множество теоретических проблем. Например, отголоском открытия Америки явилось создание международного права. Не так-то просто влезть в шкуру человека XVI века, те люди были такими, какими были, а мы таковы, каковы мы есть. Люди XVI века были глубоко религиозны, верили в ад и в вечную жизнь, понимая, что дело идет о спасении души. Когда испанского солдата ранили, он просил не помощи, а отпущения грехов, ему важно было спасти душу. Эта особенность породит проблему, которой не было ни у одной королевской власти в мире, ни ранее, ни потом, но только у испанской. По какому праву мы здесь, можем ли мы отбирать эти земли у тех, кто владеет ими по естественному праву? Кто такие индейцы, Господни ли они создания? В царствование короля Фердинанда в дискуссию втягивается множество теологов и юристов, дебатруется вопрос о законных правах. Может ли король Кастилии владеть этими землями по совести и справедливости, не идя против Бога? Ни в какую эпоху имперских завоеваний вопрос так не ставился, а между тем в 1550 году обсуждение достигло такого накала, что Карл V приостанавливает завоевание, позже завоеванию сыщут оправдания, но как бы то ни было, благодаря этой полемике, расширенной и углубленной Бартоломе де Лас Касасом, появятся понятия, столь близкие нам сегодня. Возникнет понятие международного права, представление о том, что все люди равны и что у всех у нас есть неотъемлемые права. Источник этих идей вовсе не французская декларация 1789 года, но тот пересмотр сознания, который осуществляли падре Витория и Бартоломе де Лас Касас и который (кстати, это весьма любопытно) в конечном счете нанес ущерб Испании. То, что должно было послужить вящей славе Испании и всего испаноязычного мира, сам факт постановки этой проблемы превратился в обвинение против нее. Ведь «черная легенда» имеет те же корни, она отсюда же и произрастает, из того же критического анализа сознания. Кроме идеи прав человека и идеи равенства есть и другие последствия, повлиявшие на состояние Европы и изменившие ее наподобие того, как это было во времена римских завоеваний. Творится новая общность, ведь испанец в Америке уже не тот, что испанец в Испании, и когда он возвращается, на него смотрят как на чужака, он уже «индейский испанец», он уже кто-то другой, у него новые привычки, иной образ мыслей, он сошелся с другим народом, и сын испанца и испанки (индейки

или негритянки) -- он уже другой человек, родившийся в иной культурной среде, но в основном остающийся испанцем. Если бы существовало пособие по колонизации -- кажется, ни у кого не хватило смелости написать таковое, -- в его первой главе следовало бы дать совет: не задевать местных верований, делать вид, что они уважаются и почитаются. Но именно это правило нарушил высадившийся на мексиканский берег Эрнан Кортес. Ведь вместо того, чтобы заручиться расположением индейцев, он первым делом поднялся на майяский храм и при немом изумлении всех этих людей, веривших в свои божества, посбрасывал каменных идолов, установив вместо них крест и изображение Святой Девы. Это можно было бы счесть бессмысленным вызовом; дело, однако, в том, что Кортес, человек XVI века, преследовал, как и вся конкиста, озабоченная столькими жуткими событиями, высшую религиозную цель. Завоевание явилось продолжением того, чем была для Испании реконкиста, прежде всего религиозной войной. Североиспанские христианские короли затеяли реконкисту не просто для того, чтобы отвоевать свои земли, но с целью покончить с неверными, обратить их в истинную веру, сжечь Коран и закрыть мечети. И то же самое в Америке. Алчность алчностью, но в основе своей завоевание Америки -- предприятие религиозное. Этим объясняется тот факт, что такой громадный континент -- в XVI веке в Америку переправились более 150 тысяч испанцев, в то время как индейское население должно было составлять около 10 или 12 миллионов человек -- становится христианским в течение жизни одного поколения, и мексиканские индейцы, до того веками молившиеся Уитцилопочтли, проползают на коленях целые километры, чтобы поклониться Гваделупской Божьей Матери.

Испанцы осуществили в Америке то же самое, что и в период реконкисты в Испании, -- создали культурное сообщество на основе двух фундаментальных вещей: общего языка и религии. Индейцы стали христианами.

Что касается Америки, то и здесь тоже все не так просто. Вызревают новые идеи, например идея утопии, -- это ведь американская идея, и возникает: она первый раз в письме Колумба в 1493 г. Ее подхватывает Томас Мор, превращая в проект политического переустройства Европы. Но что такое Утопия? Место, где люди равны и счастливы. Меж тем Европа -- это общество войны, ненависти и неравенства, подлежащее реформированию. Но не только Томасу Мор приходили в голову подобные мысли, то же самое происходит в Америке. В XVI веке Васко де Кируга пишет письмо из Мексики Карлу V с просьбой приостановить завоевание, не посылать больше испанцев, потому что на новом континенте есть возможность создать новое общество, общество равных, без войн и без ненависти. Кируга не только предлагает, но и делает, основывая несколько индейских поселений. Позже, в XVII веке, осуществляется грандиозное предприятие: учреждаются иезуитские миссии в Парагвае. Иезуиты решили, что нельзя допускать, чтобы американские индейцы заражались дурным примером европейцев. Они предлагают создать закрытое общество, парагвайские миссии явились попыткой воплощения коммунистических идей, идей Томаса Мора и платоновской «Республики». Иезуиты не только не пускали туда испанцев, они не учили индейцев-гуарани испанскому языку, напротив, их заставляли молиться на гуарани, переводили для них катехизис -- все для того, чтобы обречь их чистоту и нравственность. Все

делалось сообща, существовала столь жестко соблюдавшаяся система равенства, какой не удалось впоследствии создать ни одной социалистической революции.

Обретение независимости испанской Америкой ничуть не походило на деколонизацию последних обширных английских и французских владений в Азии и Африке. Что произошло, когда пала Британская империя в Индии? Страна восстановила свое прошлое, гордо провозгласила возвращение к древней культуре, она усвоила все то полезное, что принесли в страну англичане, но не изменила себе. А что произошло в Африке, когда из нее ушли французы и англичане? Африка возвратилась к своей культуре, от которой она, впрочем, никогда и не отворачивалась. В Испанской Америке такого возвращения не случилось. Да и как это могло быть, когда речь шла не просто о навязанной чужой культуре, но о процессе создания культуры, участниками которого были мы сами. Можно ли себе представить, чтобы в XVI веке при дворе королевы Елизаветы Английской мог появиться метис из Вирджинии и беседовать на равных с Бен Джонсоном, Марло и Шекспиром. А вот в Испаноамерике инка Гарсиласо де ла Вега был сыном испанского капитана и индейки, а позже стал католическим священником. В конце XVI века, во времена Сервантеса и Лопе де Веги, он создает книги, принадлежащие к самым значительным достижениям испанской литературы и, в частности, «Подлинные комментарии», великую книгу, в которой он с гордостью заявляет о том, что в его жилах течет кровь как перуанских инков, так и христианина испанца.

Позже, в конце XIX века, когда испанская литература оскудевает, в эпоху Нуньеса де Арсе и Кампоамора, именно в Америке начинается обновление, появляются Рубен Дарио и модернисты. Это движение распространяется на Испанию, испанская литература возрождается. Позже, в тридцатые годы, нечто подобное происходит с обновлением испаноязычного романа по ту сторону Атлантики. Все это доказывает, что общность существует. В культурном смысле мы едины. Итак, если мы приходим к выводу, что мы один и тот же народ, что мы принадлежим к одной культурной семье, семье очень спаянной и однородной, возможно, одной из самых однородных в мире, возникает естественный вопрос: а что дальше? Взирать на эту данность как на гору или водопад? Но вопрос в том и состоит, сумеем ли мы организовать должным образом этот вновь открытый мир, складывающийся из множества народов и наций, осмыслив его как органическое единство.

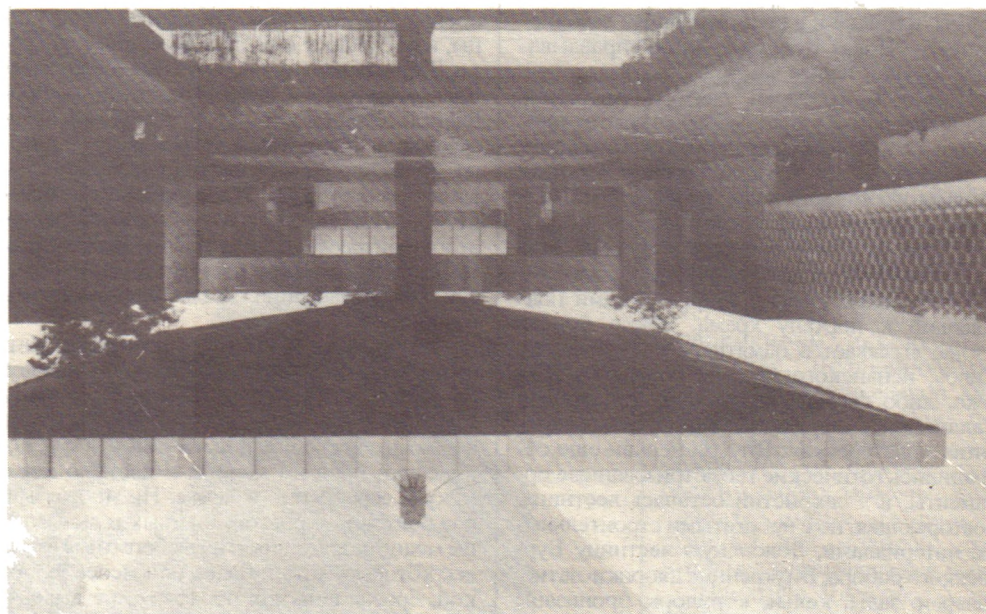
Мадрид, 1990

**Н**овая Испания была названа так не случайно и не произвольно. Слишком живо помнилась конкистадору другая Испания, оставшаяся далеко позади, чтобы называть эту часть побережья Атлантики как-то по-иному. Когда самолет подлетает к плоскогорью со стороны Залива, такое ощущение, что внизу -- Эстремадура; воистину поразительный обман глаз: тот же свет, те же волнистые очертания холмов, те же скопления белых домиков, прижавшихся к земле под колючей охраной кактусов-опунций и американских агав. Некоторую книжность этому древнему ландшафту придают, пожалуй, города колониальной поры, подставляющие солнцу свои

## Алонсо Самора ВИСЕНТЕ

хие листья. Тучи пыли, засты свет, застревают в листве деревьев, наваливаются на террасы, пыль пробирается в щели между оконными рамами и стеклами, в щели под дверьми, забивается в глаза, полнит гудом уши, темно-желтые сгустки пыли опускаются, вихрясь, на улицы, на выгоревшую зелень бульваров. И лишь тогда при виде недолговечных прощелков чистой голубизны чувствуешь, что это и есть та «самая прозрачная часть неба», о которой говорил Альфонсо Рейес. А сейчас натиску смерчей противостоит лишь незыблемость деревьев-громад с прекрасными кро-

# ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ЖАРКОЙ ЗЕМЛЕЙ



Музей антропологии в Мехико

белые прямоугольники, расположившиеся вокруг церкви, и ее изразцовый куполок отбрасывает, словно металл, блики, оттенки которых что ни час меняются. Все, что видно сверху: скотные дворы, большие, полуразвалившиеся, с широкими красными навесами; голубые водоемы; церковные дворы со спаленными зноем деревьями; умиротворенность садов, тайных, укрывшихся от посторонних глаз, -- все это приметы южноиспанского пейзажа. Зеленоватые пятна внизу -- уж не оливковые ли это рощи, с такими же серебристыми оливами, как в Касорле, в Аснайтине, под Баэсой? Да нет, не оливы это: внизу в просветах меж мелькающими облачками, которые распугивает самолет, серебрятся тени от мексиканских сосен-«ауэуэть», и возникает живое подобие оливковой рощи Средиземноморья, раскинувшейся по каменистому косогору и сгорающей на медленном огне.

Март -- пора, когда на плоскогорье буйствуют пылевые смерчи. Ошалевший ветер налетает на скопления белых домиков, словно хочет смести их с лица земли, взвешивает столбами пыль, комки глины, бумажки, су-

нами, исхлестанными ветром; и зримой поддержкой им -- незыблемость колониальных башен, непритязательных, окутанных всегдашней тишиной.

В окрестностях города, там, где дорога на Теотиуакан пролегает по старому высохшему бассейну озера Текскоко, смерчи возникают еще чаще, вызывая мучительную жажду и взвешивая соленую пыль и хилые блинчики. Когда туча пыли, застылая свет, оседает, становятся видны старинные придорожные крепостные валы, горделиво выставляющие напоказ свой серый гранит, на котором то там, то здесь надпись, высеченная по камню, напоминает о деяниях того или иного вице-короля, и под короной красуются, выстроившись в ряд, римские цифры. Валы, возведенные сообща теми, кто жил здесь и трудился над ними по приказу одного из королей XVI либо XVII века, королей, сведения которых об этих землях были почерпнуты всего лишь из недостоверных писаний да фантастических рассказов. По другую сторону аристократических гербов расстилаются до самого горизонта пустоши -- мили и мили чайный,

покуда тщетных. Лишь параллельные провода над высохшим бассейном свидетельствуют о новых начинаниях, о том, что есть и другие пути; и белесые дымы из труб над фабричными зданиями -- здесь производится цемент либо керамика -- примешиваются к пылевому вихрям, извечным здешним бродягам. Позади глубокое небо, его не столько видишь, сколько смутно угадываешь.

В палящем зное тишина плоскогорья обретает особую чистоту. Проезжает поезд, стук колес разнесется далеко окрест, рельсы поблескивают, вибрируя под клубами густого пара. Ближние холмы, увядающие от жажды деревья, умиротворенность, купола, виднеющиеся между опунциями, берега с чахлой растительностью -- все приводит на память пейзажи Эстремадуры. Это уже не Тлальнепантла, а Мерида, испанская Мерида, близкая, во всей отчетливости, вибрирующая в раненой памяти, и тот же запах -- иссохших трав, выжженного жнивья. Что там, за вереницами тополей, уж не русло ли Гуадианы, истосковавшееся по влаге? И солнце так же печет, и петуший крик властно пронзает покрывшуюся даль. Свист локомотива бурлит воздух, уже послеполуденный, но все еще знойный, и мягкий умиротворяющий ветерок путается в колочих побегах агав-магуэев, желтых по краям. Память в упоении подсказывает названия из заокеанской дали, переименовывая ближние холмы, в голосе и в воспоминаниях взволнованность. Новая Испания -- имя, оправдываемое каждой пядью земли.

Перед монастырем святого Августина Акольманского -- просторная открытая площадка, на входных дверях прекрасный крест XVI века, фасад украшен декором -- в духе испанского «платереска», но поглубже. Церковь, высокая-высокая, выплывает кораблем, вознося к небу башни-колокольни. Интенсивная темная зелень мощных сосен заполняет монастырский двор, уступами подводящий к порталу храма. Декор фасада тотчас вызывает в памяти работы Дьего де Силоэ, испанского ваятеля и зодчего XVI века, либо фасады некоторых монастырей Саламанки, выдержанные в смиренных вариантах «платереска». Внутри церкви еще сохранились готические геометризованные орнаменты, а в сакристии осталась лестница, повторяющая, но с небогатыми строительными материалами, Золоченую лестницу Бургосского собора. Внутренние дворики-патио, галереи, залы, кельи, коридоры пронизаны холодным сумраком заброшенности, но с достоинством сносят свою участь. Отовсюду веет вездливим унынием дряхлости и безлюдья. Солнце, слепящий контраст между режущим глаза светом и затемненностью внутренних двориков с их покосом, свежестью, благоуханностью, уютом. То там, то здесь витрина с керамикой доколумбовых времен либо картина на религиозный сюжет -- без пятнышка, без пылинки -- свидетельствуют о заботах хранителей. В открытые окна вторгается шумное дыхание дня. Внизу, в просторном дворе, ведущем в плодовый сад, один из зрителей подкрепляется кушаньем из индейских перцев и томатов под острой подливой. Он сидит спиной к фасаду, лицом к солнцу, прикрывшись от лучей широкополой шляпой из пальмовых листьев, сидит на большом обломке каменной плиты с уцелевшим барельефом: череп и две берцовые кости вперекрест; солнце бьет ему прямо в лицо. Шляпа свалилась с головы, держит только на шнурке вокруг шеи. Он утирает губы рукавом; пальцы тоже в ярко-красной подливе, он их, не оборачиваясь, вытирает о череп барельефа. На оголенной височной кости угадывается блеклое красное пятно, мнимая кровь. Тишина. Бьют башенные часы, вспугивая птиц, стайки взлетают в воздух.

Снова тишина, теперь слышится только громкое чавканье пса, пес заглатывает с лета куски хлеба, которыми потчует его смотри-тель, знай себе швыряет кусок за куском, развалясь самым непринужденным образом и прислонившись к жутковатому символу смерти.

Воскресенье в Теотиуакане. Люди карабкаются вверх по пирамиде, не обращая внимания на ветер и тучи пыли. Густо-серый, черноватый даже, камень; на этом фоне пестрые, подвижные пятна женских платьев диссоннируют, кажутся кричащими. Люди поднимаются группами, помогая друг другу; некоторые переговариваются, некоторые молчат. И спускаются тоже группами, беспокоясь за детей: те мчатся сломя голову вниз по крутой лестнице, а вдогонку им несутся пронзительные вопли встревоженных родителей. Падают крупные капли дождя, прибивают пыль. Тяжелые низкие тучи угрожающе наползают на зону раскопок, и она кажется темнее, чем минуту назад, сильнее тревожит воображение. У основания Пирамиды мужчины, женщины, полуголые ребятишки предлагают статуэтки, малые маски, керамику, всякую всячину из обожженной глины. Просят за эти сокровища несколько монеток, повторяя таинственным шепотом привычное вранье насчет подлинности своего товара. Из карманов в немислимых количествах извлекаются на свет божий миниатюрные идолы, обсидиановые стрелы, крохотные кадилницы, изувеченные и наспех склеенные фигурки. Туристы пялятся на хрупкий товар, взвешивают на ладони, всерьез озабоченные проблемой подлинности. Стоит подъехать автомашине, и рой детишек устремляется к дверце, толкаясь и протягивая приехавшим свои глиняные богатства. Турист кажется из богачей богачом по контрасту (дрождь берет от этого контраста) с полуголыми маленькими оборванцами; глаза у них темные, блестящие, сметливые, уверенно ожидающие сказочной удачи.

На нижних ступеньках цитадели Кетцалькоатля сидят индейки, почти у каждой на спине младенец, запеленутый в шаль; концы которой скреплены у матери на груди; недвижные, словно погруженные в экстаз, индейки продают черную и цветную керамику и серебряные изделия. Ни многоязычная болтовня туристов, шумных и вызывающе модно разряженных, ни любопытные взгляды, которые, хоть и более или менее украдкой, бросают на них прохожие, не выводят этих женщин из состояния неподвижной созерцательности. Такое впечатление, будто они каким-то непостижимым образом соединены, слиты в единое целое с изделиями, которые продают и которые словно замерли,

снятые с круга в какой-то колдовской гончарне. И если бы вот сейчас у них на глазах свершилось чудо, индейки все равно не шевельнулись бы. А вокруг музея зато сплошной гомон и толчея. Торговцы выбегают из лавчонок, переполненных традиционными изделиями народных промыслов, зыывают покупателей на искосерканном английском, перемежая его, словно мимоходом, фразами на испанском -- плавном, ласкающем слух, пленяющем точностью и своеобразием идиоматики. Они предлагают сарапе -- шерстяные плащи с прорезью для головы, индейские шали, серебряные запонки, всякую всячину из нефрита и обсидиана, глиняных ящерок, амулеты, пепельницы, индейские кожаные сандали-ураче, металлические маски, стеклянные изображения разных зверей, керамику из Пуэблы и Оаксаки. Сыплет не унимаясь воскресный дождик, сам воздух, кажется, устал, не только торговцы, запрашивающие все меньше и меньше, но предвечерье все еще полнится их зазываньями: кока-кола, и кувшинчики, и пирожки-тамалес из кукурузной муки, с мясом и специями, и грушевидные плоды агуакате, известные в Европе как груши-авокадо; а вот тот предлагает пояса и шпоры, и ножи-навахи с удалыми надписями на лезвиях, и кольца для ключей с чеканными брелоками, и портсигары, плетенные из волокон агавы... Вокруг молоденькой туристки из Штатов клубится живописный рой, она хохочет, и хохочет, и покупает украшения, покупает, покупает, сама уже не понимает, что ей суют, безостановочная и бессмысленная возня; вот досада, полированные камушки так и не удалось сбить с рук, и раскрашенные кувшины -- тоже, кувшины возвращаются в корзинку своего старого любимого хозяина, там и переночуют, еще немного побудут утварью, то есть чем-то живым, а не украшением ненадолго, не напоминанием о пустопорожней и торопливой поездке.

И снова в городе, и какое чудо -- собор, пылающий всеми огнями; какими огромными кажутся колокольни на темной -- до черноты -- сини надвигающейся ночи! Хаэн, Малага, какой-то еще собор одного из городов юга Испании? Собор Мехико, и звон его колоколов заглушает грохот американизированной жизни столичных улиц, жизни в разреженном воздухе, жизни, шалой от спешки. Из окон видна горная цепь Ахуско, ее очертания -- точь-в-точь как очертания Гуадаррамы, какою она видится в мадридские вечера. И только пальма с ее округлой, колышашейся, пышащей зноем кроной упрямо разрушает мимолетный обман зрения.

Июль 1960 г.

## ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Алонсо Самора Висенте (родился в 1916 г. в Мадриде) -- известнейший испанский романист. Романист в обоих смыслах слова: филолог-романист, член и пожизненный секретарь Испанской Королевской академии, и автор романов, опубликованных на многих языках, в том числе на русском.

В шестидесятых годах дон Алонсо (как называют его с почтительной любовью друзья и ученики) работал в Аргентине и Мексике. Предлагаемый вниманию читателя очерк был написан сразу по приезде в Мехико в 1960 г. и включен автором в сборник "Книги, люди, пейзажи". Первые исследователи Америки именовали страну "Жаркой Землей" или еще "Новой Испанией", как она была официально названа по предложению Эрнана Кортеса, ее завоевавшего (название это закрепилось за Мексикой на весь колониальный период). Кортес и есть тот самый конкистадор, который упоминается в самом начале очерка.

К сожалению, в переводе неостановимо утрачивается стилистическое обаяние латиноамериканизмов, которыми испанский писатель пользуется сдержанно и всегда к месту. Утрачивается и ассоциативный ряд, связанный с цитатой из стихотворения Альфонсо Рейеса (1889 --1959), прославленного мексиканского поэта, прозаика, эссеиста, переводчика (многочратно переводился на русский язык). Знаменитая характеристика «воздушного пространства над Мексикой» («самая прозрачная часть воздуха» в буквальном переводе) послужила названием для второй книги (1959 г.) Карлоса Фуэнтеса (род. в 1928 г.) -- мексиканского прозаика, хорошо известного в России (как, впрочем, и во всем мире).

Еще при чтении очерка нелишне помнить, что Касорла, Аснайтн, Баэса -- небольшие городки в южноиспанской провинции Хаэн, Теотиуакан -- селение в штате Мексико, знаменитое пирамидами, посвященными Солнцу и Луне (высота самой большой -- 66 м), а слово «платереск» (от исп. «platero» -- ювелир) -- условное наименование национального художественного направления в архитектуре Испании первой половины XVI века.

А. Косс

Александр НИНОВ

творились в местном населении, как горсть соли в чужом котле. За четыре века возник преобладающий национальный тип мексиканца-метиса, индейца в сущности, воспринявшего испанскую прививку. Психологические черты нового национального характера оказались достаточно своеобразными. Во всяком случае они не сводятся к простой арифметической сумме исходных качеств.

На первый взгляд, мексиканцы неторопливы; они унаследовали от индейских предков сдержанность внешнего проявления своих чувств, особенно отрицательных эмоций -- раздражения, нетерпения и т.п. Их спокойная невозмутимость, самообладание, размеренность движений, печать созерцательности, лежащая на смуглых, монгольского типа лицах, составляют заметный контраст с подвижным и пылким испанским типом. Однако эта внешняя сдержанность мало что говорит о действительном темпераменте, неудержимом и бурном в некоторые минуты.

За последние три четверти века после демократической революции 1910 -- 1917 годов Мексика пережила беспрецедентный подъем национального чувства, получивший яркое и всестороннее выражение в современном мексиканском искусстве. Древнеиндейские основания мексиканской культуры теперь тщательно очищаются от заносов, освобождаются от пелены пренебрежительного забвения, чтобы создать новые творческие стимулы для молодой, стремительно развивающейся нации.

Памятник Племенам -- дань высокого уважения и интереса мексиканцев к своему прошлому, выражение признательности потомкам к далеким пращурам, впервые освоившим эту землю для себя и для последующих поколений.

Выбравшись из автобусов, мы медленно обходим монумент вокруг; фотоаппараты наготове, освещение прекрасное, можно сделать несколько отличных снимков. Монумент a la Raza повторяет характерную индейскую пирамиду с усеченной вершиной. Боковые плоскости пирамиды украшены тремя рядами резного орнамента, выполненного по камню. Орнамент этот напоминает древние пиктограммы -- вроде тех, какие оставляли индейцы майя на особых каменных столбах-стелах.

Со всех четырех сторон к верхней площадке ведут условные лестничные марши, как и на больших пирамидах, где лестницы настоящие. Здесь лестничные ступеньки только намечены и по

непримиримые оттеснены в труднодоступные районы, горы и джунгли, бесплодные пустыни, где нужны были нечеловеческие усилия, чтобы выжить.

Испанцы разрушили высоко развитую языческую цивилизацию ацтеков и майя, а плоды их собственной христианской культуры на чужой земле оказались горькими. Слишком многое в цивилизации пришельцев и аборигенов было несовместимым. Процесс образования третьей, скрещенной культуры оказался болезненным,

(особенно в отсталых сельских районах) сохранили не только свой язык, но и свои обычаи, верования, свой архаичный уклад жизни.

Двадцатый век обострил агонию этих народов, поставленных в крайне тяжелые условия жизни. Решение так называемой «проблемы индейцев» наталкивается и на сложные социальные преграды, и на высокий психологический барьер, отделяющий индейские туземные племена от промышленно-капиталистического общества современной Мексики.

## ПИРАМИДЫ ТЕОТИУАКАНА

ИЗ ЗАПИСОК О МЕКСИКЕ

**Р**ано утром, наскоро съев свой неприменный завтрак -- яичницу с ветчиной, грейпфрутовый сок, тоненькие поджаренные тосты и чашечку черного кофе, мы расселись по автобусам, дожидавшимся нас за углом в десяти шагах от нашего отеля «Фримонт». Сегодня из Мехико мы едем в Теотиуакан осматривать знаменитые индейские пирамиды.

Кто как, а я волновался. Еще в школе меня поражали описания Великой египетской пирамиды Хеопса. Изумляли не столько ее циклопические размеры, древность ее, сколько способ, каким она была построена. Грандиозный результат, достигнутый самыми элементарными, самыми несовершенными средствами. Каменная гора, воздвигнутая обезличенным трудом муравьев!

Потом, прочитав книжку «Загадки египетских пирамид», написанную бывшим архитектором Службы древностей Египта Ж. Ф. Лауэром, я убедился, насколько мое давнее, детски-наивное сомнение в обычных объяснениях необычайного было оправданным. А ведь индейские пирамиды, среди которых самые крупные превосходят пирамиду Хеопса, еще более таинственны, еще менее разгаданы. Сегодня нам предстояло увидеть индейские пирамиды собственными глазами -- было от чего заволноваться.

Теотиуакан расположен к северу от Мехико на расстоянии пятидесяти трех километров, так что автобусом туда можно доехать за один час. Но мы должны были остановиться еще в нескольких пунктах, чтобы продолжить осмотр Мехико. Наши автобусы следуют по улице Инсургентес -- главной проезжей трассе столицы, пересекающей ее с севера на юг. Это улица тянется более чем на тридцать километров через весь город. Посредине, разделяя два встречных потока машин, выстроились многолетние пальмы с толстыми, в полтора-два обхвата стволами и высокими пышными кронами.

Первую остановку мы делаем у монумента Племенам (a la Raza), установленного в северной части Мехико. Этот пирамидальный памятник выполнен в чисто индейском национальном стиле, продиктованном его прямым назначением. Речь идет о племенах, населявших Мексику до испанского завоевания и составивших основу основ современной мексиканской нации.

Трехсотлетнее господство Испании принесло коренным племенам Мексики неисчислимые страдания и муки. Сотни тысяч непокорных индейцев были уничтожены, миллионы обращены в крепостных рабов, самые

длительным и по существу не завершен и теперь.

До сих пор в Мексике живет более сорока индейских племен и народностей, из которых некоторые насчитывают лишь по две-три тысячи человек. Самые крупные народы -- ацтеки, сапотекы, мистеки, майя и отомы составляют пятую часть населения страны. Многие из них

И все же лицо Мексики осталось более индейским, чем испанским. Смешанная испано-индейская группа составляет абсолютное большинство населения страны и продолжает возрастать. Испанцы дали Мексике свой язык, свою религию и элементы своей культуры, но, разделив обычную участь завоевателей, их потомки рас-



ним стекает вода, бьющая сверху. У основания пирамиды все четыре марша поддерживаются скульптурными изображениями вождей племен, а также изваяниями пасти пернатого змея Кетцалкоатля. Подлинные каменные экземпляры этого божества мы потом увидели в Теотиуакане.

На верхней площадке пирамиды поднята небольшая надстройка из камня, копирующая древний храм. Четыре угловые опоры, слегка стесанные на конус, поддерживают массивную плиту, покрывающую их сверху. В нишах между парными столбами установлены бронзовые фигуры в человеческий рост -- это выдающиеся вожди индейцев в полном боевом облачении и среди них национальный герой ацтеков Гуатемок. Возмущенный бездействием и нерешительностью императора Монтесумы, Гуатемок бросил вооруженный вызов Кортесу, разбил его первый отряд и изгнал испанцев из Теночтитлана. Затем, после поражения, он бесстрашно принял от чужеземцев мучительные пытки и казнь.

Вершину памятника увенчивает бронзовый орел со змеей, широко размахнувший свои крылья над каменной пирамидой... Монумент Племенам является одновременно и постоянно действующим фонтаном. Сотни больших струек фонтанируют по скатам пирамиды, омывая ее день и ночь со всех сторон. Эти неиссякаемые струи означают живую преемственную связь между древними племенами и современным народом Мексики.

Вторая остановка нашей группы назначена возле базилики Гваделупы (Basilica Guadalupe) -- главного католического собора Мексики, уступающего по размерам только кафедральному собору столицы. Прежде чем увидеть и оценить религиозный центр древних индейцев Теотиуакан, мы получили возможность еще раз заглянуть в лицо католической Мексике сегодняшнего дня.

Наши автобусы остановились в стороне от собора, на краю большой площади, вымощенной квадратными плитами. Собор святой девы Гваделупы -- защитницы всех больных и скорбящих -- был построен в самом начале XVIII века. Это монументальное сооружение с массой резных и скульптурных украшений над главным входом, двухъярусными колокольнями башнями по краям и мощным куполом в глубине.

Своим общим планом базилика Гваделупы напоминает кафедральный собор, но все здание кажется менее тяжеловесным. Округлая, струящаяся пластика его каменных форм оставляет впечатление изысканности и великолепия, свойственного образцам барокко позднего времени.

На противоположной стороне площади по всей ее ширине вытянулась длинная аркада, разделенная в центре главными воротами. Двадцать девять сводчатых арок одного крыла соответствуют количеству штатов

колониальной системы: она была духовным тараном, который с неумолимой жесткостью дробил местную индейскую цивилизацию и культуру до полного ее уничтожения. Никакие заповеди христианства, никакие соображения человечности и сострадания не принимались при этом в расчет. Христианство насаждалось силой оружия, изощренными пытками и кострами аутодафе, на которых упорствующие язычники сгорали заживо вместе с деревянными фигурками своих богов и бесценными рукописями, хра-

глумлению. Так внедрялось на первых порах христианство в темные души индейцев-язычников, населявших Юкатан.

Инквизиторская деятельность Диего-де-Ланда не была исключением. В других областях происходило то же самое, причем церковники и конкистадоры порой взаимно обвиняли друг друга в злоупотреблениях властью по отношению к индейскому населению. Центральная королевская власть, сохранявшая за собой высшие духовные полномочия, вынуждена была в некоторых случаях ограничивать усердие тех и других, поскольку они угрожали оставить испанский престол не только без еретиков, но вообще без подданных.

Старая индейская религия почти повсеместно была расплывлена, загнана в глухие углы, однако почва ее сохранялась, и угнетенные мексиканские племена никогда бы не приняли христианство под воздействием одних только бичей испанских завоевателей. Поэтому католическая церковь стремилась придать язычеству хотя бы внешний христианский оттенок. Она охотно мирилась с тем, что культ старых индейских богов переносился на святых христианского календаря. Менялся внешний предмет поклонения, иначе выглядел храм, но сама психология язычества сохранялась и приспосабливалась к обстоятельствам.

Индейцы молились католическим статуям и иконам с тем же внутренним чувством и теми же представлениями о мире, какие были выработаны их собственной теологией за многие тысячи лет. И изменить этого никто не мог даже при помощи аутодафе. Диффузия христианских идей в сознание новообращенных народов шла очень медленно, зато само христианство быстро адаптировалось по местным образцам. Мексиканский Христос похож на метиса, в иных случаях на креола, а Богоматерь на многих изображениях больше всего напоминает скорбную индейку.

Новая религия получила повсеместное распространение и, путив глубокие корни, надолго пережила испанскую колониальную империю. Потеряв прежние государственные привилегии и многие имущественные права, католичество сохранилось в качестве крупной духовно-политической силы, оказывающей ошутимое воздействие на жизнь современного мексиканского общества.

Сегодняшние католики в



Мексиканской республики. В другом крыле арок меньше -- по числу епископств, возникших еще тогда, когда Мексика делилась не на штаты, а на провинции.

Площадь между аркадой и собором так велика, что может вместить двухсоттысячную толпу -- бывает, что в религиозные праздники собирается еще больше. В Мексике всегда был избыток больных и скорбящих, а, по местному поверью, святая дева обладает чудодейственной способностью исцелять верующих. Надо только очень искренно и усердно молиться, а потом в соборе прикоснуться губами к иконе с ее изображением. И толпы измученных, отчаявшихся людей продолжают тянуться к собору Гваделупы.

Потребность в надежде и милосердии держит человека во власти религии гораздо сильнее, чем чувство страха и наказания, которое католическая церковь усиленно внушала во времена своего абсолютного владычества в Мексике. Между тем миф о гуманности христианства нигде не был так осквернен и опозорен, как в этой стране, где святой крест стал знаком гибели целых народов.

Долгие триста лет католическая церковь составляла неотъемлемую часть испанской

нившими секреты и опыт многих поколений.

Среди подлинных документов шестнадцатого века ученые давно оценили «Сообщение о делах в Юкатане» (1566 г.), принадлежащее монаху-францисканцу Диего-де-Ланда. Он занимал высокие посты в католической иерархии Новой Испании, был сначала духовным главой объединенной церковной провинции Юкатана и Гватемалы, а затем епископом. Оставленная им книга является ценным историко-этнографическим очерком, содержащим подробные описания Юкатана и населявших его индейцев майя. Но некоторые страницы «Сообщения» Диего-де-Ланда говорят о страшных делах, совершавшихся в Юкатане братьями-францисканцами при непосредственном участии самого автора. Почти год продолжались пытки и казни, а летом 1562 года Диего-де-Ланда устроил публичное аутодафе -- гигантский костер, на котором сжигали культовые реликвии майя, их древние рукописи, скульптуры, а заодно и тела замученных еретиков, открытые из могил. Множество индейцев, одетых в позорные шутовские колпаки желтого цвета на глазах у публики были подвергнуты бичеванию и



Мексике (а они составляют девять десятых всех верующих) -- наследники не только двух рас, но и двух религий, и тот, кто хочет что-то понять в характере и психологии мексиканцев, не должен упускать из виду это немаловажное обстоятельство.

К собору Гваделупы мы приехали утром в обычный будний день, однако от главных ворот до входа через всю площадь уже вытянулась длинная процессия богомольцев. В толпе много простых, бедно одетых людей в грубой обуви, темных или светло-серых хлопчато-бумажных костюмах. Много женщин в национальных шерстяных безрукавках и длинных платьях. Некоторые из них с детьми на руках; еще больше детей держится за руки своих матерей и отцов, пришедших помолиться святой деве. В массе своей это крестяне, приехавшие в Мехико издалека. Кое-кто, как нам объяснили, добирается сюда даже из других провинций -- они надеются на исцеление.

Несколько человек из толпы -- это были пожилые грузные женщины -- шли на коленях через всю огромную площадь. Ни на кого не обращая внимания, они медленно передвигались рядом с процессией, которая постепенно приближалась к собору.

Над головами верующих кое-где покачивались деревянные позолоченные кресты, кто-то поднял вверх убранные цветами иконы и просто венки, которые потом складывались у алтаря.

Мы стали в самый конец процессии и так же, как все, начали продвигаться к центральному входу, а за нами выстраивались новые люди, которых на площади прибывало. Переступив порог храма, мы прошли от входа до самого алтаря между двумя рядами массивных колонн, уходящих вверх в могучие своды. Шла служба, толпа молящихся медленно приближалась к кафедре, а затем, миновав алтарь, сворачивала на выход в левую сторону.

Одетый в богатые ризы священник осенял крестом проходящих мимо. Рядом другой служитель держал в руках большую икону, к которой многие из процессии истово припадали губами. Ради этого мига они и шли сюда. Им, наверное, уже никто не может помочь, кроме святой девы, главной заступницы больных и скорбящих. А что если и она отвернется от них?

Прежде чем приблизить икону для поцелуя следующему богомольцу, служитель быстро, одним движением, отирал ее

поверхность небольшим полотенцем -- условная мера предосторожности, чтобы при случае не увеличить число больных и скорбящих. Некоторые, упав на колени, прикасались лбом к каменным статуям главного алтаря и так замерли в неподвижности. Когда-то предки этих людей точно так же падали ниц перед ступенями храмов своих индейских богов. Где теперь эти боги?

После сумрака внутренних помещений собора каменная площадь ослепляет яркими лучами отраженного света --



солнце поднялось уже высоко. А толпа богомольцев так же тянется длинной очередью через всю площадь от главных ворот до центрального входа.

У основания левой башни собора чуть выше человеческого роста установлена мраморная доска в память президента Джона Кеннеди. Он посетил этот мексиканский собор вместе со своей женой Жаклин в 1962 году. Президент Кеннеди был католиком, его жена ожидала тогда третьего ребенка. У них был повод помолиться святой деве в стенах ее храма. Но их молитвы не были услышаны. Ребенок погиб до родов, а президент год спустя был застрелен в Техасе, на земле, которая когда-то принадлежала Мексике...

С правой стороны к собору примыкает здание большой церкви, заметно наклонившееся. Установлено, что церковь медленно опускается в землю. В глубине под фундаментом ее находится зыбкий озерный грунт, и здание с момента постройки погрузилось вниз на целых три метра. Никто не знает, как приостановить это погружение, как никто не может задержать медленное, но неуклонное угасание былого могущества официальной католической церкви в Мексике.

Выехав за городскую черту, наши автобусы пошли с большой скоростью по широкой автостраде, уходящей от Мехико на север. Вдоль дороги потянулись невысокие зеленые холмы, занятые по склонам посевами кукурузы. Мы ехали по направлению к горной цепи Сьерра-Падре, и лента шоссе, плавно огибая возвышенности, постепенно поднималась вверх. Затем дорога вошла в замкнутую между холмами долину. Автобусы свернули в сторону от шоссе и остановились на площадке возле

была вымощена тяжелыми гипсовыми плитами. Центральную часть этой площади заняла главная храмовая территория протяженностью в два километра.

Священный город был разбит стройно и продуманно -- правильными квадратами на четыре стороны света по главной оси, проходящей с севера на юг. Глубокая символика была заключена как в общем плане, так и в отдельных частях сложного архитектурного целого.

Строители Теотиуакана тольтеки и другие индейские племена вкладывали в некоторые числа таинственный мистический смысл. У тольтеков и майя таким священным числом считалось число четыре. Культ бога Кетцалкоатля -- одного из главных богов древней Мексике -- многозначно сопрягался с этим числом. «Кетцал» по-индейски -- перо, птица; «коатль» -- змея. Кетцалкоатль -- перистый летающий змей, бог мудрости, бог ветра, Колесо Ветров.

Весь архитектурный комплекс Теотиуакана так или иначе связан с культом Кетцалкоатля, и его храм, расположенный по южной стороне вытянутого к северу четырехугольника, был одним из ключевых сооружений священного города. С осмотра храма

Кетцалкоатля мы и начали свой обход, напоминая скорее путешествие на машине времени, вернувшей нас на пятнадцать веков назад. И странное чувство смещения времен, никогда с такой отчетливостью не испытанное прежде, сопровождало нас в этом удивительном путешествии.

Верхняя часть храма не сохранилась. От всего сооружения осталось только величественное основание -- огромная платформа, длину в двести сорок и шириной в двести метров, облицованная по краям массивными каменными плитами и скульптурным орнаментом. Мы прошли узким ущельем между фасадной стеной и валом из земли и щебня, возникшим тут при раскопках. Археологи установили, что храм Кетцалкоатля был когда-то тщательно засыпан землей и превращен в цитадель. Это случилось, вероятно, в те времена, когда культ бога Кетцалкоатля сменился культом других богов, и индейцы, по принятому у них обычаю, не стали разрушать старый храм, а приготовились засыпать его, чтобы на прежнем основании возвести новую постройку, еще более колоссальных размеров.

Одна религия поглощала другую в буквальном смысле

каких-то строений. Мы приехали в Теотиуакан. Невысокие строения оказались одноэтажными сувенирными магазинами, параллельными рядами они растянулись на целый квартал до входа на обширную территорию древних пирамид и храмов. За стеклянными витринами и на полках здесь выставлены бесчисленные каменные копии индейских богов и божков, разнообразные ритуальные маски, керамические и деревянные статуэтки на любой вкус. Бросив лишь беглый взгляд на все это великолепие, мы поспешили выйти за торговые ряды и через пять минут оказались в пустом покинутом городище, полуразрушенном "городе теней", где уже много веков никто не живет.

По преданиям и сбивчивым историческим сведениям из ацтекских хроник, Теотиуакан был основан тольтеками за 400 лет до нашей эры. Постепенно город превратился в религиозную столицу и перестраивался несколько раз. Между вторым и девятым веком нашей эры в Теотиуакане был осуществлен грандиозный строительный план культового назначения. Вся долина Теотиуакана длиной в пять и шириной в три километра

слова, так что храмы старых богов оказывались наглухо погребенными в храмовом чреве богов-победителей. Трудно даже представить себе, какие масштабы работ при этом надлежало выполнить. Перестройки тянулись десятилетиями, если не веками, и многие поколения должны были смениться, прежде чем очередная магия грандиоза какого-нибудь обожествляемого владыки получала наконец законченное архитектурное воплощение.

Засыпанные части храма Кетцалкоатля прекрасно сохранились, и, когда их очистили от земли, облицованные стены огромной платформы открылись в том самом виде, что и тысячелетия назад. Главное скульптурное украшение этих стен -- головы-пасти пернатых змей, выступающие над балюстрадами и по фасаду. Метровые изваяния их повторяются в сочетании с другой фигурой, изображающей странное крупноголовое существо. Считают, что это символ бога дождя Тлалока либо еще более древней «богини-лягушки», также олицетворявшей стихию воды.

Изваяния пернатого змея и бога воды комбинируются в определенной последовательности; пространство между ними занимают барельефные изображения рыб, морских раковин и других предметов. Все вместе они составляют законченный религиозно-символический орнамент. Изначальный смысл его во многом утрачен, но несомненно, что каждый знак или образ этого орнамента имел не просто декоративное, а некое ритуальное значение.

Тот, кто допускался к подножию храма Кетцалкоатля, когда он еще стоял в полном величии, должен был испытывать священный трепет перед его всемогущим владыкой. Застывшие полураскрытые пасти пернатого змея показывали ряды мощных ягуаровых клыков. Чешуйчатые головы были окрашены в светло-зеленый цвет, а глазные впадины хранили зрачки из полированного нефрита или обсидиана, кое-где уцелевшие до сих пор. В лучах солнца эти блестящие зрачки сверкали, как живые, внушая поклонявшимся мысль о всевидящем и всепроницающем божестве.

Несмотря на столь грозный и устрашающий вид, культ изумрудно-перистого змея Кетцалкоатля почитался наиболее гуманным в Мексике. Это был один из немногих богов, отвергавший человеческие жертвы

и в этом смысле противоположный ацтекскому богу войны Уицилопочтли, возобладавшему затем в мексиканском пантеоне. Один из четырех верховных небесных братьев, родившийся в последнем тринадцатом небе, Кетцалкоатль довольствовался лишь ароматом цветов и сладостью спелых плодов. Как бог ветра, он перегонял по небу легкие тучки, и ему было достаточно розово-красного цвета, которым солнце окрашивало бескровные белые облака в час восхода и в час заката.

мных зданий, от которых остались лишь приподнятые фундаменты и основания стен.

В домах и дворцах вблизи пирамид жили только жрецы с прислугой. Все остальное население Теотиуакана размещалось за пределами храмовой территории. Жрецы считались земными слугами и учениками Кетцалкоатля, сынами солнца и облаков, и только им был открыт доступ в главные святилища.

Пирамида Солнца занимает центральное положение во всем архитектурном комплексе Теотиуакана, она смещена к востоку

ного обожествляемого лица над всеми прочими. Основные отношения абсолютизма здесь переданы с наглядностью простейшего чертежа. В отвеченной пирамидальной фигуре был схвачен главный принцип древнейшей теократии: необъятная власть, которая замыкается в одной высшей точке; безмерная тяжесть, распределенная по нисходящим плоскостям до самого основания; неутомимая иерархия господства и подчинения, начинающаяся от вершины; строгое равновесие сторон, придающее максимальную устойчивость всей структуре.

В своем общем значении материального символа власти египетские пирамиды пережили древние царства и новые века. Зато прямой своей цели живые властители и мертвые хозяева пирамид не достигли. Как выяснили исследователи, почти все египетские пирамиды оказались вскрытыми и разграбленными. Их чудовищная каменная толща не спасла погребенных фараонов от мстительной алчности и ненасытного любопытства последующих поколений.

Индийские пирамиды (по крайней мере большинство из них) не имеют каких-либо скрытых помещений внутри. Они строились не для обожествляемых людей, а для богов непосредственно, их главная цель заключалась в том, чтобы храм верховному божеству был поднят как можно выше к небу.

Так или иначе американские индейцы создали самое крупное архитектурное сооружение в мире -- великую пирамиду в Чолуле, которая по площади значительно больше египетской пирамиды Хеопса. Сторона основания чолульской пирамиды равна 440 метрам (пирамиды Хеопса соответственно -- 230 метров), высота усеченной мексиканской пирамиды -- 77 метров, тогда как остроконечная египетская громада возвышается более чем на 140 метров.

Пирамида Солнца в Теотиуакане уступает по размерам этим двум великим пирамидам, но и она относится к числу наиболее монументальных сооружений, когда-либо выполненных человеческими руками. Пирамида Солнца подымается вверх четыремя ступенями на высоту более шестидесяти метров. Тело пирамиды сложено из крупных сырцовых кирпичей -- адобов, которых понадобилось много миллионов штук, если учесть, что каждая сторона квадратного основания составляет



Считалось, что бог ветра метет дорогу богу воды, стоня на землю грозные тучи, -- не потому ли пернатый змей Кетцалкоатль изображен на стенах своего храма в неперменных сочетаниях с богом дождя Тлалоком? По многим поверьям, Кетцалкоатль был сначала человеком и лишь затем превратился в бога. Он носил на голове митру -- кетцалли с султаном из перьев, пятнистую, как тигровая шкура; носил мозаичные серьги из бирюзы и золотое ожерелье, с которого свешивались драгоценные морские раковины. На спине его был наряд из перьев в виде пламени огня. Некоторые детали этого убора повторяются в каменном орнаменте на стене храма Кетцалкоатля, в частности -- морские раковины, языки пламени и другие, так что каждая деталь, здесь изображенная, оказывается составным элементом многоликого мифического образа бога ветров.

От храма Кетцалкоатля мы направились к центральной части священного города, где возвышается самое колоссальное сооружение Теотиуакана -- знаменитая пирамида Солнца. Для этого нам пришлось пройти небольшой мост через пересохшую речку, отделяющую храм от основной части города, и миновать руины длинных ка-

от продольной городской оси, идущей с севера на юг. Пирамида поставлена так, что первые утренние лучи солнца с востока раньше всех других построек касаются ее усеченной вершины. На этой вершине когда-то был храм, ныне разрушенный, в котором индейские жрецы совершали свои таинственные обряды. Храм Солнца господствовал над священным городом, а сама пирамида служила лишь грандиозным подножием храма солнцепоклонников.

Это назначение мексиканской пирамиды существенно отличает ее от египетской. Все пирамиды древнего Египта, в том числе и Великая пирамида Хеопса, строились как гробницы фараонов. Они должны были обеспечить неприкосновенность останков фараона после его смерти и сохранить сокровища, которые полагались ему по сану в загробной жизни. Огромные размеры и строгая форма пирамид служили идеальным выражением абсолютной власти фараона-бога над его подданными.

За всю свою историю человечество не нашло более выразительного символа, который бы с такой геометрической точностью указывал на подавляющее преобладание од-

210 метров, а общая площадь пирамиды превышает четыре гектара.

Древние тольтеки-строители выложили эту гору навечно. Все стороны пирамиды облицованы тесаными каменными плитами, плотно пригнанными одна к другой и скрепленными столь прочным цементным раствором, что его качеству по сию пору удивляются мастера.

Широкие лестничные марши ведут от основания пирамиды круто вверх, причем снизу не видно очередного уступа, так что поднимающимся кажется, будто лестничные ступени уходят прямо в небо. По существу пирамида Солнца состоит из четырех уменьшающихся усеченных пирамид, поставленных одна на другую, и, чтобы взойти к вершине, надо миновать три промежуточные террасы, открывающие каждый раз новый, все более раздвигающийся горизонт.

Четыре стороны пирамиды, обращенные на главные стороны света, и четыре мощных уступа, приближающих вершину пирамиды Солнца к небу, несомненно связывались в сознании ее строителей с основными религиозными понятиями о пространстве и времени. Не только представления о четверичности мира были выражены этим символом, но и различия противоположных стихий.

Как отмечает Дж. Вайан в «Истории ацтеков», вся вселенная казалась древним индейцам скорее религиозным, чем географическим целым. Она была разделена в горизонтальном и вертикальном направлении на области, имевшие религиозное значение. Центр принадлежал старейшему богу мексиканской религии -- богу огня, и именно на верхней центральной площадке пирамиды находился храм Солнца, возле которого зажигались величественные ритуальные костры.

Восток считался областью изобилия, местом, откуда исходят дожди, оплодотворяющие сухую землю. Это был край мужчин, где находили приют души погибших воинов. По легенде, они ежедневно приветствуют восходящее Солнце и провожают его от восточного горизонта до зенита. Запад оставался стороной женщин, он служил домом планеты Венеры, местом Вечерней и Утренней звезды, отождествляемой с изменчивым ликом пернатого змея Кетцалкоатля. Когда солнце достигало зенита, дальше до закатной черты его провожали души женщин, умерших во вре-

мя родов и принятых за муки на небо.

Юг имел несколько разных значений, но главное из них связано с богами весны и цветов. Весна приходила в долину Мехико с юга. Север, напротив, считался мрачным и неудобным местом, обиталищем владыки мертвых и источником холода. Каждый день в течение года солнечные лучи освещают пирамиду с востока, затем сдвигаются на юг и исчезают с запада, оставляя в стороне север.

Наблюдения за ходом солнца и планеты Венера послужили

возьмет на себя бремя светить над миром. Тотчас вызвался один из богов по имени Текуистекатль, а другого долго не могли определить, так как все молчали. Молчал и один малоизвестный неприметный бог Нанагуатцин, пораженный язвой. Тогда другие обратились к нему и сказали:

«Попытайся ты быть светящим, язвенный!»

Нанагуатцин повиновался, приняв предложенное как великую благосклонность. В течение четырех ночных кругов оба избранника несли покаяние.



основой для создания календаря, замечательного по своей точности. Солнечный календарь древних тольтеков и майя, принятый затем и ацтеками, делился на восемнадцать месяцев по двадцать дней в каждом. Недостающие пять дней в году не имели чисел и считались днями заклатья, когда нельзя ничего начинать, а можно лишь навещать друг друга. Ацтеки вносили в солнечный календарь и другие поправки, в результате которых он сохранял более точное соответствие с солнечным временем, чем григорианский календарь, принятый в Европе.

Сохранилась легенда, объясняющая, почему именно Теотиуакан был избран древнейшей религиозной столицей и местом великих храмов, построенных на пирамидах Солнца и Луны. Эту легенду сообщает испанский священник Бернардино де-Саагун в своей книге «Общая история вещей Новой Испании», написанной в XVI веке во времена завоевания и основанной на древнейших источниках, из которых многие затем были утрачены.

Легенда гласит, что в доднечности мира, когда не было ни Солнца, ни Луны и стояла вечная Ночь, боги сошлись в том месте, что ныне зовется Теотиуакан, и держали совет, кто

Для этого в жерле скалы был зажжен костер и каждый принес в жертву, что мог: Текуистекатль обратил простые вещи в драгоценные, а Нанагуатцин довольствовался самими простыми, окропив их предварительно своей кровью. Каждому из них воздвигли пирамиду, подобную горе, и ныне эти взгорья под храмами называются теокалли.

На исходе покаянного ночного четверокружия совершился главный обряд. Первый, добровольно вызвавшийся бог Текуистекатль должен был первым же войти в костер, который рдел четыре ночи. Четыре раза пытался он сделать это и четырежды отступал перед страшным жаром. Тогда язвенный Нанагуатцин, закрыв глаза, кинулся в костер и мгновенно воспламенился, а за ним, увлеченный примером, бросился и Текуистекатль.

Первым на небо взойшло алое Солнце, а за ним с той же восточной стороны -- Луна. Они появились, преобразившись, в том же порядке, как пошли в костер.

«И говорят сказители преданий, что владели равным светом, которым освещали; и когда увидели боги, что одинакова светозарность их, вторично воззвали друг к другу, и сказали:

«О, Боги, как же это будет? Хорошо ли то, что рядом идут? Хорошо ли, что светят равно?» И боги постановили решение и сказали: «Да будет вот так». И один из них взмахнул и бросил кролика в лицо Текуистекатля, и помрачился его лик, затмился блеск, и стал его образ таким, как сейчас».

Боги древней легенды очень по-хожи на своих создателей -- людей. Среди них есть изгой -- и даже язвенные; есть хвастуны, обещающие больше, чем могут исполнить, и есть герои, принимающие мужественное решение ради блага всех остальных. Как люди, боги настолько непредусмотрительны, что не могут представить себе ближайших последствий собственного решения: Солнце и Луна, взойдя на небо, стоят рядом и светят равно.

После того как эта ошибка была исправлена, обнаружилась новая оплошность -- Солнце и Луна не двигались с места, так что под их палящими лучами нельзя было жить. Тогда заудел, подул могучий Ветер и подтолкнул Солнце, чтобы оно проходило свой обычный путь. Луна

осталась на месте, а потом пошла вслед за Солнцем. «Так разлучились и восходят в раздельности времени. Солнце длится днем, в ночи говорит Луна».

Поэтический миф о происхождении Солнца и Луны является по сути одной из самых ранних версий образования Вселенной, какой она представлялась взгляду древних тольтеков. Культ Солнца в Мексике имел тысячелетние традиции. Веками, от поколения к поколению вырабатывался сложный ритуал, за соблюдением которого строго следили жрецы. И в легенде о происхождении Солнца и Луны, как нетрудно заметить, есть идея испугательной жертвы, которая была изначально принесена небу, чтобы над миром мог светить солнечный и лунный свет.

Пирамиды Солнца и Луны в Теотиуакане были местом торжественных религиозных обрядов и жертвоприношений, совершавшихся на закате или на восходе в определенные дни ритуального календаря. Вершина пирамиды считалась священным местом, где встречаются Небо и Земля и где происходит брачное сочетание Верха и Низа, вызывающее плодородные дожди. Здесь, на вершине пирамиды, строились храмы главным богам. Их дополняли многочисленные хра-

...и в старом порядке у ледяных пирамид и также известные специальные культовые назначения.

Из-за необычной перенаселенности древнемексиканского пантеона религиозных праздников было множество. Особенно торжественными обрядами отмечался конец года; еще более крупными церемониями сопровождалась смена малых и больших циклов, знаменовавших наступление новых времен.

Перед заходом солнца на вершину пирамиды поднималась процессия жрецов, облаченных в белоснежные одежды. К подножию верхнего храма доставлялись дары и пленники, назначенные в жертву богам. В храме гасили огонь, который горел непрерывно после предыдущего праздника. Всю ночь жрецы проводили в храме и вопрошали небо, продлится ли дальше существование мира. Когда одна из назначенных крупных звезд достигала зенита, это служило знаком, что и в последующем календарном цикле мир будет существовать. В этот момент из груди человека, обреченного в жертву, жрецы высекали трепещущее сердце и зажигали на алтаре храма новый огонь.

Бегуны-скороходы воспламеняли от храмового огня свои факелы и несли их в селения, где ликующие жители зажигали от них огни в своих очагах. Совершались ритуальные пляски, народ праздновал в счастливом

сознании, что боги даровали ему дальнейшую жизнь. Вся эта феерическая церемония называлась обрядом «нового огня».

Когда мы поднимались на пирамиду Солнца, стоял палящий полдень. Горячие лучи падали отвесно вниз. Темные шероховатые камни ступеней успели сильно прогреться и также обдавали теплом. Восхождение на пирамиду требует если не выносливости, то хорошего сердца. Кое-кто успел задохнуться после первого же крутого подъема и остался на нижней террасе, откуда вверх вели новые, более узкие лестничные марши.

Когда по этим же ступеням тысячелетия назад поднимались процессии жрецов, то каждая терраса служила им местом для особого обряда. Только главные жрецы имели право подняться на самый верх. Всего к вершине пирамиды ведут двести сорок крупных ступеней. Путь к храму имел символическое значение и был связан с культом Солнца и священным календарем.

С верхней площадки пирамиды Солнца открывается превосходный круговой обзор. Замкнутая овальная долина Теотиуакана лежит как наладони в кольце окружающих ее гор. Долина суровая и пустынная, буро-коричневого цвета, с выжженной солнцем колочей травой и редкими деревьями. Так, наверное, выглядела земля на второй день творения. Горы на расстоянии кажутся ниже, чем они есть, а пирамида под

ногами, напротив, вырастает в своих размерах и чудится равной горам. Отсюда же с площадки отлично видна соседняя, несколько меньшая пирамида Луны, расположенная севернее, на расстоянии неполного километра.

По представлениям толтеков, Солнце и Луна, разделившие небесный свод во времени, затем сочтались браком, и в их свадебном празднике участвовали небо и земля. Общий план Теотиуакана явственно сопрягает две величественные пирамиды в одно архитектурное целое, так что единый ритуальный смысл этих построек не вызывает никаких сомнений. Культовая идея в данном случае предшествовала замыслу зодчих, а грандиозная последовательность воплощения замысла поражает нас до сих пор.

Через весь город мимо пирамиды Солнца до самой пирамиды Луны проложена широкая мощеная дорога, по бокам которой видны руины дворцовых зданий и храмов. Некоторые здания сохранились лучше, и в одном из них -- Храме земледелия -- после раскопок были обнаружены настенные росписи редкостной красоты. С южной стороны к пирамиде Луны примыкает большая площадь, окруженная рядами построек и ступенчатыми платформами, напоминающими трибуны стадиона. Становится ясно, почему древние зодчие сместили огромную пирамиду Солнца к востоку от главной городской оси.

Поставленная в центре, она бы нарушила общую перспективу, разгородив своей массой весь ансамбль на две укороченные части.

Мексиканские пирамиды, как и египетские, остаются памятниками безмерного рабского труда, когда не считались ни с какими затратами времени и человеческих сил. Здесь должны были надорваться и погибнуть тысячи, а может быть и десятки тысяч людей, не знавших даже колеса и вынужденных передвигать многотонные глыбы только своими мускульными усилиями с помощью элементарных рычагов и катков. Но ведь, кроме этого обезличенного муравьиного труда, кто-то создал общий план, продумал сложный архитектурный проект, в котором предусмотрено все до мелочей. Так безукоризненно поставить большой храмово-пирамидальный комплекс, так естественно соединить все строения с окружающим пейзажем могли только гениальные зодчие и строители.

Глубоко пораженные, мы стояли над одним из самых грандиозных некрополей, когда-либо созданных человечеством.

## Эдвард ЛИР

### Мистер Йонги-Бонги-Бой

1

В том краю Караманджаро,  
Где о берег бьет прибой,  
Жил меж грядок с кабачками  
Мистер Йонги-Бонги-Бой.  
Старый зонтик и стульев пара  
Да разбитая гитара --  
Вот и все, чем был богат,  
Проживая между гряд  
С тыквами и кабачками,  
Этот Йонги-Бонги-Бой,  
Честный Йонги-Бонги-Бой.

2

Как-то раз, бредя устало  
Незнакомую тропой,  
На поляну незабудок  
Вышел Йонги-Бонги-Бой.  
Там среди курочек гуляла  
Леди, чье лицо сияло.  
"Это леди Джингли Джотт  
Белых курочек пасет  
На поляне незабудок", --  
Молвил Йонги-Бонги-Бой,  
Мудрый Йонги-Бонги-Бой.

3

Обратясь к прекрасной даме  
В скромной шляпке голубой,  
"Леди, будьте мне женою, --  
Молвил Йонги-Бонги-Бой. --  
Я мечтал о вас ночами  
Между грядок с овощами;  
Я годами вас искал  
Между пропастью и скал;  
Леди, будьте мне женою!" --  
Молвил Йонги-Бонги-Бой,  
Пылкий Йонги-Бонги-Бой.

4

"Здесь, в краю Караманджаро,  
Где о берег бьет прибой,  
Много устриц и омаров,  
(Молвил Йонги-Бонги-Бой).  
Старый зонтик и стульев пара  
Да разбитая гитара  
Будут вашими, мадам!  
Я на завтрак вам подам  
Свежих устриц и омаров", --  
Молвил Йонги-Бонги-Бой,  
Щедрый Йонги-Бонги-Бой.

5

Леди вздрогнула, и слезы  
Закатили как прибой:  
"Вы немножко опоздали,  
Мистер Йонги-Бонги-Бой!  
Ни к чему мечты и грезы,  
В мире много грустной прозы:  
Я люблю вас не вольна,

Я другому отдана,  
Вы немножко опоздали,  
Мистер Йонги-Бонги-Бой,  
Милый Йонги-Бонги-Бой!

6

Мистер Джотт живет в столице,  
Я с ним связана судьбой.  
Ах, останемся друзьями,  
Мистер Йонги-Бонги-Бой!  
Мой супруг торгует птицей  
В Англии и за границей,  
Всемирно известный Джеффри  
Джотт;  
Он и вам гуся пришлет.  
Ах, останемся друзьями,  
Мистер Йонги-Бонги-Бой,  
Славный Йонги-Бонги-Бой!

7

Вы такой малютка милый  
С головой такой большой!  
Вы мне очень симпатичны,  
Мистер Йонги-Бонги-Бой!  
Если б только можно было,  
Я б решенье изменила,  
Но, увы, нельзя никак;  
Верьте мне: я вам не враг,  
Вы мне очень симпатичны,  
Мистер Йонги-Бонги-Бой,  
Милый Йонги-Бонги-Бой!"

8

Там, где волны бьют с размаху,  
Где у скал кипит прибой,

Он побрел по краю моря,  
Бедный Йонги-Бонги-Бой.  
И у бухты Киви-Мяу  
Вдруг увидел Черепаху:  
"Будь галерою моей,  
Увези меня скорей  
В ту страну, где нету горя!" --  
Молвил Йонги-Бонги-Бой,  
Грустный Йонги-Бонги-Бой.

9

И под шум волны невнятной  
По дороге голубой  
Он поплыл на Черепахе,  
Храбрый Йонги-Бонги-Бой;  
По дороге невозвратной  
В край далекий, в край  
закатный.  
"До свиданья, леди Джотт", --  
Тихо-тихо он поет,  
Вдаль плывя на Черепахе,  
Этот Йонги-Бонги-Бой,  
Верный Йонги-Бонги-Бой.

10

А у скал Караманджаро,  
Где о берег бьет прибой,  
Плачет леди, восклицая:  
"Милый Йонги-Бонги-Бой!"  
В той же самой шляпке  
старой  
Над разбитою гитарой  
Дни и ночи напролет  
Плачет леди Джингли Джотт  
И рыдает, восклицая:  
"Милый Йонги-Бонги-Бой!  
Где ты, Йонги-Бонги-Бой?"

Легендарная встреча

**В** 1941 году, уезжая в американскую эмиграцию, Андре Бретон остановился на острове Мартиника; на несколько дней его интернировала вишистская администрация, затем его отпустили, и, прогуливаясь по Фор-де-Франсу, он обнаружил в галантерейной лавке местный журнальчик «Тропики»; Бретон пришел в восторг. В тот мрачный период его жизни этот журнальчик оказался для него лучом поэзии и мужества. Он мигом завязал знакомство с редакцией -- это было несколько молодых людей от двадцати до тридцати лет, собравшихся вокруг Эме Сезера, -- и стал с ними неразлучен. Бретону эта встреча дала радость и поддержку, а для литераторов Мартиники обернулась эстетическим взлетом и незабываемым очарованием.

Немного времени спустя, в 1945 году, Бретон ненадолго остановился в Порт-о-Пренсе, на Гаити, где выступал с докладом. Послушать его пришли все интеллектуалы острова, среди них совсем молодые писатели Жак Стефан Алексис и Рене Деспестр. Они слушали его с таким же восторгом, как несколькими годами раньше писатели Мартиники. Их журнал «Улей» (опять журнал! воистину, то была золотая пора журналов, но она бесследно миновала) посвятил Бретону отдельный номер; этот номер был конфискован, журнал запрещен.

Для гаитян эта мимолетная встреча осталась незабываема; я говорю «встреча», а не «общение», не «дружба» и даже не «союз», потому что встреча -- это искра, молния, случайность. Алексису было тогда двадцать три года, Деспестру девятнадцать, о сюрреализме они знали весьма поверхностно, к примеру, не имели понятия о его политической ориентации, о расколе внутри движения; совершенно неискушенные, они жадно тянулись к интеллектуальному знанию, и Бретон пленил их своей бунтарской позой и раскованностью воображения, составлявшей суть той эстетики, которую он проповедовал.

В 1946 году Алексис и Деспестр основывают гаитянскую коммунистическую партию и создают произведения революционной ориентации; такие произведения писались тогда во всем мире, и везде они неизбежно испытывали на себе влияние России с ее социалистическим реализмом. Однако для гаитян учителем оказался не Горький, а Бретон. Они не толкуют о социалистическом реализме, их девиз -- это литература «чудесного» или «чудесной реальности». Вскоре Алексису и Деспестру придется эмигрировать. Затем, в 1961 году, Алексис возвратится на Гаити с намерением продолжать борьбу. Его арестуют, будут пытать и убьют. Ему будет тогда тридцать девять лет.

**Прекрасный, как множество встреч**

**П**роизведение искусства -- это перекресток: мне кажется, что количество встреч, которые произойдут на этом перекрестке, напрямую зависит от достоинств произведения. Я думаю о Сезере: он великий зачинатель -- зачинатель мартиникской политики, которая до него не существовала. Но в то же время он и зачинатель мартиникской литературы; его «Дневник возвращения на родину» (совершенно оригинальная поэма, как мне кажется, не сопоставимая ни с чем, -- Бретон считал ее «величайшим лирическим памятником современности») оказался для Мартиники (и, конечно, для всех Антильских островов)

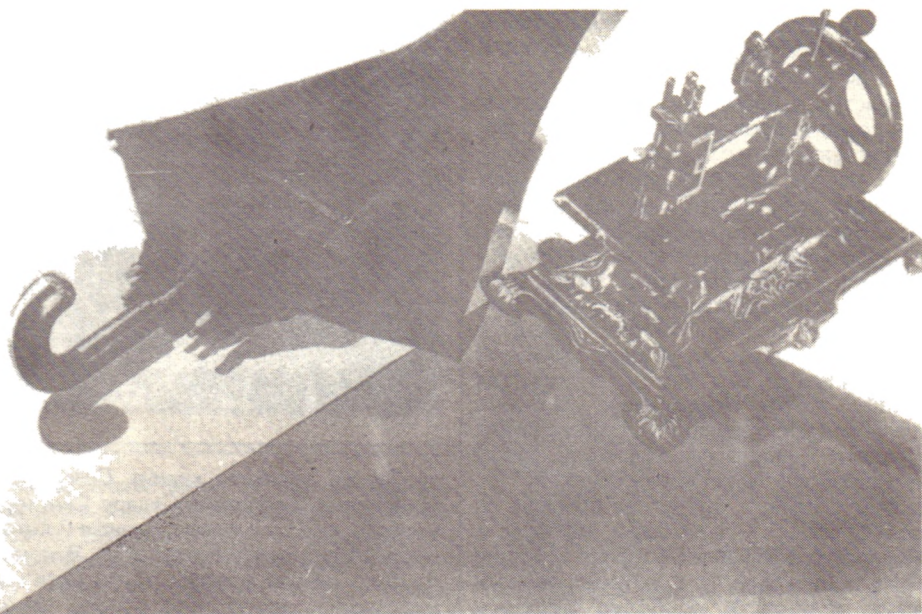
таким же основополагающим сочинением, как «Пан Тадеуш» Мицкевича для поляков и поэзия Петефи для венгров. Иначе говоря, Сезер -- основоположник вдвойне; в его натуре сошлись две ипостаси, послужившие ему в двух сферах -- политической и литературной.

Но в отличие от Мицкевича и Петефи он не только поэт-основоположник: он еще и современный поэт, наследник Рембо и Бретона. Эпоха основоположников лежит в прошлом; они дали толчок эволюции, которая достигла апогея к моменту рождения модернизма. И если Сезер одновременно и основоположник и современный поэт, то это значит, что в его основополагающем

**Милан КУНДЕРА**

люди не приносят поэтику в жертву политике: сюрреализм для них прежде всего течение в искусстве); сюрреализму они следуют с юношеским пылом, это чувствуется даже в стиле: в синтаксисе -- бретоновские длинные фразы, в построении предложений -- следование синтаксической модели: «красота или будет конвульсивна, или не будет вообще»; под влиянием Бретона («Чудесное всегда красота, любое чудесное есть красота, и более того, только одно чудесное есть красота») слово «чудесное» становится паролем; часто перефразируется формула

**ПРЕКРАСНЫЙ, КАК МНОЖЕСТВО ВСТРЕЧ**



творчестве сочетаются две разные эпохи -- начало и апогей.

Журнал «Тропики», девять номеров которого были выпущены между 1941-м и 1945 годами, систематически исследует три главные темы; соседствуют на его страницах, эти темы тоже являют собой пример удивительной встречи, какой не бывало ни в одном авангардистском журнале на свете:

1. *Культурная и политическая эмансипация Мартиники*: экскурс в историю рабства, экскурс в африканскую культуру, антиклерикальная и антивишистская полемика, панорама культурной и политической ситуации на Мартинике, первые шаги идеи «негритянства» (Сезер впервые ввел в обиход этот вызывающий термин, желая освободить смысл слова «негр» от уничижительного оттенка);

2. *Пропаганда современной поэзии и современного искусства*: преклонение перед героями современной поэзии -- Рембо, Лотреамоном, Малларме, Бретоном; начиная с третьего номера -- откровенная ориентация на сюрреализм (заметим, что несмотря на всю свою политизированность, эти молодые

Лотреамона, которую прославили сюрреалисты: «прекрасный, как встреча швейной машинки с зонтиком»...: У Сезера -- «поэзия Лотреамона, прекрасная, как декрет об экспроприации»; Бретон: «Речь Эме Сезера, прекрасная, как зарождающийся кислород», и т.д.;

3. *Создание мартиникского патриотизма*: желание представить остров домом, родиной которую надо познать до глубины; один пространственный текст о фауне Мартиники, другой -- о мартиникской флоре и о происхождении ее названий, но главное -- народное искусство, публикации креольских сказок и комментарии к ним.

Относительно народного искусства необходимо заметить: в Европе его открыли романтики -- Брентано, Арним, братья Гримм, такие музыканты, как Лист, Шопен, Брамс и т.д.; вот почему современные художники сочли, что интерес к этому искусству есть нечто старомодное, за исключением, впрочем, двух великих -- Бартока и Яначека (а какое-то время -- и Стравинского); в народной музыке они обнаружили нечто иное, чем романтики -- забытые тональности,

ФОТО МАН РЭЙ, 1933

незнакомые ритмы, грубость, непосредственность, давно утраченные «ученой» музыкой; знание народного искусства утвердило их в эстетическом нонконформизме. Такая же позиция и у художников Мартиники: для них фантастическая сторона фольклорных сказок смешивается со свободой воображения, провозглашаемой сюрреалистами.

### Встреча зонтика в постоянной эрекции со швейной машинкой, строчащей мундиры

**Депестр.** Читаю сборник новелл 1981 года под симптоматичным заглавием «Аллилуйя женщине-саду». Эротизм Депестра: всех женщин так переполняет сексуальность, что даже дорожные указатели в возбуждении тянутся к ним, а все мужчины до того похотливы, что готовы заниматься любовью во время научной конференции, хирургической операции, в космической ракете, на трапедии. Все это исключительно для собственного удовольствия: у них нет никаких психологических, моральных, экзистенциальных проблем, грех и невинность в их мире -- это одно и то же. Такая лирическая среда обычно наводит на меня скуку; если бы кто-нибудь рассказал мне о книгах Депестра прежде, чем я их прочел, я бы их и не раскрыл.

К счастью, я прочел их, ничего о них не зная, и со мной произошло лучшее из того, что может произойти с читателем: я полюбил то, что, исходя из своих убеждений (или врожденных пристрастий), не должен был любить. Если бы кто-нибудь, хоть чуточку менее одаренный, чем он, попытался выразить то же самое, у него бы вышла карикатура, но Депестр -- истинный поэт или, выражаясь на антильский лад, настоящий мастер чудесного; ему удалось вписать в экзистенциальную карту человека то, что донныне не было там записано: почти неуловимые границы счастливого и простодушного эротизма, почти невысказанные границы сексуальности, такой разнузданной и в то же время райской.

Потом я прочел другие его новеллы из сборника «Эрос в китайском поезде» и остановился на нескольких историях, действие которых происходило в коммунистических странах, причем в наиболее мрачные сталинские времена -- эти страны открыли объятия обманутому ими коммунисту. С удивлением и нежностью я воображаю сегодня, как этот чернокожий поэт, чья голова до отказа была набита безумными эротическими фантазиями, странствовал по коммунистической пустыне, где в то время царило невысказанное пуританство и малейшая эротическая вольность беспощадно каралась.

Депестр и коммунистический мир: встреча зонтика в постоянной эрекции со швейной машинкой, предназначенной для шитья мундиров и саванов. Он рассказывает любовные истории, героини которых -- китайка, которую за одну ночь любви на девять лет отправляют в туркестанский депозитарий, югославка, которую чуть не обрили наголо, как в те времена поступали в Югославии со всеми женщинами, которые путались с иностранцами... Читаю эти несколько новелл, и сразу же все наше столетие представляется мне каким-то странно нереальным, невероятным, словно все оно -- порождение черной фантазии поэта.

Мы знаем о ненависти коммунистической партии к Бретону--предателю, мы знаем, какая ненависть развела в тридцатые годы

сюрреалистов, сохранивших верность Бретону, с теми, кто поддерживал связи с коммунистической партией. Сезер оставался в партии до 1956 года. Это нисколько не нарушило его дружбы с Бретоном. Недавно я узнал, что партия, основанная Сезером в 1958 году (Прогрессивная партия Мартиники), взяла в качестве эмблемы цветок канны. Канны? Ну да, это любимый цветок Бретона! В статье о Сезере («Великий черный поэт») 1942 года Бретон говорит об «огромном таинственном цветке канны -- тройном трепещущем сердце на конце копья»; этот цветок, по его словам, «прекрасен, как кровообращение во всех живых организмах»; ему хочется «символически унести его с собой».



Ту же верность хранит Сезер по отношению к Леопольду Седару Сенгхору, с которым вместе учился в Париже и который открыл ему Африку и ее культуру. Вспоминаю не столь давние времена, когда даже самые буржуазные парижские буржуа считали высшим шиком обличать Сенгхора в реакционности. Никогда у революционера Сезера не проскользнуло ни малейшего холода по отношению к старому другу.

В нашем веке расцвело искусство предавать друзей во имя так называемых убеждений. И при этом даже гордиться своей моральной правотой. В самом деле, нужна известная мудрость, чтобы понять, что поддерживаемые нами мнения -- это всего лишь гипотезы, которые нам ближе других гипотез, но при этом заведомо несовершенные, по всей видимости преходящие, и только самые ограниченные люди могут считать их непреложной истиной. В противоположность суетной верности убеждениям верность другу -- это, быть может, единственная, последняя добродетель.

«Раба с карибских плантаций были ведомы два различных мира. Был дневной мир -- это белый мир. И был ночной -- это африканский мир с его магией, духами, истинными богами. В этом мире люди, одетые в лохмотья, днем терпевшие унижения, преобразались -- в собственных глазах и в глазах своих товарищей -- в королей, колдунов, целителей; они вступали в общение с истинными силами земли и обладали безраздельным могуществом. <...>

Непосвященному рабовладельцу ночной африканский мир мог показаться жульническим, ребяческим, карнавальным. Но для африканца <...> только этот мир и был истинным; он превращал белых в призраки, а жизнь на плантациях в иллюзию».

Лишь прочитав эти несколько строк Нейпола, еще одного уроженца Антильских островов, я понял, что все картины Эрнеста Брелера -- картины ночи. Ночь -- вот единственная декорация, способная приоткрыть нам «истинный мир», который находится по ту сторону обманчивого дня. И я понимаю, что эти картины не могли родиться нигде больше, кроме как здесь, на Антильских островах, где рабское прошлое по-прежнему болезненно впечатано в то, что называлось в свое время коллективным бессознательным.

А между тем Эрнесту Брелеру, этому космополиту, ничто не чуждо более, чем антильская замкнутость. Первый период его живописного творчества принципиально коренится в африканской культуре; в нем усматривают влияние Вифредо Лама; угадываются мотивы, заимствованные в народном искусстве Африки. Эрнест разлюбил эти картины: он видит в них нечто натужное, искусственное; он объясняет мне это и, увлекаясь, сам себя обвиняет в «жульничестве». Жульничество состоит в попытке выдать рационально выстроенную коллективную программу за художественную непосредственность.

«Невозможно восстановить негритянское искусство согласно воспоминаниям об утраченной Африке. Потому что этих воспоминаний больше нет, -- сказал он мне. -- Африка уже не наш мир». На дальнейших периодах его живописи лежит сильнейший отпечаток его личности, они свободны от всяких программ, от любой заданности, но вот парадокс: именно в этой живописи, донельзя личной, с поразительной очевидностью проступает ее мартиникская, черная сущность, антильское «негритянство»: во-первых, это мир ночного царства, во-вторых, это мир, где все преобразается в миф (буквально все, каждая привычная мелочь, включая собачку Эрнеста, которая, попав на многие его картины, преобразается в мифологического сверхъестественного зверя), а поскольку мифы существуют лишь в повествованиях, то мир этот превращается в бесконечное повествование; и в-третьих, это жестокий мир: словно неизгладимое прошлое возвращается и не отпускает наболевшего тела, истерзанного и уязвимо, измученного и беззащитного.

### Чудесное

**К**артины Брелера из-за их жесткости кто-то сравнил с полотнами Величовича. Я не люблю этого сравнения; слышу спокойный голос Брелера: «И все-таки в живописи прежде всего нужна красота». По-моему, это означает: искусство все же не должно стремиться возбуждать неэстетические переживания -- возбуждение, страх, отвращение, ужас. Фотография женщины, которая мочится, может возбудить, но не думаю, что ту же выгоду можно извлечь из «Мочашейся» Пикассо, хотя эта картина в высшей степени эротична. От документальных военных кадров хочется отвернуться, а «Герника» Пикассо радует взгляд, хоть и повествует о тех же ужасах. На картинах последнего цикла Брелера сплошные тела без голов, подвешенные в пространстве. Первые полотна этого цикла -- откровенно устрашающие: тело не парит, как в феерических фантазиях Шагала, но брошено в пространство, и не

возносится, а скорее летит в бесконечном падении. Видишь словно саму судьбу человеческого тела, -- вырванного из земного уюта и следующего за больным духом человеческим по всей бесконечности пространств, доставшихся ему в результате его пустых и тщетных побед.

В другой раз Эрнест рассказал мне: он с самого начала страдал головокружениями, поэтому и дом у него одноэтажный -- он может жить только на первом этаже; те несколько раз, когда он летал самолетом, остались для него невыразимым кошмаром. Я понимаю тайный источник его одержимости пустотой. Потом, долго глядясь в его картины, я понял еще одно: по мере того как его работа художника продвигалась вперед, тема тела в пространстве теряла изначальный привкус травматизма: тело все меньше и меньше общего имело с истерзанной плотью, брошенной в пустоту; от картины к картине оно все больше напоминало нежного раненого ангела, заблудившегося среди звезд, доносящееся издали волшебно-двусмысленное приглашение, плотский соблазн или акробатическую игру. Изначальная тема, варьируясь без конца, переходит из области жесткого в область -- воспользуемся еще раз этим ключевым словом -- чудесного.

В мастерской с нами -- моя жена и философ Александр Аларик, которому мы обязаны знакомством с Эрнестом и его картинами. Как всегда, перед едой пьем пунш. Потом Эрнест готовит обед. На столе шесть приборов. Почему шесть? В последний момент приходит Исмаэль Мюндаре, венесуэльский художник; принимаемся за еду. Но странное дело: шестой прибор до конца трапезы остается нетронутым. Намного позже возвращается с работы жена Эрнеста, она красавица, и сразу видно, как Эрнест ее любит. Уезжаем в машине Александра; Эрнест с женой стоят перед домом и провожают нас глазами; мне кажется, что они очень дружны и в вечной тревоге друг о друге; их окружает неизъяснимая аура одиночества. «Вы поняли тайну шестого прибора? -- говорит Александр, когда отъехали подальше, -- он давал Эрнесту иллюзию, будто его жена с нами».

### Дом и мир

"Я говорю, что мы задыхаемся. Принцип здоровой антильской политики: открыть окна. Воздуха", -- пишет Сезер в «Тропиках» в 1944 году.

На какую сторону открыть окна?

Прежде всего, те, что обращены к Франции, -- говорит Сезер, -- потому что Франция -- это Революция, это Шельхер, а еще это Рембо, Лотреамон, Бретон, это литература и культура, достойные величайшей любви. А потом -- в африканское прошлое, ампутированное, конфискованное, таящее в себе замалчиваемую суть мартиникской самобытности.

Последующие поколения будут подчас оспаривать эту сезеровскую ориентацию, настаивая на американизации Мартиники, -- упирая на ее принадлежность к Антилам, на ее креольство и связи Антилов с Латинской Америкой и вообще с Америкой.

Это дискуссия о том, что я определяю как *средний контекст*: между нацией и миром всегда находится некая связующая ступень, для чилийца это Латинская Америка, для шведа Скандинавия и т.д. В поиске самого себя народ постоянно задает себе вопрос, каково его место среди других наций: это место определяется *средним контекстом*.

Возьмем, к примеру, Австрию: на протяжении всей своей истории она вопрошала себя, к какому миру она принадлежит -- к германскому или к миру многонациональной Центральной Европы? От ответа на этот вопрос зависела самая суть Австрии. Когда после 1918 года, а потом, еще радикальнее, после 1945 года она вышла из центральноевропейского контекста и замкнулась на себе самой и своим германизмом, это уже не была блистательная Австрия Фрейда и Малера, это была другая Австрия, ее культурная мощь заметно ослабела. *Средний контекст* оборачивается дилеммой и для Греции, живущей одновременно в восточноевропейском мире (византийская традиция, православная церковь, русо-



фильская ориентация) и западноевропейском (греко-латинская традиция, прочные связи с Возрождением, современность). Австрийцы и греки в жаростных дискуссиях могут оспаривать один контекст в пользу другого, но с известными оговорками можно сказать: есть такие народы, самоопределение которых двойственно, а вернее, двойственность присуща их *среднему контексту*, и именно в этой двойственности коренится их исключительная культурная мощь.

Мартиникские дискуссии обнажают три возможных *средних контекста*: во-первых, французский и франкофонный; во-вторых, контекст африканского и мирового «негритянства»; в-третьих, антильский, латиноамериканский, американский контекст. Не оспаривая аргументов той или другой стороны (и не желая ввязываться в спор, который касается только жителей Мартиники), я скажу одно: мне кажется, что силой и богатством мартиникская культура обязана именно множественности *средних контекстов*, в которых она одновременно существует. Мартиника -- это пересечение многих дорог, это перекресток континентов.

В самом деле, на Мартинике встречаются Франция, Африка, Америка. Да, это замечательно, -- хотя, правда, и Франция, и Африка, и Америка от нее отрешиваются. В сегодняшнем мире, который свелся к нескольким мегацентрам, трудно расслышать голос малых. Ни одно крупное издательство,

ни один влиятельный журнал, ни одна влиятельная газета не ставят перед собой цели посредничества, не пытаются способствовать тому, чтобы мир услышал голос, доносящийся с перекрестка.

Мартиника -- это встреча множества разнообразнейших элементов культуры и необъятного одиночества.

### Язык

Антильские острова двуязычны. Есть креольский, язык повседневности, рожденный во времена рабства, -- есть (если брать Мартинику, Гваделупу, Гаюану, Гаити) французский язык, которому учат в школах и которым с каким-то мстительным совершенством владеет интеллигенция. (Сезер «управляется с французским так, будто из белых пылче уже некому с ним управляться», -- dixit Бретон.)

Когда в 1978 году Сезера спросили, почему «Тропики» издаются не на креольском, он ответил: «Это бессмысленный вопрос, потому что на креольском такой журнал невозможен. <...> Я даже не знаю, возможно ли сформулировать на креольском то, что мы хотим сказать. <...> Креольский не способен к выражению абстрактных идей, это исключительно устный язык».

И все-таки непростая задача -- рассказать о жизни людей на языке, выражающем лишь половину того, что они говорят, создать мартиникский роман, решиться на частичное искажение местной лингвистической атмосферы. Здесь огромный выбор возможных решений, и все они имеют право на существование: романы на креольском языке; романы на изощренном французском; романы на французском, испещренном креольскими словами, которые толкуются в специальном словаре в конце книги, и наконец -- решение Шамазо.

Этот автор повел себя по отношению к французскому языку с такой свободой, о которой и помыслить не смеет никто из его французских современников. Это свобода бразильского писателя по отношению к португальскому, испано-американца -- по отношению к испанскому. Или, если хотите, свобода билингва, отказывающегося видеть в одном из этих языков непререкаемый авторитет и держащего выйти из повиновения. Шамазо не пошел на компромисс между французским и креольским, не стал их смешивать. Его язык -- французский, хоть и трансформированный, но не *окреольный* (ни один уроженец Мартиники так не говорит), а *шамуазированный*: писатель придает ему прелестную беспечность разговорного языка, его ритм, его мелодию (но только ни в коем случае не упрощая его ни грамматически, ни лексически); он привносит множество креольских выражений, но не с «естествоиспытательскими» целями (не ради «местного колорита»), а из *эстетических* соображений (ради их непривычности, очарования или потому, что они семантически незаменимы); но главное, он сообщил своему французскому свободой непривычных, непринужденных, «невозможных» языковых оборотов, свободу неологизмов (всеми этими свободами французский язык, весьма склонный к нормативности, умеет пользоваться куда меньше, чем другие языки): Шамазо с удовольствием превращает прилагательные в существительные («наивысшесть», «слеписка»), глаголы в прилагательные («избегательный»), прилагательные в наречия («соскверна», «отнежданна» -- хотя сам Шамазо протестует: «отнежданна» узаконил еще Сезер в «Дневнике возвращения!»), глаголы в существительные

(«задыхаловка», «проворонство», «исчезальщик»), существительные в глаголы («часовать», «озеровать») и т.д. Причем все эти трансгрессии не ведут к оскудению лексического или грамматического богатства французского языка (у Шамуазо предостаточно и книжных, и архаических слов, и изощренных грамматических форм).

### Встреча поверх времени

На первый взгляд «Солибо Великолепный» мог бы показаться экзотическим, «локальным» романом, сконцентрированным на герое, немислимом ни в какой другой среде, и с простонародным рассказчиком. Заблуждение: последний роман Шамуазо посвящен одному из величайших исторических и культурных событий: встрече исчезающей устной литературы с рождающейся письменной. В Европе эта встреча произошла в «Декамероне» Боккаччо. Если бы тогда не существовала еще в полной силе традиция рассказчиков, увеселявших общество, не смогло бы появиться это первое великое произведение европейской прозы. С тех пор до самого конца XVIII века, от Рабле к Стерну, в романах, не смолкая, звучит эхо голоса рассказчика; писатель не просто писал, но разговаривал с читателем, обращался к нему, бранил его, льстил ему; в свой черед читатель не просто читал, а слышал романиста. В начале XIX века все изменилось: начинается то, что я назвал бы *вторым периодом* истории романа: слово автора ступало перед письмом.

«Гектор Бьянчотти, это слово -- для вас», -- таково посвящение, предвещающее «Солибо Великолепного». Шамуазо настаивает: это слово, а не письмо. Он ощущает себя прямым наследником рассказчиков, он считает себя не писателем, а «регистратором слова». На карте сверхнациональной истории культуры он желает находиться там, где произнесенное вслух слово передает эстафету письменной литературе. В его романе вымышленный рассказчик по имени Солибо прямо говорит автору: «Я говорил, а ты пишешь, предупредив, что идешь от живого слова». Шамуазо -- писатель, идущий от живого слова.

Но если Сезер не Мицкевич, то Шамуазо не Боккаччо. Он писатель, которому ведомы все изыски современного романа, и такой, какой есть, он -- внук Джойса и Кафки -- протягивает руку своему Солибо, воплощающему устную предисторию литературы. Таким образом, «Солибо Великолепный» -- это встреча через голову стелетий. «Ты протягиваешь мне руку поверх расстояний», -- говорит Солибо своему автору Шамуазо.

История, легшая в основу «Солибо Великолепного»: на площади Фор-де-Франса, которая зовется Саванна, Солибо вешает перед кучкой народа (Шамуазо находится среди слушателей), собравшейся здесь по случаю. Посреди своей речи он умирает. Старый негр Конго знает: Солибо умер от задыхаловки слова. Это объяснение звучит не слишком убедительно для полиции, которая тут же ухватывается за это происшествие и летит из кожи вон, пытаясь найти убийцу. Начинаются полные кошмарной жестокости допросы, во время которых перед нами вырисовывается личность покойного рассказчика, а двое подозреваемых умирают под пытками. В конце концов вскрытие показывает, что никакого убийства не было: Солибо умер неизвестно отчего, может быть, и впрямь, от задыхаловки слова.

На последних страницах книги автор помещает речь Солибо, ту самую, во время которой он умер. Эта воображаемая речь,

исполненная неподдельной поэзии, представляет собой приглашение к эстетике устной речи: рассказ Солибо -- это не история, это разлагольствования, фантазии, каламбуры, шутки, это импровизация, это *автоматическая речь* (по аналогии с *автоматическим письмом*). А поскольку мы имеем дело с речью, то есть с «дописьменным языком», то правила письма на нее не распространяются: в частности -- никакой пунктуации: речь Солибо -- это поток, без точек, без запятых, без абзацев, как поэзия Робера Десноса, как большой монолог Молли в конце «Улисса», как «Раф» Соллерса (лишнее подтверждение тому, что народное искусство и искусство современное в



определенные моменты истории могут смыкаться).

### Неправдоподобное

Больше всего у Шамуазо мне нравится его воображение, балансирующее между правдоподобным и неправдоподобным, и я пытаюсь понять, откуда оно берется, где его корни.

Сюрреализм? Воображение сюрреалистов развивалось в поэзии, в живописи, но не в романе. А Шамуазо романист, прежде всего романист.

Кафка? Да, Кафка узаконил неправдоподобное в искусстве романа (уточним: в искусстве романа второго периода его истории). Но у Шамуазо в самом характере его воображения очень мало кафкианского.

Самый удачный ключ к его воображению обнаруживается в речи Солибо: это разнузданная импровизация рассказчика, который позволяет своим речам увлечь себя, переступает, когда хочет, границу правдоподобного -- весело и с удивительной естественностью.

«Почтеннейшая компания, дамы и господа», -- так открывает Шамуазо свою «Хронику семи бедствий». «О друзья», -- повторяет он, обращаясь к читателям «Солибо Великолепного». Точь-в-точь Рабле, начинающий своего «Гаргантюа» с обращения: «Прославленные выпивохи и вы, драго-

ценнейшие сифилитики...» Кто так громко обращается к своему читателю, кто облекает каждую фразу своим умом, юмором, своей оригинальностью, своими шутками, капризами, выдумками, откровениями, тот с легкостью может преувеличивать, мистифицировать, переходить от правды к чистой выдумке, потому что в этом состоит договор между романистом и читателем, заключенный в первый период истории романа, когда голос рассказчика еще не был окончательно заслонен печатным текстом.

С Кафкой мы оказываемся в другой эпохе: у него неправдоподобное поддержано описанием, причем это описание совершенно беспристрастно, но настолько выразительно, что читателя уносит в воображаемый мир, словно он смотрит кино: хотя ничто не напоминает того, что мы знаем по опыту, сила описания делает нас доверчивыми: в русле такой эстетики голос рассказчика, который говорит, шутит, комментирует, откровенничает, нарушил бы иллюзию, развеял чары. Невозможно себе представить, чтобы Кафка начал «Замок» с жизне-радостного обращения: «Почтеннейшая компания, дамы и господа!»

Зато у Рабле неправдоподобное не проистекает от развязности рассказчика. С отрочества я люблю то место во второй книге, где Панург вторгся в молодую бабенку, но она ему отказывает. В отместку он во время обедни набросал на ее одежду кусочки детородных органов от суки во время течки, и все кобели, какие были в церкви, ринулись на женщину и принялись мочиться ей на платье, на башмаки, на спину, на голову. Она выскочила из церкви, и шестьсот тысяч четырнадцать кобелей помчались за ней по городу. Когда она наконец очутилась дома, они «так обильно записали дверь ее жилища», что их моча струилась по улицам ручьями, и в ней плескались утки.

Труп Солибо лежит на земле, полиция хочет перевезти его в морг. Но никому не удается его приподнять. «Солибо стал весить целую тонну, как трупы негров, которые при жизни были завистниками». Зовут подмогу, -- Солибо весит две тонны, пять тонн. Вызывают подъемный кран. Когда кран уже прибыл, Солибо начинает терять в весе, и начальник поднимает его «одним мизинцем. Затем он пускается в медленные манипуляции, которые своей злобшей сутью потрясают всех окружающих. Мягким поворотом запястья он переместил труп с мизинца на большой палец, с большого на указательный, с указательного на средний...»

Эх, почтеннейшая компания, дамы и господа, прославленные выпивохи и драгоценнейшие сифилитики, с Шамуазо вы оказываетесь куда ближе к Рабле, чем к Кафке.

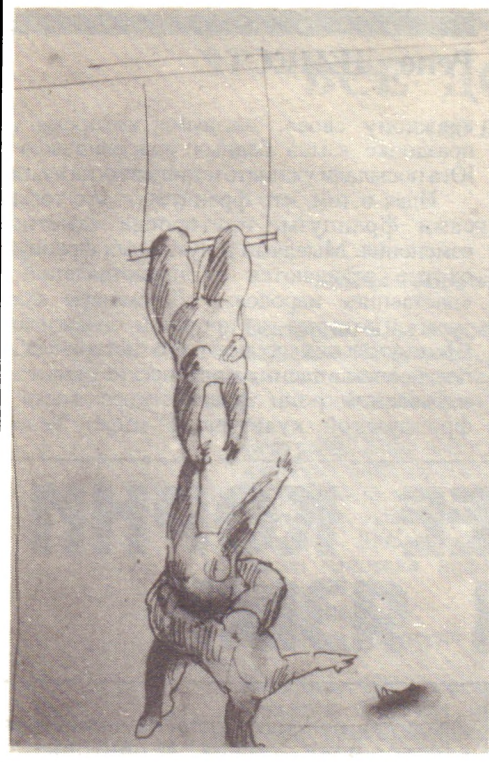
### Одинокий, как луна

На всех картинах Брелера луна имеет форму рогалика, висящего горизонтально, обоими концами вверх, как лодка, плавающая по волнам ночи. Это не фантазия художника: на Мартинике в самом деле такая луна. В Европе рогалик стоит торчком -- воинственный, похожий на свирепого зверька, присевшего перед прыжком, или, если хотите, на серп, на остро заточенный серп; в Европе луна -- это знак войны. На Мартинике она мирная. Может быть, как раз поэтому Эрнест придает ей теплый, золотистый цвет; на его мифических полотнах она изображает недостижимое счастье.

Странно: я толковал об этом с несколькими



ХУДОЖНИК ЭРНЕСТ БРЕЛЕР



жителями Мартиники и обнаружил, что они не знают, как выглядит луна у них в небе. Спрашивал я и европейцев: вы помните, какая луна в Европе? Какой она формы, когда всходит на небе и когда заходит? Они на знают. В тот же день я слушал по радио какую-то женщину, рассуждавшую о XXI веке, о том, что человек посетит дальние галактики и так далее и тому подобное. Я уверен, что и она тоже не представляет себе луны, если только луна не висит у нее над головой. Человек перестал смотреть на небо, на это устаревшее украшение, которое рано или поздно наверняка заменят чем-нибудь более практичным и более занятым.

Покинутая луна спустилась на холсты Брелера. Но те, кто перестал видеть ее на небе, не увидят ее и на картинах. Потому что те, кто теряет ощущение реального, утрачивают и чутье к искусству. Ты одинок, Эрнест. Одинок, как Мартиника среди вод. Одинок, как чувственность Деспестра посреди коммунистической пустыни. Одинок, как искусство, заблудившееся в будущем, где царят музоненавистники. Одинок, как луна, которой никто не видит.

## Андре БРЕТОН

### Уж лучше жизнь

Уж лучше жизнь чем плоские эти призмы  
не важно что краски  
чище  
Чем эти скрытные времена и жуткие эти  
машины в которых бьется  
холодный пламень  
Чем перезрелый камень  
Уж лучше сердце -- опасная бритва  
Чем бормочущий пруд  
Чем гудящая в воздухе и в земле белая  
пелена  
Чем брачный благовест который  
окрутит меня со вселенскою суетой --  
Уж лучше жизнь  
Уж лучше жизнь с хитросплетениями  
простыней  
С рубцами побегов  
Уж лучше жизнь уж лучше круглый витраж  
над могилой моей  
Жизнь и рядом другой человек просто  
рядом другой человек  
Чтобы звучало Ты здесь и в ответ  
раздавалось Ты здесь  
Меня здесь в сущности нет увы  
Но все же пускай мы и смерть превратим  
в игру --  
Уж лучше жизнь  
Уж лучше жизнь уж лучше жизнь  
достопочтенное Детство  
Лента что тянется от факира  
Похожа на рельс по которому творится  
скольжение мира  
Даже если солнце -- просто обломок  
затонувшего корабля  
Все равно оно похоже на женское тело  
И мыслишь провожая взглядом всю  
траекторию  
Или просто закрыв глаза  
на таинственную грозу, что зовется  
твоей рукой --  
Уж лучше жизнь  
Уж лучше жизнь с ее залами ожидания  
Где знаешь что все равно тебя  
не допустят внутрь  
Уж лучше жизнь чем эти хоромы для  
омовений  
Где под видом услуги и неги  
тебя хомутают  
Уж лучше жизнь бесприютная длинная  
Чтобы книги запылились на самых  
суровых полках  
Чтобы там было лучше легче вольнее, да --  
Уж лучше жизнь  
Уж лучше жизнь презрительная подоплека  
Этой разительной красоты  
Как противоядие совершенству которое  
так желанно и так жестоко  
Жизнь -- подорожной девственные листы  
Городишко навроде Понт-а-Муссона  
Уж лучше жизнь  
И поскольку сказалось все раз навсегда --  
Уж лучше жизнь

## Робер ДЕСНОС

### Люди на земле

Мы вчетвером сидели вокруг стола  
Пели и пили красное вино  
Вволю пили и пели  
Левкои завяли в запущенном саду  
Мелькало чье-то платье вдали у пруда  
Решетчатый ставень хлопал по стене  
Первый сказал: «Вот раздольный мир  
вот густое вино  
В сердце моем раздолье и кровь у меня  
густа  
Почему же руки пустые и в груди  
пустота?»  
Летний вечер песня гребцов на реке  
Старые ивы отразились в воде  
И сирена буксира просится в шлюз  
Второй сказал: «Я набрел на родник  
Сладко пахла студеная вода  
А где -- позабыл и все четверо мы умрем»  
Как хороши ручьи в городах  
Апрельским утром когда их ток  
Уносит радугу в даль  
Третий сказал: «Мы недавно живем  
А память уже полным-полна  
Мне бы это все позабыть»  
На темной лестнице тени спуют  
И дверь прикрытая кое-как  
Нагая женщина смотрит в глазах испуг  
Сказал четвертый: «Какая там память?  
Нынешний миг -- бивуак  
Друзья мы расстанемся скоро»  
На перепутье сгустилась тьма  
В деревне затеплился первый свет  
Пахнет горячей травой  
Все четверо мы разошлись навсегда  
Который был я и что я тогда говорил?  
Прошел тот день и кончились те времена  
Лоснится лошадиный круп  
Птичий крик прозвучал в ночи  
Плещет под мостами речная вода  
Умер один из четверых  
Двое других тоже в общем уже не в счет  
Но я-то жив и наверно еще побуду в  
живых  
Холмы поросли чабрецом  
Старый замшелый двор  
Давнишняя улица уводившая в лес  
О жизнь и люди и новорожденные дружбы  
И вся мировая кровь текущая в жилах  
В жилах людей таких непохожих живых  
людей на земле.

**П**ервыми начатками французского я обязан школе Бретонских братьев (Братьев христианского образования). Их начальная школа была расположена на скале, называемой Птит-Батри, возвышающейся над проливом Жакмель. Карибское море было так близко, что нам в классе казалось, будто мы вот-вот отплывем в какое-то *далеко*, замыкавшее в своей ауре и великолепное преподавание французского, и движение волн, и сказочную синеву неба и воды, и блеск пены, и тайны орфографии...

Наши учителя были весьма суровыми

лицемерию, низостям и дутым ценностям эпохи.

Наш призыв был тотчас же услышан: с 7-го по 11 января 1946 года в Порт-о-Пренсе и главных городах Гаити воцарилась атмосфера споров, перетряхнувшая все слои общества. Мы очутились во главе своеобразного «мая 68 года», который *mutatis mutandis* принес в тропики ту же надежду на перемену жизни, которую двадцать лет спустя мы обнаружим в знаменитом возмущении парижской молодежи.

Боевое крещение моих сверстников было прекрасно, но мимолетно. В середине января сорок шестого года военные бессовестнейшим образом вернули Гаити в извечную колею рабства и колониализма. У меня оставалась

## Рене ДЕПЕСТР

«каждому свое», согласно которому на празднике языка бедных родственников с Юга посылали ужинать и танцевать на кухню.

Идея о том, что французы -- это только сами французы, претерпела заметные изменения. Мыслями и чувствами французы охотно отдаляются от представлений о «наставнице народов», «богоматери культуры», которые в прошлом втискивали Шестиугольник со всем его историческим поведением в тесные мистические рамки так называемой роли французского языка и французской культуры в мире. Теперь

# ИЗГНАНИЕ, ПУСТИВШЕЕ КОРНИ ВО ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

наставниками. Тот год, когда нам предстояло получить свидетельство об окончании школы, прошел у нас под знаком розги дорогого брата Жюля. Этот уверенный в себе и энергичный коротышка по понедельникам с утра стегал всех учеников класса хлыстом из воловьих жил по босым ногам. С его точки зрения мы слишком разнеживались за время передышки, которая перепадала нам на выходных. Его хлыст живо загонял в обитель знаний наши умы и наши ноги, еще не стравнившие с себя воскресной неги. Как бы то ни было, каждую пятницу после обеда брат Жюль отказывался от кожаных и деревянных средств обучения и по три часа кряду читал нам: его вдохновенный голос открывал для нас Жюля Верна, Александра Дюма, Пьера Лоти, Гектора Мало, Фенимора Купера.

Слушая эти прекрасные повествования, мы обнаруживали, что жизнь в обществе требует установления неких космических связей между людьми, растениями, животными, реками и звездами. В нас рождалась радостно-чувственная вселенская причастность к тайной логике всего сущего. Становилось ясно: ты -- необходимая частица праздника слов и игры волн. Интенсивность жизни, от которой у тебя спирает дыхание, -- это частица того света, который излучают великий океан и язык. Ты всегда останешься очарованным мальчиком, если сохранишь в себе свечение карибского пролива и французского слова. Ты возвысишься до того уровня духовной жизни, когда молодой человек может приступить к сочинению стихов.

В 1945 году благодаря успеху моего первого сборника «Искры» мне удалось создать небольшой еженедельник «Улей». Там печатались стихи, хроники и статьи на актуальные темы, где критиковалось неоколониальное общество, которое все мы видели. Мы хотели помочь гаитянам осознать, что они способны обновить исторические основы своего самосознания. В те дни по приглашению Пьера Мабийя на Гаити гостил Андре Бретон. Его приезд ослепил наше воображение. Специальный номер журнала мы посвятили сюрреализму и его выдающемуся основоположнику. Неистовые юнцы, мы жаждали воспринять из рук Бретона прометеевскую мечту, которую воплощало его движение, в период между двумя войнами противостоявшее подтасовкам,

одна возможность любить родину -- навсегда уехать из нее. С тех пор моим «далеко» по отношению к Гаити навсегда стала французская речь -- она породила все вехи, отметившие мою жизнь укорененного кочевника.

Вот почему мне не жаль было никаких усилий, лишь бы почувствовать себя дома -- в родной школе над проливом Жакмель, в родной стихии французского языка. Каждое слово, прочитанное мною по-французски, призвано было высветить изнутри мою страсть к знанию, мои попытки прикнуться к движению, мои неуклюжие отклики на мифологию «реального социализма», который чуть было не загубил навсегда мою творческую целостность и свободу. Нужно было, не уступая страданию и не идя на предательство, соединить слова французского языка с самыми корнями моего гаитянского самощущения. Отныне в моих трудах и днях французский язык навсегда будет служить тому, чтобы связать воедино острова и проливы моего воображения, а также улицы, запахи, вкусы, ветры и туманы, солнечные вечера, наполненные колдовством племени воду, и другое семейное добро, которое поможет мне выстоять в странствиях сквозь шум и ярость двадцатого века.

Я должен был раскрепостить внутри себя свою языковую и творческую силу, избавившись от семиотического соблазна, таившегося для меня в основе таких мифических понятий, как *черный, белый, метис, цветной*, которые тяжело осквернили и опошлили единство человечества во всем многообразии языков. Сегодня французские слова точно так же, как креольские, доставшиеся мне из прошлого, помогают моей памяти по сути своей быть заодно с бабочками, стрекозами, деревьями, птицами, реками, страданиями и праздниками пролива Жакмель. Натурализованный француз, я завязываю с языком приютившей меня страны и культуры столь же естественные, чувственные, игровые, магические отношения, как те, что чаровали мое гаитянское детство.

Мой переход на другие рельсы совпадает с тем моментом, когда французский язык стал выплескиваться за пределы Шестиугольника. И в самом деле, сегодня углов у него больше, чем шесть. Чуждая националистическому подходу к языку, знанию и культуре, Франция замыслила огромный рывок в области современной франкофонии. Во франкоязычном доме уже не царит правило

французы понимают, что их язык -- это своего рода общая территория, и сосуществующие на ней разные креольские языки, отнюдь не будучи экзотическими и незаконнорожденными вариантами французского, оказываются умственным инвентарем, который перенимает эстафету прекрасного у шестиугольной французской истории.

Франция оказывает франкофонам с Юга неслыханную услугу тем, что больше не требует, чтобы они вели, по выражению Жана Амруша, «патетический спор между двумя противоположными образами Франции, между ее всемирной миссией и политической историей». Я воздаю честь французскому, также как и он воздаст мне честь, когда мне удастся на свой креольский лад воспользоваться его ресурсами. Франция открывает свободный доступ к своему языку и к тайнам своей культуры уже не как снисходительная благодетельница, но как европейская нация, готовая точно так же вобрать в свою кровь соки и дыхание наших культур, креоло- и франкоязычной.

Итак, если рассматривать их со всей скрупулезностью, вне миражей, вне надувательства господами поданных, наши новые отношения с Францией и французами, слава Богу, выходят на простор, навстречу светлым переменам. Отныне судьба франкофонии развивается в равном удалении от старого европоцентризма и реваншизма, присущего подчас странам третьего мира. Отстраняясь от двусмысленности между гуманистическими речами и делами, далеко не всегда отвечающими понятию гуманизма, мы можем крикнуть «прочь!» всякому этноцентризму и бросить всю нашу колдовскую, созидательную силу на основную нашу работу: породнить между собою все принадлежащее жизни и смерти -- вот это и есть французский язык в наших руках, в руках у поэтов и романистов.

Лезиньян-Корбьер  
февраль 1991

# ВСЕ ДОВОЛЬНЫ

(ИЗ БОККАЧЧО)

## ЯВЛЕНИЕ 1.

Музыка. Беатриче и Анкетэн играют в шахматы.

**Беатриче.** Шах королеве.

**Анкетэн.** Не думайте, Беатриче, что я бедняк, которого нужда заставляет быть слугою, потому что, согласитесь сами, нет ничего особенно привлекательного в положении слуги.

**Беатриче.** Беру вашу туру.

**Анкетэн.** Мне же это положение кажется самым желанным, приближая меня к той, кого я люблю больше жизни.

**Беатриче.** Шах королеве.

**Анкетэн.** Любовь сделала меня из богатого, беспечного молодого человека пажем г-на Эгано. Любовь к вам, Беатриче.

**Беатриче.** Беру.

**Анкетэн.** Я потерял покой, я сам не свой, не сплю, не ем.

**Беатриче.** Шах королю.

**Анкетэн.** Сначала мне казалось достаточным быть около вас, видеть вас, слышать, но теперь мне этого мало. Я умираю, Беатриче.

**Беатриче.** Мат.

**Анкетэн.** Что же вы ничего не скажете, не ответите на мои слова. Или вы были так увлечены игрой, что ничего не слышали?

**Беатриче (спокойно).** Сегодня вечером приходите к дверям моей комнаты или к окну. Я сумею наградить вашу преданность.

**Анкетэн (бросается к ней).** Беатриче...

**Беатриче.** Тише... муж. Спрячьтесь под этим покрывалом... Никуда не уходите.

(Анкетэн прячется, входит Эгано.)

## ЯВЛЕНИЕ 2.

**Эгано.** Здравствуй, Беатриче. Какой теплый вечер. Ты одна?

**Беатриче.** Конечно. С кем же мне быть?

**Эгано.** Мне послышался голос Анкетэна.

**Беатриче.** Нет, его здесь нет. Кстати, об Анкетэне. Ты ему вполне доверяешь?

**Эгано.** Безусловно. Он честный и преданный молодой человек. К тому же совсем еще дитя.

**Беатриче.** А знаешь, что это дитя сделало?

**Анкетэн (за кустом).** К чему она ведет?

**Эгано.** Разбил что-нибудь?

**Беатриче.** Святая невинность. Он открылся мне в любви.

**Эгано.** Не может быть.

**Анкетэн (за кустом).** Что она делает? Я дрожу...

**Беатриче.** Признался мне в любви, и его просьбы отнюдь не были детскими просьбами.

**Эгано.** Пойду исколочу его и прогоню.

**Беатриче.** Постой. Я все предусмотрела и могу дать тебе доказательства. Я выслушала его признание и назначила свидание тут под липой.

**Эгано.** Беатриче!

**Беатриче.** Да, но пойдешь вместо меня ты и проучишь наглеца.

**Эгано.** Как ты умна! Как ты умна!

**Беатриче.** Чтобы он не узнал обмана, ты наденешь мое платье и не забудешь взять хорошую дубинку.

**Эгано.** Да, да, хорошую дубинку.

**Беатриче.** Ну, иди, переодевайся.

**Эгано.** Милая Беатриче (уходит).

## ЯВЛЕНИЕ 3.

**Беатриче (к Анкетэну).** Лезь скорее в спальню. Покуда он будет (смеется)... покуда он будет караулить под липой (смеется)... а потом отчитай его как следует.

**Анкетэн.** Ну уж и страху я натерпелся.

(Уходят.)

## ЯВЛЕНИЕ 4.

За сценой пение. Эгано подкрадывается к липе в женском платье и прогуливается ожидая.

## Пение. Ноктюрн.

На небо выезжает  
На черных конях ночь.  
Кто счастье обещает,  
Та может мне помочь.  
Уста навеки клейки,  
Где спал твой поцелуй,  
Пупливей канарейки,  
О сердце, не тоскуй!  
Луна за облак скрылась,  
Не вижу я ни зги...  
Калитка, чу, открылась...  
В аллее, чу, шаги...  
Все спит в очарованьи,  
Куруется мокрый лен...  
Кто ждал, как я, свиданья,  
Поймет, как я влюблен.

(Приходит Анкетэн.)

## ЯВЛЕНИЕ 5.

**Анкетэн.** Госпожа Беатриче!

**Эгано (женским голосом).** Я, Анкетэн, говори тише.

**Анкетэн.** Какое счастье!

**Эгано.** Какое счастье!

**Анкетэн.** Ага, падшая тварь! Ты думала, что я согласюсь обмануть моего доброго господина и разделю твой преступный пыл... Скорее умереть согласен... Лишь для того, чтобы уличить тебя в измене пришел я сюда. Завтра же все будет известно господину.

**Эгано.** Слава Богу!

**Анкетэн.** Увидим, слава ли Богу.

(Выхватывает палку у Эгано и начинает его же колотить и гнать к дому.)

## ЯВЛЕНИЕ 6.

**Беатриче (выходит).** Это что?

**Анкетэн.** Как, монна, это были не вы?

**Эгано (смеясь).** Это был я. Ловко я вас провел. (К Беатриче) Ну, жена, Анкетэн не слуга, а сокровище. И ты, Анкетэн, помни, что Беатриче -- чудо верности. Теперь, если бы я даже увидел вас обнимающимися, я бы не поверил своим глазам.

**Беатриче.** Значит, все довольны?

**Эгано.** Ура! Все довольны!

*Куплеты.*

**Беатриче:** Никто: ни муж, ни я сама  
В своих мечтах не волен.  
Немного ловкости, ума,  
И будет всяк доволен.  
И перепел трещит в овсе,  
Довольны все, довольны все.

**Эгано:** Верна жена и предан паж,  
Судьбой не обездолен.  
Словам жены лишь веру дашь,  
И будет всяк доволен.  
И перепел трещит в овсе,  
Довольны все, довольны все.

**Все:** Ревнивец хмурый и все те,  
Кто недоверьем болен,  
Поверьте все по простоте, -  
И будет всяк доволен.  
И перепел трещит в овсе,  
Довольны все, довольны все.

М. КУЗМИН

Пьеса М. Кузмина "Все довольны" публикуется впервые по тексту, хранящемуся в Петербургской Театральной библиотеке (см.: Русская драм. цензура. N 69523. Цenz. разр. от 10 сентября 1915 г. На титульном листе автор не обозначен). Судя по авторскому списку произведений, пьеса была написана в 1915 г., а 22 сентября того же года состоялась ее постановка. Миниатюра М. Кузмина была включена (вместе с другой его пьесой "Фея, Фагот и Машинист") в новую программу театра Н. Ф. Балиева "Летучая мышь", открывшего свой сезон в новом помещении (Дом Нирнзее в Б. Гнездиновском пер. в Москве). Сюжет пьесы заимствован из 7-й главы 7-го дня "Декамерона" Дж. Боккаччо. Кузмин изменил лишь имя слуги (Аникино у Боккаччо) и добавил, в соответствии с законами жанра, два стихотворения-песни. Одно стихотворение ("Ноктюрн") было опубликовано в книге стихов М. Кузмина "Эхо" (Пб., 1921) в составе цикла "Кукольная эстрада" с ошибочным указанием года сочинения - 1917.

"Все довольны" - не первое обращение М. Кузмина к Боккаччо. В 1910 г. он перевел повесть Боккаччо "Фьяметта". Перевод опубликован в "Вестнике иностранной литературы" (1913, N 6) и в том же году вышел отдельным изданием в Петербурге в издательстве М. Г. Корнфельда. Этот перевод надолго стал классическим примером в непревзойденным образом для русских переводчиков последующей эпохи. Стилистическое совершенство, характерное для перевода Кузмина, в сочетании с драматургическим мастерством отличают и эту, одну из самых миниатюрных пьес М. Кузмина, предлагаемую сегодня вниманию читателей.

Подготовка текста, публикация и примечания  
П. В. Дмитриева

### ЛИЦА:

Беатриче

Эгано -- муж ее

Анкетэн -- паж

Голос за сценой (поет)

Болонья. Терраса и сад Эгано.

"Сумасшедший дом!"... Иначе я не могу назвать город Екатеринодар в те дни, в которые мне довелось прожить там: от 12 до 17 июля 1918 г. В эти дни город напоминал огромный муравейник, взбужденный неожиданным ударом палки. Таким ударом было для столицы кубанского большевистского царства падение Тихорецкой. Тихорецкая считалась неприступным оплотом советских сил и внушала непреклонную уверенность в прочности советской власти. Уже несколько дней местная советская пресса была тревогу, сообщая об успехах добровольческой армии, о том, что кольцо «контрреволюции» суживается и что предстоит последняя кровавая схватка, причем всегда станция Тихорецкая внушала большие надежды, как «утес, о который разобьется девятый вал реакции»...

И вдруг с быстротою молнии по городу распространяется роковая, страшная весть: Тихорецкая пала, пала позорно, с паническим бегством, с утратой артиллерии, всех военных складов, с огромными потерями.

Город, как двуликий Янус: одной половиной лица смеялся и радовался, другой, если не плакал, то ужасался и нервно подергивался. Ждали официальных подтверждений, но их не было.

На другой день местная «Правда» выпустила лишь кровавую погромную передовую статью с призывами «безжалостно разделяться с буржуазией, потопить в крови поднимающую голову гидру» и прочее, затем требование мобилизовать буржуазию и всех граждан «свободных профессий» к рытью окопов, постройке проволочных заграждений и т.д. О Тихорецкой -- ни полслова.

А слухи ползли настойчиво, и суматоха советских властей, бесперывная цепь мчавшихся автомобилей и, наконец, множество дезертирских банд, наполнивших улицы города, наглядно подтверждали, что совершилось нечто катастрофическое. Однако советская власть, видимо, не могла помириться с горьким фактом и ее блюстители начали хватать на улице, в чайных и на трамваях всех, кто говорил, что Тихорецкая взята. Многочисленные «охранники» начали распространять по городу новую версию о Тихорецкой: там было временное смятение, временно станция была захвачена корниловцами, но на другой же день была взята обратно, а корниловцы бежали, разбитые наголову, и отогнаны более чем на 30 верст...

Увы! -- никто не верил этому подвигу советской армии, а внезапное прекращение пассажирского движения и к Тихорецкой, и на Новороссийск и заставы, улавливающие бегущие в город и к Новороссийску остатки разбитых большевистских эшелонов, лишь подтверждали истину. Множество стекающихся семьями «иногородних» располагались цыганскими таборами на окраинах

## "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" В НЬЮ-ЙОРКЕ

города. По улицам передвигались советские войска, даже с музыкой, гарцевала конница с красными знаменами, с надписями «Смерть буржуазии» и т. д.

Гг. комиссары старались соблюдать течение советского дня: стряпали еще декреты, реквизировали, делали сметное предположение о новой 25-миллионной контрибуции, заседали в трибунале... Рядом с возбуждением и тревогою удивительно уживалась беспечность большевистской

## Евгений ЧИРИКОВ

осадного положения, после 9 часов вечера уже прятались по домам. Зловещее безлюдье на улицах, тревожно-напряженное ожидание в домах, одиночные выстрелы у вокзала и на окраинах... Город казался насторожившимся, а ночью в каждом доме стоял страшный вопрос: «Что день грядущий нам готовит?»...

Всю ночь до рассвета происходило экстренное заседание совета: решался вопрос -- сдать город без боя и отступить, по примеру Корнилова, в горы, или оказать

сопротивление «до последней капли революционной крови». Большевики, как реальные политики, высказались за отступление и дальнейшее «лабиринтование», эсеры левые и

анархисты требовали не выводить войск и сражаться: победить или умереть. Определенного единого решения вопроса не вынесли, а на другой день поехали на какое-то совещание по направлению к Новороссийску. Пошли слухи, что немцы занимают станцию Тоннельную..., а большевики выставляют какой-то заслон для отступления, на случай. Нечто таинственное... Говорят о плане прорыва к Царицыну, о нажиме сверху, оттуда и с юга, между Доном и Волгой... Несомненно, что назревал какой-то план. Начались передвижения по Черноморке. Появились черные знамена анархистов...

Объявили мобилизацию всех горожан до 45-летнего возраста, с угрозой арестов на квартирах, если не явятся завтра к определенному часу. Не идут, прячутся, бегут... Начинается ловля... На вокзалах появляется множество раненых, которых некуда деть... Ходят по квартирам и опустошают комоды и шкафы с бельем...

А в трибунале все-таки заседают. «Fiat justitia, pereat mundus!»\* Захожу в это отделение сумасшедшего дома. Здесь буйное помешательство. К моему изумлению, на скамье подсудимых -- не буржуй, не меньшевик и даже не правый эсер, а представьте себе: знаменитый матрос Басов!.. Знаменитый и таинственный. Это тот самый матрос Басов, который фигурировал в деле об убийстве двух лучших русских граждан, Шингарева и

Кокоскина,\*\* который был главным подстрекателем к убийству и изумлялся, что

\* "Да будет правосудие, пусть погибнет мир!" (лат.).

\*\* Шингарев Андрей Иванович (1869 -- 1918) -- земский врач, один из лидеров партии кадетов, депутат II, III и IV Государственной Думы, вначале министр финансов Временного правительства, депутат Учредительного Собрания. Кокоскин Федор Федорович (1871 -- 1918) -- юрист, приват-доцент Московского университета по кафедре государственного права, один из основателей и лидеров кадетской партии, депутат I Государственной Думы, контролер во 2-м составе Временного правительства. Оба были арестованы 28 ноября (11 декабря) 1917 г. по декрету

# МАТРОС БАСОВ

ОЧЕРК

## РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

СБОРНИКЪ ПЕРВЫЙ



### СОДЕРЖАНИЕ

ФЕОДОРЪ СОЛОГУБЪ - *Родина (стих)*; АЛЕКСЪЙ РЕМИЗОВЪ - *Слово о погибели земли русской*; ЕВГ. ЧИРИКОВЪ - *Матросъ Басовъ (очеркъ)*; А.И. КУПРИНЪ - *Последній изъ буржуевъ (разсказы)*; ТЕФФИ - *Русь (стих)*; М. РОСТОВЦЕВЪ - *Большевизм и интеллигенция*; А.ЮНЕО - *Национальность и культура*; М.К. ЮРДАНСКАЯ - *Эмиграция и смерть Леонида Андреева (воспоминания)*; В.В. НАБОВЪ - *Панихида (стихотвор.)*.

НЬЮ-ЙОРКЪ 1920 ГОДЪ

черни: у всех увеселительных демократических заведений толпы праздных зевак, смешанные с дезертирами и китайскими защитниками «родной Кубани», гоготали, лущили семечки, ругались хмельными голосами и затевали ссоры с выстрелами из револьверов... Во дворе комиссариата призрачная баба держала митинг, требуя пособий, которых давно не выдавали за отсутствием у властей денег, потом арестовали товарища комиссара призрачного и повели его куда-то. К вечеру пропал с чемоданчиком один из советских комиссаров...

Все мирные граждане, ввиду объявленного

конвойные не догадались при перевозке арестованных из Петропавловки выбросить их в Неву, тот самый, которого советское правосудие никак не может отыскать и посадить на скамью подсудимых. Вот где нашелся!.. Из Петрограда он перебрался в Крым, здесь под его вдохновенным руководством происходило избивание и утопление офицеров-моряков и кровавая варфоломеевская ночь для местной буржуазии. Теперь он перебрался с отступившим флотом в Новороссийск и возглавил углубление революции на Кубани.

И его судят!.. Что такое?! Матроса Басова, оказавшего столь великие услуги революции, судят большевики же? Ну разве это не изумительно? Изумительно! Изумительно и невероятно даже и для самого обвиняемого, матроса Басова. Он сидит на скамье обвиняемых, прямо как именованник! Окидывает гордым победным взором публику, судей, потолки. Он полон сознания своих геройских подвигов, он знает себе цену и убежден, что его ждет не осуждение, а новая слава...

За что же судят этого героя? За убийство. Однажды матрос Басов стоял на панели, а мимо гарцевал выпивший воин из советской армии. Лошадь балуется, танцует, а тот бьет ее по морде. Матрос Басов чувствует себя на высоком положении, как же ему не прикрикнуть на озорника? А тот и сам -- с усами.

-- А ты кто такой?.. Какое имеешь полное право ругаться?

Матрос Басов выхватил револьвер.

-- А это видел?

Всадник обиделся.

-- Какое полное право имеешь грозить револьвером?

Повернул взмыленную лошадь и приближается к панели. Матрос Басов хороший стрелок: прицелился, выстрелил, и всадник пал мертвым из седла. Сбегается народ... «Кто его убил?» А Басов, успевший спрятать револьвер, указывает на ближайший забор: «Оттуда стреляли!» И уходит.

Прискакали однополчане убитого, народ повторил слова Басова, и в результате во дворе дома, откуда якобы стреляли, оказалось двое невинно убитых солдат.

Басова на этой улице знали. Поэтому он решил не прятаться, а пошел и заявил в милицию, что убил пьяного воина, который давил народ, ругался и срамил революцию. Его арестовали. Вероятно, его и выпустили бы, но вмешались конные части, товарищи убитого всадника и двух несчастных, и, подступив к месту заключения, потребовали выдачи им матроса Басова. Советская власть, желая спасти столь ценного революционера, убедила возмущенных товарищей-воинов не чинить самосуда, а судить Басова народным судом, в революционном трибунале. Те согласились, но поставили условием участие в числе народных судей представителей от своих воинских частей. Советскими законами сие не предусмотрено, но пришлось согласиться, дав простор непосредственному правотворчеству солдат. И вот необычайный процесс, привлекший массу разношерстной публики...

Если сам город Екатеринодар представлял из себя сумасшедший дом, то трибунал и этот процесс концентрировал буйное революционное помешательство. Матрос Басов среди белого дня привязался к скакавшему на лошади подвыпившему «товарищу», в сердцах убил его ни за что ни про что и, сознавшись, гордо заявил, что не судить его надо, а благодарить, ибо он просто «сметал грязь с революции».

СНК о предании суду «вождей гражданской войны против революции». Из Петропавловской крепости обоих перевели на лечение в Марининскую больницу, где в ночь с 6 на 7 (19-20) января он были убиты ворвавшимися туда матросами, в частности, Басовым.

Обвинителей не нашлось, у матроса Басова были только защитники. Один из них, очкастый партийный интеллигент, подал публике, какого великого революционера они судят. Оказывается, что это -- краса и гордость революционного флота.

От трибунала выступил товарищ комиссара юстиции, помощник присяжного поверенного Старцев. Его речь изумляла моральным бесстыдством логического построения. Не было никаких намеков в деле на покушение со стороны убитого напасть на Басова, всадник не имел револьвера, а вышло, что тут могло быть и убийство из чувства самосохранения. Выходило вообще так, что Басов может убить кого угодно... До такой мерзкой угодливости революционной черни, какая звучала во всей речи этого бывшего присяжного поверенного, редко опускались даже наши завзятые профессиональные демагоги...

А речь самого Басова!.. Это был сплошной бред сумасшедшего, маньяка, революционного психопата. Набор хлестких лозунговых фраз, без всякой внутренней связи, поток слов с биением себя в грудь, с угрозами судьям, со ссылками на Великую Французскую революцию, с тостами за революцию, с презрением к судьям...

Вы не знаете, кого судите!.. Я матрос Басов... Впрочем, меня знает революция, а вы... потом спохватитесь... Я считаю себя так, что благодарить, а не судить меня вы должны... Я смету всю грязь с революции!.. Вы еще услышите, что такое есть матрос Басов! Да здравствует революция и смерть всем на пути... Вот кто матрос Басов...

И так бесконечным потоком... Не остановится, поток слов льется с пафосом, с множеством иностранных слов, не к месту употребляемых... А голова гордо поднята, глаза сверкают, голос звенит... Трудно уловить мысль: она так скачет, что логики нет совсем, а между тем «товарищеская публика» понимает и страстно рукоплещет... Речь сумасшедшего. У гоголевского Поприщина больше логики, чем у этого психопата, а между тем «товарищи» наэлектризованы, что-то понимают, что-то свое вкладывают в бессмысленный набор трескучих слов и терминов. Общее помешательство. Революционный невроз. Что-то тупое, бессмысленное, крикливое, угрожающее, а нравится, производит неотразимое впечатление на революционно настроенную толпу темных масс. Герой! Изумительный оратор! Истинный революционер!.. За таким пойдут...

Кошмар наших дней. В этом герое революции, казалось, отразилась вся бессмыслица наших кровавых ужасов и весь характер нашего массового большевизма, тупого, слепого и страшного в своей тупости...

А в интеллигентах, защищавших этого героя, отразилось все рабское ничтожество, моральная слякоть, трусливая угодливость толпе, все отличительные признаки так называемых «вождей большевизма», давно уже в сущности превратившихся в лакеев толпы...

Матросу Басову судьи сделали за убийство трех неповинных людей лишь порицание, и он презрительно махнул рукою: не понимают, дескать, что не порицать, а благодарить надо. Солдаты, товарищи убитого, однако не удовлетворились: послышались возмущенные и угрожающие крики:

-- Вам все разрешается!.. Для вас человек -- как собака!..

Перед зданием окружного суда, где заседал трибунал, стояли китайские отряды (для подкрепления трибунальных решений), а по площади скакали конные солдаты, ожидавшие постановления трибунала... Китайцы, охраняя матроса Басова и «родную Кубань», увели героя задним ходом...

«Донская Волна», 1919 г.



## Н. А. ТЭФФИ

Русь

*Ночью выходит она на крыльцо.  
Пряди седые ей хлещут лицо.  
Плачут кровавые впадины глаз.  
Кличет она в свой полуночный час:*

*«Ветер! Ты будешь мне сына качать!  
Просит тебя его старая мать!  
Ветер! Спеши! Подымайся! Пора!  
Видишь, -- за городом злая гора?  
Видишь, -- чернет над нею качель?  
В этой качели его колыбель...  
Кто не взлюбил твоей доли, земля,  
Тех к небесам подымает петля.*

*Ветер! Неси мою песню, неси!  
Кланяйся сыну от старой Руси!  
Я волчьей пеной вспоила его,  
Чтоб не робел, не жалел ничего.  
Вот и высок его гордый удел --  
Он, умирая, на солнце глядел...*

*Молод он был, чернобров и удал.  
Клевет орлиный его отпевал...  
Кто не взлюбил твоей доли, земля,  
Тех к небесам подымает петля.*

*Ветер! Неси мою песню, неси!  
Кланяйся сыну от старой Руси!  
Долгие зимы я пряжу прядла,  
Вольные песни в ту пряжу вплела,  
Терпкой слезой омочила кудель --  
Вышла на славу петля из петель!  
Крепкой рукою скрученный канат  
Ветер качает и крутит назад:*

*Север, и запад, и юг, и восток!  
Все посмотрите, каков мой сынок!  
Кто не взлюбил твоей доли, земля,  
Тех к небесам подымает петля.  
Ветер! Неси мою песню, неси!  
Кланяйся сыну от старой Руси,  
Старой, исплаканной, темной, слепой,  
Песню мою над сыночком пропой!..»*

Декабрь 1919 г.

**Н**аступили тридцатые годы XX столетия. Великая перманентная революция все еще продолжалась. Русский буржуазият приближался к полному вымиранию, побуждаемый к этому голодом, неумеренными расстрелами, а также массовыми перекочевками буржуа на советские пастбища. Живой, неподдельный буржуй стал такой же редкостью, как некогда беловежский зубр. Исчезновение этой ценной породы не шутя встревожило дальновидные государственные умы. Были изданы соответствующие декреты и приняты решительные меры.

Сначала постановили: считать смерть каждого буржуа, хотя бы и самую естественную, за гнусный саботаж и наглую контрреволюцию, отвечать за которую должны, как заложники, его ближайшие родственники, подлежащие

# ПОСЛЕДНИЙ РАССКАЗ ИЗ БУРЖУЕВ

за попустительство и подстрекательство немедленному расстрелу. Но потом «цик» вовремя спохватился и остановил это распоряжение. Тогда строжайше был воспрещен переход из буржуазного состояния в совдепское. Буржуев предложили рассматривать как национальную собственность, порученную общественному попечению и пристрою, подобно тому, как публичные сады в Европе.

Однако буржуи упорно продолжали свой черный саботаж, потому что умереть тогда было гораздо легче, чем выкурить папироску.

Скоро их числилось наперечет десять, потом пять, три, два, и наконец остался во всей Советской России всего лишь один бессемейный и вдовый буржуй, Степан Нильч Рыбкин, житель Малой Загвоздки, близ Гатчины, бывший владелец зеленой и курятной лавки.

Именно к его-то покосившемуся деревянному, в три окошка, но собственному домишке с мезонином подкатил 24 декабря 1935 года шегольский «рено», из которого вышли два красных комиссара с серьезными выражениями на умных красных лицах. Не торопясь, учтиво поднялись они на крыльцо, разделись и вошли в крошечную гостиную. Их встретил хозяин, пожилой, но еще свежий мужчина, с почтенной лысиной и с проседью в окладистой бороде.

-- Прошу садиться. Чем могу служить?

Комиссары сели и оглянулись вокруг: икона, освещенная зеленоватым огоньком лампадки, тюлевые занавески на окнах, герань на подоконнике, клетка от канарейки, вязаная скатерть на столе, граммофонная труба...

-- Б-буржуйствуете? -- слегка заикаясь, любезно осведомился первый комиссар с приятной улыбкой.

-- Да, так себе... помаленьку... Только, должен признаться, надоело мне все это... Живешь таким отщепенцем... Хочу подать прошение о переводе в советские... в какой-нибудь коммунальный склад или магазин... А не примут -- так нам и умереть недолго. Дело дешевое.

Второй комиссар, бывший актер, испуганно замахал на него руками:

-- Что вы, что вы, батенька! Вы, голуба, этим не шутите. Я женщина нервная. Нет, вкуснячка, нет, такой пакости вы нам, надеюсь, не учините.

-- А вот возьму и учину. Какая моя теперь жизнь? Самая пустяковая. можно сказать, как у прицельного зайца. Была у нас здесь раньше под Гатчиной большая ружейная охота. Очень много господ из Петербурга наезжало, и с течением времени всю дичь перебили, как есть. Остался, наконец, всего один заяц. Старый, опытный. Фунтов с пять в нем, пожалуй, заячьей дробь N 3 засело, а все бегал. Удачливый какой-то был заяц. Так охотники, под конец, положили уговор: зайца этого не убивать, а стрелять мимо. Для прицела, значит, и для волнения.

## А. И. КУПРИН

Съедутся они, бывало, в воскресенье, разбредутся по кустам и палят целый день в зайца. А он, знай себе, шмыгает между ними по полю. Так осмелел, подлец, и такой был умный, что иной раз сядет против стрелка на задние лапки, а передними мордочку трет. А тот, шагах в девяти, патрон за патроном.

-- В-вы это к ч-чему же?

-- К тому, что и моя жизнь на манер этого зайца выходит. Жаловаться не могу, живу без обиды. Однако трудно мне. Как только революционный день какой, в июле там, или, примерно, в октябре, или опять-таки в день рождения Карла Радека, в именины Стеклова\* -- обязательно к нам в Загвоздку тьма-тьмушая народу. Не только из Петербурга -- из Москвы приезжают. Запрудят все улицы. Ни проезду, ни проходу. Круглые сутки толпятся у меня под окнами и орут:

-- Смерть буржуазии! Да здравствует диктатура пролетариата!

Речи говорят с моего крыльца... Каждый раз все одно и то же... Скучно... А то из револьверов начнут стрелять. Целую ночь палят. Индо голова от трескотни вспухнет. Я, конечно, знаю, что палят мимо, в воздух. Но, однако, в день бракосочетания писателя Ясинского\*\* все-таки стекло на чердаке продырявили.

-- Ук-кажите нам этого прохвоста. Мы его с-самого проды-ды-дырявим.

-- А ну его, дурака... Не стоит. Но, вообще говоря, это буржуйное ремесло мне, товарищи, надоело. Не желаю я больше. Не могу. Не хочу. Примите меня куда-нибудь. Прошу вас покорнейше. Покорнейше вас прошу. Хотя в чрезвычайку, что ли...

-- Да ведь, роднуша, какие теперь чрезвычайки? Там, дорогуля моя, никакой нет работы. Дуют весь день в очко и читают Ната Пинкертоната\*\*\* а упражняются только на деревянных манекенах, чтобы злбность не потерять. Оставайтесь, Миловида, оставайтесь у нас по-прежнему в буржуях. Мы ли вас не холим? Мы ли вас не лелеем? Хотите, мы вам домик поуютнее присмотрим? В Петербурге, в Стрельне... можно и в красном Питере... Желаете, ангел, -- даже и с прислугой можно...

-- Нет уж, куда уж, -- угрюмо бурчит Рыбкин.

-- Авто-то-то-томобиль?

-- Не надо.

-- Может быть, вы, прелестеночек, пайком недовольны.

-- Жаловаться не могу. Провизией доволен. На днях индейку прислали, икры фунт, окорочок, красного вина три бутылки... А все не то... Не играет сердце... Тоскую...

-- А что, товарищ, не жениться ли вам? Для расп-плоду? А?

-- А и взаправду, голуба! Это мысль. Хотите, женим? Не бойтесь, не по-совдепски, как прежде, по-церковному. Попа вам выпишем из-за границы... настоящего. Дадим ему охранную грамоту туда и обратно... Хотите, жизненочек?.. А? Мигом спроворим. Не успеете оглянуться... Ну, конечно, не без маленькой враждебной демонстрации... Пошумим немного, помитингуем... Ведь, ведь не привыкать стать, вкуснячка?..

Рыбкин отвернулся к окну и устало махнул рукой.

-- Оставьте... бросьте... Скучно все это... Надоело... Да и вообще, оставили бы вы меня в покое. Ну зачем я вам?

Комиссары, вероятно, уже в сотый раз стали объяснять ему всю важность его службы при перманентной революции. Во-первых, необходим же пролетарским массам живой объект для очередного излияния священного народного гнева? Во-вторых -- классовая борьба, в которой обретешь ты право свое... Где же мы найдем этот враждебный класс, если последний буржуй сбежит, или сдастся, и бороться будет больше не с кем? Что, наконец, скажут о России международные товарищи? Что подумают иностранные корреспонденты? Нет, товарищ Рыбкин,

\*Карл Радек и Ю.М.Стеклов -- видные деятели советской и партийной власти.

\*\*Писатель Иероним Иеронимович Ясинский (1850 -- 1931) был широко известен политической беспринципностью: из литератора охранительного направления после 1917 года он шумно стал на сторону сверхреволюционной власти, редактировал революционные журналы «Красный огонек», «Пламя».

\*\*\*Речь идет о бульварных детективных романах об американском сыщике Нате Пинкертоне, настолько популярных на рубеже веков, что в обиход было пушено выражение «пинкертоновщина», означавшее: низкопробное чтиво для массового читателя.

оставяйтесь на вашем славном посту. Не губите дела революции... --Актер говорил так убедительно, что даже слеза заструилась по его жирной, бритой щеке.

Степан Нильч лениво подпер ладонью голову, покачал ею и вздохнул...

-- Ладно уж... Не плачь... жалко мне тебя. Послужу еще с годик, а там увижу. Ведь это я так только -- раскис сегодня немного... Сидел тут один и задумался... Вот, думаю, прежде у людей елка бывала... детишки... свечей много... золото сусальное блестит... бусы качаются... смолой пахнет. И так грустновато мне стало... Ну, ничего... обойдется.

Товарищи комиссары быстро переглянулись и тотчас же стали прощаться. Казалось, одна и та же мысль промелькнула одновременно в умах у обоих. В передней они крепко пожали руку хозяина. За дверями, на улице, стояли в синих снежных сумерках фиолетовые деревья.

Проводив гостей, Степан Нильч сходил по привычке на то место, где раньше была церковь. Постоит там минут двадцать. Пробовал вспомнить рождественские ирмосы,\*

\*Вступления к церковным песням, которые предвосхищают последующее содержание всего канона.

но не мог... Память заржавела. Потом зашел к куму, коммунальному сапожнику, посидел у него часа полтора. Заглянул в какие-то брошюрки, валявшиеся на окне, но наткнулся на знакомые, опротивевшие слова о гибели буржуазного строя, и бросил. Обоим хотелось поговорить о прежнем, тогдашнем, но за стеной жил ЧК и был, на несчастье, дома.

Когда Рыбкин подходил к своему дому, то еще издали его поразил необыкновенно яркий свет, лившийся из окон на снег в палисадник и на голые черные деревья. Полный изумления, вошел он в гостиную. Посредине комнаты стояла небольшая елка, вся сиявшая маленькими теплыми огоньками. Золотые и серебряные украшения весело поблескивали. Тут висели, подрагивая и чуть раскачиваясь, миниатюрные гильотины, изящные модели виселиц, топоры и плахи, серпы и молоты и другие революционные игрушки и эмблемы. Одна свечка слегка подкоптила еловую хвою, и так приятно пахло дымком.

-- В борьбе обретишь ты право свое, -- пролепетал Рыбкин и заплакал. Заплакал от горя и умиления.

Декабрь 1919 г.



**Н**есмотря на все усилия, на повторные попытки большевиков привлечь в свои ряды и заставить служить себе «не за страх, а за совесть» русскую интеллигенцию, им этого достигнуть не удалось. Интеллигенция служит им, конечно, служит в их министерствах, главным образом в комиссариате Народного просвещения, служит в разных комитетах и комиссиях, но служит именно -- «за страх» и от голоду, так как это единственный способ поддерживать то жалкое, рабское существование, которое интеллигентные люди вынуждены теперь вести в большевистской России. Формула, которая дает силы вести этот ужасный образ жизни для интеллигентного труженика, идейное обоснование этого служения не удовлетворяет, а обижает большевиков. Большевики хотели бы, чтобы интеллигенция сдалась им идейно, признала бы и приняла бы

на реакционность не только профессоров, но даже и всех так называемых младших преподавателей? Почему, несмотря на сильнейшее давление, в их рядах не очутилось почти никого из действительно образованных и знающих людей? Из крупных писателей -- один Горький, в искренности большевистских убеждений которого, после всего того, что он писал в «Новой Жизни»\*, я сильно сомневаюсь. Из художников -- одни футуристы, да и то худшие из них. Лучшие, как Ларионов и Гончарова, не с ними, а вне их пределов, в Париже. Из ученых -- один дряхлый Тимирязев. Не могу же я назвать учеными членов социалистической Академии, кучку бездарностей и слепых теологов, пережевывающих положения Маркса!

## М. РОСТОВЦЕВ

как среди русского студенчества. Какие же они «буржуи»?

Ужасающая нищета царилла всегда и среди писателей. Возьмите расходные книги «Литературного фонда», общества помощи нуждающимся писателям и ученым. Каких только имен вы не найдете среди клиентов фонда. Книги фонда -- это анналы нищеты литературных работников России. Капиталистов среди писателей нет и не было. Впрочем, один был -- это Горький, но он составляет исключение. Горький, как известно, был

владельцем книгоиздательской фирмы «Знание»\*, а теперь коллекционирует драгоценные камни и драгоценные вещи вообще\*\*.

Русская профессура, русские учителя и учительницы мало чем отличались от писателей, разве только тем, что они получали ежемесячное жалованье, а не

# БОЛЬШЕВИКИ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

их идеологию, подписалась бы под их программой, а интеллигенция вместо этого работает для того, чтобы «спасти культуру России», «сохранить то, что можно», «для лучшего будущего». Естественно, что большевики обвиняют интеллигенцию в «саботаже», что неправильно, так как «саботажа» нет: работа интеллигенции непродуктивна, это правда, но не в силу сознательного саботажа, а в силу того, что на каждом шагу встречаются и сталкиваются две идеологии, и идеология большевиков, не имея силы убедить кого бы то ни было, стремится навязать себя насильем и принуждением. Рабский труд, принудительные работы никогда не были и не могут быть продуктивны, а русская интеллигенция теперь находится в полном рабстве у большевиков и третируется ими, как рабы.

Почему это так? Почему только отдельные мелкие группы интеллигенции примкнули к большевикам, по большей части группы недоучившейся молодежи или людей, которые никогда ничему серьезно не учились и не способны к серьезной и строгой научной работе? Почему большинство студентов всех русских университетов считаются большевиками реакционерами? Почему они жалуются

Почему это? Большевики говорят: потому что вся идеология всей интеллигенции буржуазна. Что они под этим термином понимают, я не знаю. Но я должен сказать, что самое название «буржуазия» (в том смысле, который дает этому термину Маркс) к русской интеллигенции неприменимо. Русская интеллигенция всегда была нищей. Это был трудовой класс, класс рабочих, живших на заработки, от жалованья до жалованья, от гонорара до гонорара. Дети этой интеллигенции -- русские студенты -- так резко отличались от студенчества Западной Европы именно тем, что они не были детьми людей, обладавших средствами. Родители не в состоянии были их содержать во время университетского курса, и большинство студентов ютилось в меблированных комнатах и жило на те ничтожные средства, которые они зарабатывали, давая уроки, занимаясь переводами, служа в типографиях корректорами и т.д. Никогда я не видел такой ужасающей нужды,

\*Речь идет о цикле публицистических статей Горького 1917 -- 1918 гг. «Несвоевременные мысли», в которых резко критиковалась деятельность большевистского правительства.

гонорары за свои напечатанные произведения. Перебирая в памяти своих друзей и знакомых из этой среды, я не вижу людей, которые имели бы средства к жизни, помимо жалованья, которое они получали. Но я знаю, что профессора, оплачиваемые 3.000 руб. в год, принуждены были читать 24-30 лекций в неделю, чтобы не умереть с голоду. Я знал превосходных преподавателей, которые, чтобы жить, должны были давать от 52 до 56 уроков в неделю.

То же надо сказать и о чиновниках. «Люди 20-го числа», так их называли, и никто никогда не рассказывал, что в чиновничьей семье, после 10 числа каждого месяца, можно было найти хоть несколько десятков рублей. Зато долгов сколько угодно. Этим, в значительной степени, объясняется то, почему русская интеллигенция в огромной своей массе была революционна и среди студенчества, когда оно разбивалось на пар-

\*Издательство было кооперативным, пайщиками -- печатавшиеся литераторы.

\*\*Некоторые из многочисленных слухов о Горьком, распространившихся недоброжелателями в связи с его работой в оценочно-антикварной комиссии при Эрмитаже.

тийные группы, огромное большинство всегда оказывалось социалистами тех или других оттенков.

Так почему же эта интеллигенция не пошла и не идет за большевиками и большевики ее третируют так же и гораздо хуже, чем старый режим, как париев, как рабов?

Причина ясна и проста. Идеалами нашей интеллигенции всегда были идеалы демократии и свободы. За это она боролась, за это гибли ее лучшие представители. С режимом насилия, крови, диктатуры интеллигенция примириться не может и не хочет. И лучшим доказательством того, что режим большевиков есть режим насилия, и является то, что интеллигенция не с ними. Кто может от них убежать, эмигрирует, идет в армию антибольшевиков. Кто не может, подчиняется, но... и только. Надо же знать, что те, кто сражается в рядах антибольшевистских армий, не дети же капиталистов! Из всех людей, обладавших состоянием в России, не то что армий, одного корпуса не составить. Надо же понимать, что буржуазии, как класса, в России не было. Сражается же в рядах антибольшевистских армий, кроме более интеллигентных рабочих и крестьян, все та же интеллигенция и молодежь, те, которые были бы, если бы не гражданская война, студентами, а затем инженерами, архитекторами, чиновниками, учителями и т.д.

Вторая причина та, что перед интеллигенцией всегда стоял идеал культурной, цивилизованной жизни. Этот идеал у них отняли, их заставляют жить не только как рабов, но как свиней. Он их требуют, чтобы они забыли все условия культурной жизни и равнялись в жизни своей не с рабочим, а с теми отбросами городской жизни, которые всегда вызывали у них сожаление и которых они всегда хотели приобщить к более культурным условиям существования. Равенства всегда добивалась русская интеллигенция, но равенства в высшем и лучшем, а не в худшем, равнения к интеллигенту, а не к хулигану.

Рабство, насилие, вражда к настоящей культуре и равнение к худшим это то, что не позволяет русской интеллигенции примириться с большевиками, но без чего -- и это большевики знают -- большевизм не будет большевизмом и власть большевиков рассыпается. Интеллигенция была и будет и не может не быть против «диктатуры пролетариата».

Примирить интеллигенцию с большевизмом нельзя, как нельзя примирить с большевизмом «коммунизм» русских крестьян. Но заставить подчиниться и тех, и других -- насилием, грубой силой, тюрьмой, казнями, голодом -- можно, и даже надолго. Русские крестьяне только 60 лет тому назад были крепостными и могут вернуться к этому состоянию; русская интеллигенция и выработала старые методы протеста, к ним она прибегает и сейчас.

Один из моих коллег, недавно уехавший из России, рассказал мне о том, как праздновали «юбилей» (столетие) Петроградского университета\*. Огромный зал, полный публики; за столом на возвышении -- совет университета; в первом ряду кресел -- диктатор Петрограда Зиновьев и рядом с ним митрополит. Совсем как в доброе старое время. Речь министра народного просвещения, совсем как в старое время, встречается официальными аплодисментами профессоров и молчанием публики, зато речь старого либерала юриста Таганцева\*\*, который позволил себе роскошь пожелать пришествия времен, «когда можно будет думать, что

хочешь, и говорить, что думаешь», сопровождальсь испуганными возгласами коллег и громовыми аплодисментами публики.

Как и старый режим, но только более беззастенчиво и цинично, большевики пытались и пытаются прежде всего запугать интеллигенцию. Большую сенсацию произвела попытка Горького свести на большом митинге интеллигенцию и большевиков\*. То, что должно было быть диалогом, оказалось, как этого и следовало ожидать, монологом большевиков. Горький, занявший председательское кресло, явился обвязанный платками и шарфами и заявил, что болен и говорить не будет. Все поняли, что и он ждет времени, «когда можно будет говорить, что думаешь». Большевики были очень красноречивы, но



М. И. Ростовцев. Снимок 1900-х годов в Риме.

не столько убеждали, сколько грозили -- голодом, тюрьмой, смертью. Интеллигенция слушала... и молчала. К молчанию Россия привыкла. Когда на другой день супруга Горького -- артистка Андреева, председательница театрального отдела -- с возмущением нападала на это молчание интеллигенции за общим завтраком всего отдела, о котором еще поговорим, одна из служащих этого отдела позволила себе задать ей только два вопроса: «Почему же молчал сам Горький и знает ли она о существовании чрезвычайки». Ответом было, во-первых, заявление Андреевой о том, что «кровь необходима» и... изгнание лица, поставившего эти вопросы, из Театрального отдела, т.е. обречение его на голодную смерть.

Так как политика запугивания реальных результатов не дала, то большевики пытались и пытаются купить интеллигенцию, особенно крупных людей. Мне известны совершенно точно три случая, которые можно подтвердить документально. Не стану останавливаться на двух первых -- на предложениях огромных сумм писателю Л. Андрееву, ныне покойному, и художнику Н. Рериху, если они согласятся вернуться в Россию, так как эти случаи были оглашены в прессе\*\*. Расскажу третий аналогичный факт. Писатель А. Куприн, недавно бежавший из России (толь-

\*По-видимому, речь идет об обращении Горького «к народу и трудовой интеллигенции» на митинге в Петрограде 29 ноября 1918 г.

\*\*Найти в прессе эти факты не удалось.

ко потому и разрешаю себе огласить этот факт, так как иначе это оглашение плохо бы кончилось для Куприна), вынужден был -- с голоду -- написать для большевистской серии переводов европейских классиков предисловие к переводу Дюма -- 3 листа по 16 стр. каждый. За это ему был прислан гонорар -- 500 р., когда в то же время за предисловия другим лицам платили по 1000 -- 1500 руб. за лист, сам же Куприн до того никогда меньше 1000 рублей за лист не получал. На вопрос о причинах, заданный Горькому, получился следующий ответ. К Куприну явился агент Горького и заявил, что Куприн может получать за свои произведения «неограниченный» гонорар, если... напишет за своею полною подписью хотя бы несколько строк в «Красной Газете».

Теперь, после этих неудач, большевики заявляют, что покойный Андреев, Рерих, Куприн куплены буржуазией. Факты же говорят: после смерти Андреева не на что было купить ему гроб и многочисленная семья его голодает. Рерих с трудом зарабатывает на свое существование в Лондоне. Куприн, бежавший из Гатчины с Юденичем и не сдавшийся большевикам, гуляет по Гельсингфорсу в 20-градусный мороз в летних рваных полотняных туфлях и в летнем пиджаке. Недорого стоят буржуазии ее предполагаемые приобретения!

Но, конечно, кое-что купить удалось. Лучше от этого, однако, купленным не живется. Отношение большевиков и к ним, и ко всей интеллигенции -- отношение рабовладельцев к рабам. Приведу следующую картинку из жизни того же Театрального отдела. В этом «коммунистическом» учреждении устроены были «коммунистические» завтраки. Вот как они происходили. Огромный стол скатерть, серебро, посуда. За ним сидит председательница -- Андреева и около десятка ее верных прислужников. Им подают обычный завтрак из двух горячих блюд, сыра, масла, белого хлеба. За этим оазисом -- пустыня: остальные служащие не решаются приблизиться к Олимпу. За этим пустым местом теснятся сотни служащих -- цвет русской интеллигенции. Ни скатерти, ни приборов. Каждый ест то, что принес: кто одну картофелину, кто кусочек хлеба из дуранды (отжимы льняного семени, которыми иногда кормят скот), и т.д. В добавление к этому учреждение щедро отпускало им по стакану -- горячей воды.

И так везде. Профессоров, например, и артистов сначала оставили на занимаемых ими квартирах. Но теперь, как я слышал, их всех выбросили на улицу, без всякой нужды, так как в Петербурге жило раньше 2 500 000, теперь же не более 500 000. Единственная цель -- показать власть, унижить. Ясно, что интеллигенция -- голодная, измученная, разбитая, униженная -- не имеет ни сил, ни желания работать и бежит, куда только может. Я ручаюсь, что на другой день после снятия той блокады, которую устроили большевики для интеллигенции, в большевистской России интеллигента будут показывать как редкость. Уже и теперь эмигранты считаются сотнями тысяч. Все они -- лучшие работники -- живут в нищете, бросаются с места на место и вымирают. Близко то время, когда большевики из России сделают действительно белый лист. Он уже теперь почти белый, и на нем большевики пишут свои красные кровавые слова -- слова насилия и рабства. За ними придут другие и будут писать те же слова, но другой краской -- черною. Свободы я не вижу на горизонте: большевики убили ее вместе с теми, кто за нее боролся и гиб, вместе с интеллигенцией.

Оксфорд, 31 декабря 1919 г.

\*14 (27) февраля 1919 г.

\*\*Н. С. Таганцев (1843 -- 1923) -- профессор-криминалист Петербургского (Петроградского) университета; сенатор, член Государственного совета, один из авторов Уголовного уложения 1903 г.



Февраль 1918 г.

I

**П**оезд в Финляндию должен был отойти в шесть часов вечера. Но было уже половина девятого, поезда еще не подавали. На полу платформы, оцепленной красноармейцами, на чемоданах и узлах, скорчившись и коченея от мороза, в безмолвном тоскливом ожидании сидели люди. Несмотря на то, что пропуска были у всех проверены при входе, от времени до времени появлялся вновь красноармейский контроль, и снова начиналась проверка документов.

«Группа солдат», матросы такой-то части, «группа рабочих» или просто одна или несколько незнакомых фамилий -- вот каковы были подписи под этими письмами. Были обыкновенные, безграмотные, анонимные письма, полные непристойной личной брани.

В вагоне было полутемно. Единственный фонарь, освещающий его, горел слабо и тускло. Лицо Леонида Николаевича было совсем в тени, и я слышала его глухой, с перерывами, голос, говоривший: «Хотели арестовать меня и в 1905 году. Вечером предупредили, пришлось в ту же ночь собраться и нелегально, через Финляндию, выехать за границу. Может быть, надолго. Но тогда это не огорчало, не пугало. Я знал

## Мария ИОРДАНСКАЯ

покрыт клочьями печатной бумаги, брошюрованными листами, кусками обложки, страницами рукописей. Кипы еще не использованной бумаги обливались водой из пожарной кишки отрядом прибывших из Смольного красноармейцев. Пол наборной и прилегающих к ней помещений был покрыт толстым, в несколько вершков, слоем рассыпанного шрифта.

-- Конечно, «известный контрреволюционер» Плеханов печатал свои статьи о войне в «Современном Мире»... Чего же вы хотите после этого? -- отвечал мне Леонид

# ЭМИГРАЦИЯ И СМЕРТЬ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА

ВОСПОМИНАНИЯ

-- Я совсем закоченел. Лучше ходить, а то кажется, точно примерзаешь к чемодану, -- услышала я знакомый голос.

-- Леонид Николаевич?

С поднятым меховым воротником, в низко на лицо надвинутой шапке и весь осыпанный снегом, ко мне подошел Леонид Николаевич.

-- Сколько времени нас продержат еще на этом морозе? -- говорил он. -- Неизвестно, может быть, всю ночь. Убеждаю брата Андрея не ждать моего отъезда и отправляться домой. Не хочет, говорит, что не скоро опять увидимся.

Оглушительный шум прервал нас. Толпа вооруженных матросов с криком и бранью хлынула на платформу, требуя немедленной подачи поезда и отдельных вагонов для себя. Поднялась невообразимая ругань, суэта, давка, пальба на воздух из револьверов и винтовок. В результате всего этого гама поезд был, однако, через четверть часа подан и сейчас же тронулся. Очень скоро после октябрьского переворота, рассказывал, когда мы тронулись и устроились в вагон, Леонид Николаевич, он уехал с семьей в Финляндию к себе на дачу и не думал о возвращении в Петроград во время большевистского владычества. Но известие о тяжелой болезни матери, захворавшей воспалением легких, заставило его, несмотря на опасность, которой он подвергался в Петрограде, еще в последний раз приехать туда.

-- Больше месяца прожил у сестры, скрываясь, -- говорил Леонид Николаевич. -- В мою квартиру за это время несколько раз являлись с обыском, все перерывали -- вещи, книги, бумаги, письма. Меня искали. Старались угрозами принудить прислугу сказать, где я. Очень редко, под вечер, выходил немного подышать воздухом. Могли арестовать и на улице, если бы узнали. Брат Андрей все время волновался, что задержат сейчас, при отъезде.

Каждый день, рассказывал Леонид Николаевич, ему приносили из его квартиры груды писем. В них называли его и «гнусным прихвостнем и содержателем буржуазии», и «предателем рабочего класса» и «наемником империалистов всех стран», зовущим к продолжению мировой бойни. Грозили -- расправой, самосудом, убийством.

тогда, для кого пишу. Кто читает меня. Знал также и то, кому нужен был мой арест. Кто угрожал расправой. Получал и тогда много писем. Были тоже от солдат, от матросов... Да, писали тогда, пишут мне и теперь... Но какие письма!.. Кто из тех, что называют меня «гнусным наемником», грозят самосудом, убийством, читал меня? Читал «Красный Смех», «Царь Голод», «Савву»? Знают мое обращение «К Солдату». Это знают, но и то из третьих рук, -- обрывки в передаче ораторов. Скажите, -- для кого же писал я всю жизнь? Для кого писал?» -- отрывисто и настойчиво повторял Леонид Николаевич.

Поезд шел медленно, останавливаясь подолгу на каждой станции. Хлопали двери, звеня оружием взад и вперед проходили матросы -- вагоны их были рядом, -- и наш разговор на время прерывался.

-- Матери было плохо, очень плохо, -- опять говорил Леонид Николаевич, -- боялись, что не выдержит сердце. Теперь, слава Богу, поправляется, могу вернуться к своим. Из дому получал отчаянные известия: ничего достать нельзя, -- дети голодают. Знаете, что в моем чемодане, который я так нежно все время прижимаю к себе? Вы думаете, книги? Рукописи? Письма любимой женщины? Ни за что не угадаете! Там хлеб!.. Два хлеба, немного крупы, муки и сахару -- для детей. С каким трудом удалось мне достать все это. С каким трудом... Могли сегодня все отнять -- конфисковать на вокзале. Но Андрей нес чемодан, а у солдат вещей не осматривают. Завтра утром, когда дети проснутся, у них будет хлеб...

-- А вы, как живете? Как журнал?\* Думаете продолжать издавать? -- спрашивал меня Леонид Николаевич.

Я сообщила ему, каким образом покончил свое существование журнал, в котором в 1902 году он начал свое сотрудничество в рассказе «Мысль» и в котором в течение пятнадцати лет принимал постоянное участие. Рассказала, как даже двор типографии, в которой печаталась и скоро должна была выйти очередная книжка журнала, был весь

\*М. К. Иорданская была издательницей журнала «Современный Мир». Примечания, помеченные значком \*, принадлежат составителю сборника.

Николаевич.

-- Хлеб, мир и свобода! Хорошие слова, -- продолжал он, -- На деле голод, гражданская война, расстрелы, удушение печати... Что будет дальше?..

Было около половины двенадцатого ночи, когда поезд подошел к Териокам. Здесь проверяли документы пассажиров, по вагонам, сам знаменитый Кальянен\*, любивший собственноручно расстреливать у стены вокзала из своего револьвера «контрреволюционеров». Бывший актер, -- он был одет с крикливой театральностью. На голове -- нечто вроде шлема, украшенного петушиными перьями и красной кокардой. Через плечо -- красный шарф. Тоже красный шарф высоко обмотан кругом пояса. На рукаве -- красная перевязь, в петлицах -- красные розетки и даже на плечах, со спускающимися в виде эполет концами -- красные банты.

-- Какой шут, -- тихо сказал мне Леонид Николаевич, когда в противоположных дверях вагона появилась, в сопровождении большой свиты, эта удивительная фигура. -- Но какой опасный, злобный шут и сколько жизней от него зависит.

Кальянен поравнялся с нами.

-- Больше с этим в Петроград не поедете! -- резко бросил он, рассматривая пропуск Леонида Николаевича. -- От русского штаба теперь не годится. Должны получать в красном финском штабе. Последний раз едете. Обратно не пропущу.

-- И не надо, -- наклонясь ко мне, проговорил Леонид Николаевич, когда Кальянен отошел от нас. -- Не скоро поеду теперь в Петроград, долго еще не поеду.

Подъезжали к остановке Тюрсево. Леонид Николаевич начал собираться. Он решил выйти здесь, а не на следующей станции Райвола, где выходил всегда раньше, когда выезжали его встречать, потому что пешком до дому было отсюда немного ближе.

-- Тяжело будет в шубе, с вещами идти около шести километров, с моим больным сердцем, -- говорил Леонид Николаевич, --

\*Финн, командовавший южным фронтом во время красного восстания в Финляндии.

Дойду часам к трем ночи. Не скоро и достучишься, пожалуй.

-- Отчего бы вам не оставить свой чемодан на станции и завтра прислать за ним? -- предложила я.

-- Что вы! Ведь я же сказал вам, что там хлеб. Хлеб, которого так ждут дети.

Я вышла на площадку вагона проводить Леонида Николаевича. Раскачивающийся от ветра, на высоком столбе, большой электрический фонарь широким колеблющимся кругом освещал пространство около станции. Снег продолжал идти густыми частыми хлопьями. Никто не выходил здесь из пассажиров, ни одного человека не было видно и на станции. Леонид Николаевич еще раз кивнул мне издали, и его нахло-

и вперед по комнате, много курил, отрывисто бросал вопросы: как существует интеллигенция, писатели, с кем из них мне приходилось встречаться, говорить?

Запуганная, подавленная, апатичная интеллигенция, думающая только о куске хлеба. Писатели с именами, как Куприн, Сологуб, -- в нужде, продающие последние крохи, продающие свои вещи, платя, книги... Жены писателей, переутомленные тяжелой работой. Дети, больные от истощения. Многие из этого Леонид Николаевич, конечно, слышал и раньше, и все-таки по тем замечаниям, которые он от времени до времени вставлял, и по нервности его движений чувствовалось, насколько эти знакомые ему рассказы его вновь волнуют.

Горького, случалось говорить о нем, горячо спорить о его искренности! Помните, как-то давно я рассказывал вам о кружке беллетристов в Москве. Собиралось много народу. Приходила молодежь, начинающие. Но были и Бунин, Скиталец, Серафимович, Телешов. Говорили о литературе, читали свои новые рассказы, спорили и неизбежно в конце вечера, когда оставался только тесный кружок, разговор переходил на Горького и его искренность. Однажды Вересаев, в тот вечер как раз собрался у него, выведенный из терпения безрезультатностью этих споров, предложил: «Господа, раз навсегда решим не касаться проклятых вопросов. Не будем говорить об искренности Горького». Мы все рассмеялись и больше об этом, действительно, не говорили. Так и теперь. Не хочется говорить. Читайте интервью иностранных корреспондентов с Горьким. Он заявляет, что он не коммунист, не сочувствует советской политике, о с у ж д а е т террор, но работает с ними. За громадные деньги продает им свои сочинения, берет от них миллионы на казенное советское издательство, покрывает своим именем их безобразия. Не верит им, не верит в них, и это называется «идти с народом»... Нет, «лучше не касаться проклятых вопросов», -- закончил Леонид Николаевич с грустной иронией.

-- А все-таки, -- помолчал, продолжал он, -- интеллигенция и писатели, как бы тяжело им ни было, должны идти работать к Горькому. Это тяжелая жертва, но они должны ее принести. Да, должны, -- решительно подтвердил он. -- Они не имеют права умирать от голода, не имеют права гасить тот свет, который они обязаны сохранить для народа. Они должны жить. В кровавой борьбе погибли уже лучшие силы. Народ почти обезглавлен. Его мозг обескровлен, потому что тысячами уничтожены интеллигентные, передовые, талантливые люди. Немногие уцелевшие должны жить! В издательстве Горького -- деньги народа, и писатели могут их брать.

Народу же вернут они их, отдав ему свои творческие силы, когда свободная родина потребует этого от них. Но они должны дожить до этого!

Леонид Николаевич замолчал. Разговор перешел на жизнь в Финляндии. Анна Ильинична, Анастасия Николаевна рассказывали о страшном голоде здесь в прошлом, 1918 году. О том, как трудно было жить большой семьей в восемь человек, доставать для детей самое необходимое. Жили замкнуто, одиноко. Знакомых на Черной Речке не было никого. Очень редко из России доходили известия, всегда печальные, всегда волнующие. Родные: второй сын Леонида Николаевича, Данила, остался в Москве у тетки, сестра с детьми, братья тоже были в России, о них ничего не было слышно. Осенью пришлось переехать в Тюрсево. Леонид Николаевич работал всегда по ночам, ложась спать на рассвете. Все труднее стало доставать керосин, и отсутствие света вынудило взять в Тюрсево эту квартиру с электричеством. Здесь жизнь пошла живее. Приезжали беженцы, завязались отношения с Териоками, карантин. Оттуда становились известными последние новости из Петрограда. Образовался и круг знакомых. В Гельсингфорс и Выборг Леонид Николаевич выезжал очень редко. Коснулись оживленной деятельности черносотенцев в Финляндии, их погромных воззваний, монархических прокламаций.

-- Вас изумляет, -- говорил Леонид Нико-



Дача Фальковского, в которой умер Л. Н. Андреев.  
(3 окна внизу - кабинет Андреева)

ленная вперед, немного согнувшаяся под тяжестью ноши фигура очень скоро переступила за черту освещенного фонарем круга и перестала быть видной.

## II

Февраль 1919 г.

Прошел год. Леонид Николаевич жил в Финляндии. Мне с детьми приходилось оставаться в Петрограде -- питаться изредка казенной восьмушкой хлеба и испытывать на себе все блага большевистских декретов -- о выселении, уплотнении, налогах на кровати, матрацы, одеяла, теплые вещи и тому подобные предметы роскоши, выдуманные «праздными буржуями».

Наконец, голод и болезни заставили и меня уехать из Петрограда в Финляндию.

Был морозный день в середине февраля, когда я вновь увидела Леонида Николаевича в Тюрсево, где он поселился с семьей на зиму. Мне показалось, что он сильно похудел, постарел за этот год. Вокруг глаз, около рта легли новые, скорбные черты. Шел попеременно общий разговор. Год не выдался. У меня были последние новости с родины. Все спрашивали: Леонид Николаевич, Анна Ильинична\*, Анастасия Николаевна\*\*. Леонид Николаевич ходил взад

-- А Горький? Его роль? Его издательство? -- спрашивал Леонид Николаевич. Пришлось подтвердить на примерах, что тем из писателей, кто раньше не входил в кружок приближенных Горького, не числился в рядах его единомышленников и почитателей (эти были, конечно, давно устроены), тем -- безразлично, именитым или скромным труженикам -- приходилось одинаково плохо. Голод сломил их, в конце концов вынудил идти к Горькому, как милости просить у него работы, в некоторых случаях защиты. Горькой не отказывал. Он давал работу, «помогал». Но не многие из голодных и нищих теперь товарищей Горького по перу тепло вспоминают встречи с ним, его отношение -- прием... И, по-видимому, из стремления к равенству, он оплачивал иногда одинаково и работы переводчиц, едва знавших тот язык, с которого они переводили, и научные статьи известных профессоров, и предисловия именитых писателей к сочинениям старых авторов. С именем, с литературными заслугами, с самолюбием инакомыслящих не считались.

-- Да, Горький, Горький, -- задумчиво говорил Леонид Николаевич, -- приходилось слышать и об этом. О многом приходилось слышать...

Он перестал ходить и, прислонясь спиной к изразцовой печи, глядя прямо перед собой, точно во что-то внимательно всматриваясь, продолжал:

-- Сколько раз за эти годы, что я знаю

\*Жена Л.Н.

\*\*Мать Л.Н.

лаевич, -- их количество здесь? Ничего нет удивительного. Слишком близко отсюда Россия, а там, -- там их много. Этот элемент, такой гибкий в своей подлости, уцелел повсюду. Его потери сравнительно ничтожны с теми, какие понесла демократическая интеллигенция. Она открыто боролась, не хотела приспособляться, не могла мириться с кровавым террором большевизма и стала поэтом первой его жертвой. Черносотенцы, всегда в рядах палачей, пригодились и большевикам. Бывшие приставы, околоточные, городовые жандармы, где они? В чрезвычайках. А где студенты, офицеры, врачи, священники, учителя, рабочие? Сколько тысяч их расстреляно!.. И страшно подумать, что может быть близко то время, когда эти черные враги родины попытаются овладеть ею, беззащитною, измученною, и снова польется кровь! -- Голос Леонида Николаевича звучал печально и глухо, глубокая поперечная складка разрезала лоб. Усталым движением он приложил руку к виску. -- Опять начинается головная боль, целыми неделями иногда не дает работать.

Перешли из комнаты Леонида Николаевича в столовую. Вспомнили общих знакомых. Леонид Николаевич оправдился, шутил. Делились местными тюревскими новостями. Эмигрантский круг здесь и в Териоках, в которых приходилось возвращаться Андреевым, состоял из «бывших» дельцов, преимущественно. Писателей, интеллигенции здесь не было. От нечего делать по вечерам играли в карты.

-- Не можете себе представить, каким я сделался здесь картежником, только и думаю о картах, -- шутил Леонид Николаевич. -- А мать, ее увлечение принимает угрожающие для семьи размеры. Последний грош проигрывает, скоро и с себя все проиграет.

Анастасия Николаевна добродушно смеялась:

-- Слушайте, слушайте его, уж он обо мне наскажет.

Пили уже не первый самовар.

-- Слышали, как приезжал Гржебин? Желал со мной видиться? -- спросил Леонид Николаевич, протягивая руку к Анастасии Николаевне за следующим стаканом чая. -- Конечно, просил мне передать, что видеть его не желаю, но все-таки в убытке не остался. Вернул мне старый долг. -- Леонид Николаевич рассмеялся. -- Помните!..

Дело заключалось в том, что доверенное лицо издательства Горького, Зиновий Гржебин, три года назад выдал без ведома Леонида Николаевича на несколько тысяч векселей за подпись «Леонид Андреев». Леонид Николаевич с изумлением узнал об этой операции, когда векселя оказались опротестованными и ему пришлось по ним уплачивать. Это было для него тогда нелегко, но со свойственной ему тонкой иронией он только добродушно шутил над этим, и в банке дело с фальшивой подписью, конечно, замяли.

-- Он и Тихонов приезжали, от имени Горького, покупать мои сочинения для своего издательства. Конечно, ни в какие переговоры с ними не вступил.

-- Два миллиона предлагали, -- вставил кто-то из домашних. Леонид Николаевич недобровольно наморщился.

-- Я не желаю этого знать! «SOS» печатается\* и скоро выйдет, -- переменял он разговор. -- Нашелся человек, который ассигновал десять тысяч на то, чтобы перевести и по телеграфу послать эту вещь в Париж, в Лондон -- в газеты. Эти деньги положат

начало агитационному фонду, а он очень нужен, очень нужен. Большевики миллионами печатают и распространяют свои брошюры, листки, воззвания, переправляют их через все границы, стараются засыпать ими. Не дремлют и черносотенцы, уже не первый погромный листок выпускают здесь. А мы бессильны, нет настоящих людей, нет денег на агитацию, совсем не организована пропаганда. Все, кто читал «SOS», возлагают на него большие надежды. Думаю, что европейское общественное мнение не может не откликнуться, -- убежденно повторил он.

На мой вопрос о беллетристической работе Леонид Николаевич отвечал, что снова взялся теперь за временно прерванный «Дневник Сатаны»:

-- Не было настроения для беллетристики, не писалось. Чувствовал себя плохо, мешали работать постоянные головные боли.

Был уже шестой час вечера. Я напомнила Леониду Николаевичу, что он сегодня еще зван к знакомым на блины и не должен из-за меня опаздывать. Скоро опять увидимся.

-- Ну, как вы нашли Леонида? -- спрашивала меня тревожно Анастасия Николаевна, когда Леонид Николаевич вышел переодеваться. -- Правда, изменился, похудел? Если бы вы знали, как он много волнуется, как ему тяжело и как это плохо отражается на его сердце...

Я успокаивала ее, как могла, убеждала, что все это ей только кажется. Леонид Николаевич выглядит прекрасно. Но на самом деле это было не так.

### III

Август 1919 г.

**Т**олько осенью, в конце августа, мне пришлось снова увидеться с Леонидом Николаевичем.

Общие знакомые передавали, что он готовится к поездке в Лондон, Париж, может быть, Америку, думает прочитать там ряд лекций, ознакомить общественное мнение Европы и Америки со всеми ужасами большевизма. Хотелось поговорить с Леонидом Николаевичем перед его отъездом. Леонид Николаевич всегда любил море. Раньше, до войны, он по неделям жил на своей моторной лодке, предпринимая на ней довольно далекие путешествия. Эти поездки были его любимым летним отдыхом, укреплявшим его здоровье и нервы. Последние годы он был лишен этого. Дача, в которой это лето жили Андреевы, стояла на берегу, и сад спускался к самому морю. Леонид Николаевич еще отдыхал, когда я пришла, и Анастасия Николаевна и Анна Ильинична рассказывали о нем: мало ест, совсем перестал спать, только ненадолго днем ложится, недавно был обморок. А как волновался в июне, когда обстреливали Кронштадт. Да и теперь так сильно действует на нервы постоянная стрельба с моря из большевистских орудий. А по ночам тревожные лучи прожекторов по всему небу, аэропланы, сбрасывающие бомбы над Териоками и Тюрсовом. Из России известия о тысячах взятых большевиками заложников, о все на прекращающихся расстрелах. Вот в какой атмосфере жил все лето Леонид Николаевич. С каким-то из беженцев, месяца два назад, от сестры Риммы ему передали записку. Анастасия Николаевна заплакала.

-- Не знала сначала, что была записка, -- рассказывала она, -- но чувствовала, что-то случилось. Леонид был ужасно взволнован, шептался о чем-то с Аней, собирался в Выборг. Мне ничего не говорили. Леонид боялся за мое сердце. И вот недавно все-таки дозналась. Нашла записку. «Дорогой брат, -- писала Римма, -- спаси моих детей и меня от голодной смерти. Сделай все, что сможешь,

чтобы взять нас к себе. Умираем». -- Анастасия Николаевна говорила тихо, с перерывами, слезы мешали ей говорить. -- Утешал меня потом Леонид, по голове гладил: «Не плачь, мать, все сделаю, все устрою, не плачь». Показывал прошение, которое тогда же отправил в финляндский сенат с просьбой о разрешении въезда сестры с детьми. Хорошее такое прошение написал, душевное. Ответа еще нет. Ждем. -- Так и умер Леонид Николаевич, не дождавшись ответа на свое прошение. Вошел Леонид Николаевич. На этот раз его сильная худоба, глубоко запавшие печальные глаза, больной измученный вид и крайняя нервная напряженность бросались в глаза.

Перешли с балкона пить чай в комнату.

Последней новостью было внезапно обрвавшееся на днях в Ревеле Северо-Западное правительство. Леонид Николаевич говорил о нем с горечью. Обстановка, в какой сформировалось это «Русское правительство», по приказу английского генерала Марча, больно задевала национальное чувство Леонида Николаевича.

-- Эстония, Латвия, Карелия, их судьба всех беспокоит, -- заговорил Леонид Николаевич. -- А Россия? Ее судьба? Кто думает о ней? Кого она тревожит? -- Его глаза с настойчивым тяжелым вопросом обвели присутствующих. Лицо казалось сразу потемневшим, скорбным.

-- Здесь ничего не знают достоверно, -- прервал тягостное молчание Леонид Николаевич. -- Все слухи, часто противоречивые. Раз навсегда решил ничему не верить и все-таки однажды попался. В июне все говорили: «Петроград взят». Не верил. Вызывают к телефону из Выборга: «Кронштадт взят» -- не поверил. И так держался целых пять дней -- ничему не верил. Что случилось со мной потом, сам не понимаю. Приходит вдруг человек, заведомо мне известный враль, и сообщает: «Кронштадт взят, сам читал утром в штабе телеграмму». Я заколебался -- «сам видел в штабе телеграмму» -- и вдруг поверил. Заволновался, куда-то заспешил, стал обсуждать последствия взятия Кронштадта... Видеть этого человека с тех пор не могу. Не могу ему простить, -- добавил Леонид Николаевич, -- что несколько часов подряд был дураком по его милости.

Заговорили о предстоящем отъезде за границу.

-- Начал понемногу готовиться -- приводить в порядок заметки, бумаги, но когда поеду, еще наверно не знаю, -- сказал Леонид Николаевич. -- На днях буду в Гельсингфорсе, там окончательно решу. Возможно, что и отложу отъезд -- могут еще здесь понадобится мои силы. Если осуществится мой план широкой организации здесь антибольшевистской пропаганды, тогда, конечно, останусь. Буду работать здесь, раз представится возможность интересной и нужной работы. До сих пор ведь ничего не сделано в этом направлении. Возможно, что и теперь из-за различных трений ничего не выйдет. В ближайшие дни вопрос должен наконец решиться.

Речь шла о том, чтобы Леонид Николаевич стал во главе отдела пропаганды, организация которого предполагалась при Северо-Западной Армии, но встречала сильные препятствия в интригах различных кружков, группировавшихся вокруг генерала Юденича. Мысль эта очень увлекла и волновала Леонида Николаевича. Леонид Николаевич встал и, подойдя к столу у окна, стал разбирать лежавшую на нем груду газет.

-- Здесь подобран для вас комплект бур-

\*Речь идет о знаменитой статье Л. Н. «Спасите!»

цевского «Общего дела»\*. А, вот нашел его наконец! В последних номерах есть статьи Александринского\*\*. Как хорошо, что ему удалось бежать. Зимой, по вашим рассказам о нем, я на это не надеялся. -- И он передал мне пачку газет.

-- Жаль уезжать отсюда, а надо. Жаль моря, жаль широкого вида, -- глядя в окно, говорил Леонид Николаевич. -- В ясные дни весь тот берег виден отсюда. Красная Горка, Ораниенбаум, Сестрорецк\*\*\*. А Кронштадт, маяк, форты -- это хорошо видно и без бинокля. Когда горел Кронштадт, какое страшное зрелище это было. Видно было, как бушевал огонь и багровое зарево на той стороне не погасало больше суток. Страшное зрелище. Теперь, по ночам, отсюда со стороны моря прилетают к нам большевистские аэропланы. Между двумя и тремя часами ночи слышится отдаленное жужжание. Потом все громче, ближе -- наконец удары взрывов, несколько подряд. Потом гул моторов, постепенно удаляющийся, затихающий вдаль. Это -- каждую ночь прилетает отсюда смерть, летит низко, кажется, сейчас заденет крыльями за деревья -- запутается в них. Сделает свое дело и улетает, чтобы завтра опять в тот же час вернуться.

Темнело, и я стала прощаться. Леонид Николаевич вышел на балкон.

Он остановился в дверях в рамке окружавших балкон, уже по-осеннему пожелтевших кустов, на фоне расстилавшегося моря, с виднеющимися на горизонте туманными очертаниями берегов родины, такой близкой и в то же время бесконечно далекой -- тоскующий и скорбный образ изгнанника.

#### IV

Нейвола, 12 сентября 1919 г.

Уже убранный, с головой, высоко лежавшей на белых подушках, покрытый до шеи белой простыней лежал Леонид Николаевич. Не было горьких черт около рта, поперечная складка на лбу разгладилась, в откинутых густых черных волосах не выступала седина. Точно не было целого ряда лет, не было тяжелых мук последнего времени -- так помолодело его лицо. Красивое, спокойное и величавое, оно еще не казалось мертвым -- только глубокий, полный покой лежал на нем. Закрытые глаза отдыхали. Еще на столике, отодвинутом от кровати, стоял недопитый стакан с водой, рюмка с остатками лекарства, лежал раскрытый портсигар, брошена коробка спичек. Через спинку стула перекинуто было полотенце, на полу оставлен кувшин с водой. В этой комнате внезапно все остановилось, сразу застыло движение. На подзеркальнике туалета горела, без колпака, керосиновая лампа, и сбоку около нее, держа не коленах раскрытое Евангелие, уже сидела пожилая учительница и тихим ровным голосом читала. Леонид Николаевич скончался внезапно. Два часа назад родные думали еще, что он в глубоком обмороке, -- пытались привести его в чувство, ждали доктора. Но это был не обморок. Кровоизлияние в мозг -- предотвратить которое было невозможно, все средства от которого были бессильны,

\*"Общее дело" -- газета, выпускавшаяся В. Л. Бурцевым с 1917 г. в Петрограде, в 1920 -- 22 гг. -- в Париже; в ней печатались материалы, разоблачавшие разного рода политические интриги, провокации в русском освободительном движении. Речь идет о комплексе птероградских выпусков газет.

\*\*Г. А. Алексинский (1879 -- ?), видный деятель с.-д. движения; с 1917 г. -- меньшевик. Писал о денежной связи большевиков с германским правительством Вильгельма II Гогенцоллерна.

\*\*\*Невольная ошибка Иорданской: Красная Горка с Ораниенбаумом и Сестрорецк находятся на различных берегах залива.

оборвало его жизнь. Леонид Николаевич уже умер, когда приехал доктор, которому оставалось только написать свидетельство о смерти. Всего пять дней тому назад Андреевы переехали в этот дом. Постоянные налеты аэропланов в Тюрсева не давали покоя, лишали возможности работать. Домашние были в непрерывной тревоге. Здесь было дальше от границы, спокойнее и тише, хоть гул канонады с моря доносился и сюда. Здесь, в доме у своего старого знакомого драматурга Ф. Н. Фальковского\*, Леонид Николаевич думал прожить спокойно несколько недель до своего отъезда за границу, который он окончательно решил. Но это решение стоило Леониду Николаевичу очень дорого. Оно означало полное крушение его надежд стать во главе антибольшевистской агитации в Северо-Западной области. За те недолгие несколько дней, которые он пробыл здесь, Леонид Николаевич уже начал скучать без моря, жаловался своим на отсутствие привычного вида. И потому все ему не нравилось, раздражало. Из комнаты, которую он предназначил для своего рабочего кабинета, он велел вынести почти все, оставив только большой письменный стол и немного необходимой мебели. Все картины, драпировки, разные мелкие вещи и украшения просил убрать. И только когда комната приобрела просторный, строгий вид, он как будто остался ею доволен. Остальная квартира была устроена только отчасти, и еще не все домашние разместились в ней так, как предполагали. Вещи не были распакованы. В передней стояли забитые ящики, корзины, утробом привезенные из Тюрсева. На всем доме лежал отпечаток незаконченного переезда. Последние дни Леонид Николаевич был немного простужен и никуда не выходил. Накануне смерти ему стало лучше. Вечером он, Анна Ильинична и бабушка втроем играли в винт. За отсутствием четвертого партнера с болваном. Последняя запись на столе еще и сейчас не стерта. В день смерти Леонид Николаевич чувствовал себя совсем здоровым. Успокаивал и старался развеселить мать -- ей приснился нехороший сон, и она была этим расстроена. В три часа обедали. Ели, как всегда. За столом шутил с детьми, разговаривал с учительницей об их занятиях. Потом в четыре часа пошел в спальню отдохнуть. Рядом в кабинете Леонида Николаевича Анна Ильинична села переписывать его заметки. Она успела переписать всего только несколько строк, когда вдруг услышала его зов, показавшийся ей тревожным. Она бросилась в спальню. Леонид Николаевич сидел на постели и тяжело дышал. «Анна, мне нехорошо», -- успел он выговорить. Она

\*Ф. Н. Фальковский (1874 -- 1942), прозаик и драматург; автор воспоминаний об Андрееве: «Предсмертная трагедия» («Прожектор». 1923. N 16).

взяла лекарство и скорее стала отсчитывать капли. В это время Леонид Николаевич откинулся и упал навзничь. Чтобы влить лекарство, пришлось разжать ему рот, но несколько глотков он еще в состоянии был сделать. Дыхание было прерывистое и хриплое. Скорее послали на станцию за доктором. Вскоре появилась рвота, и как будто после этого стало лучше. Леонид Николаевич начал дышать ровнее но постепенно все тише и слабее, пока к шести часам дыхание не прекратилось совсем. Так ни на минуту за эти два последних часа не приходя в себя, без сознания, не простившись и ничего не сказав своим близким, родным, навсегда ушел от них Леонид Николаевич.

-- Там в Тюрсева каждую ночь над ним была смерть, -- говорила Анна Ильинична, -- здесь не ждали ее, и все-таки и сюда она пришла за ним...

Ночью, проходя через кабинет Леонида Николаевича, чтобы сменить уставшую учительницу, читавшую у него Евангелие, я остановилась перед пишущей машинкой. На ней еще оставался лист с теми строками из его заметок, на которых предсмертный зов Леонида Николаевича оборвал пере-

## В. В. Набоков

### Панихида

Сколько могил,  
Сколько могил,  
Ты жестока, Россия!  
Родина, родина, мы с упованьем,  
Сирые, верные, греем последним  
дыханьем  
Ноги твои ледяные.  
Хватит ли сил?  
Хватит ли сил?  
Ты давно ведь ослепла...  
В сумрачной церкви поют и рыдают.  
Нищие, сгорбась у входа, тебя называют  
Облаком черного пепла.  
Капают воск.  
Капают воск  
И на пальцах твердеет.  
Стонет старик, пред иконою смуглой  
Глухо молитву поют; звук тяжелый и  
круглый  
Катится, медлит, немеет...  
Капают воск,  
Капают воск,  
Как слеза за слезою.  
Плещет кадило пред мертвым, пред  
гробом.  
Родина, Родина! Ты исполненным  
сугробом  
Встала во мгле надо мною.  
Мрак обступил,  
Мрак обступил...  
Неужели возможно  
Верить еще? Да, мы верим, мы верим  
И оскорбленной мечтою грядущее  
мерим...  
Верим, но сердце -- тревожно.  
Сколько могил,  
Сколько могил,  
Ты жестока, Россия!  
Слышишь ли, видишь ли?  
Мы с упованьем,  
Сирые, верные -- греем последним  
дыханьем  
Ноги твои ледяные...

1919 г.

писку. Я прочла полные глубокой боли, безнадежные строки:

«Революция такой же малоудовлетворительный способ разрешать споры, как и война. Раз нельзя победить враждебную идею иначе, как разбить череп, в котором она заключена, раз нельзя усмирить враждебное сердце иначе, как проткнув его штыком, -- тогда, понятно, деритесь».

Утром нужно было принять решение относительно дня погребения Леонида Николаевича, озаботиться покупкой и доставкой гроба из Выборга, заняться теми неизбежными тяжелыми хлопотами, которые так мучительны для родных.

Выяснилось, что ни у кого из эмигрантов, живших в нашей деревне, не было от финляндского правительства разрешения на поездку в Выборг, а также необходимых на это денег. Выяснилось и то, что в распоряжении семьи покойного Леонида Николаевича оставалось всего сто марок. Те единственные сто марок, которые приехавший со станции доктор, после смерти Леонида Николаевича, отказался принять от вдовы за визит.

Это было все, чем располагала семья. Пришлось обратиться к жившему в другой деревне русскому эмигранту, имевшему пропуск в Выборг, с грустным поручением: найти среди знавших Леонида Николаевича богатых людей в Выборге необходимые на погребение средства.

На следующий день была панихида.

Появились цветы и венки из Выборга, с черными надписями на белых лентах, сделанные от руки чернилами. Все они были от частных лиц. Местные беженцы приносили гирлянды осенней зелени, букеты из поздних цветов. Их дети укладывали свои старательно сплетенные, наивные и трогательные детские веночки в ногах гроба. Вдова Леонида Николаевича не пожелала предавать его прах земле на чужбине, и временно, до погребения в родной земле, решили поставить гроб с его телом в маленькой часовне, в парке местной помещицы. О дне выноса не было широко известно. Необходимость разрешения на проезд сюда лишала многих возможности приехать. Таким образом случилось, что только очень немногочисленная группа провожала тело Леонида Николаевича из его дома до часовни. Не было никого из его близких друзей. Они, как и его братья, сестра, один из сыновей, были в России. Из людей старого литературного круга, давно знакомых с Леонидом Николаевичем, здесь было только несколько человек. Соседи, беженцы, обыватели со станции, знакомые последних двух лет, с которыми случайно свела Леонида Николаевича эмиграция, не имевшие ни прежде, ни теперь никакого отношения к русской литературе, -- все чуждые ему по духу -- люди, вот из кого состояла та кучка русских, которая шла за гробом Леонида Николаевича к месту его временного покоя.

Тяжелые проводы писателя, так любимого всей русской интеллигенцией, кого с таким восторгом всегда приветствовала русская молодежь, чьи книги можно было видеть в самом далеком углу нашей родины, -- проводы на чужбине.

Теперь, в чужой стране, в занесенной глубоким снегом маленькой часовне стоит гроб с его телом и ждет.

Ждет, когда Свободная Россия потребует его прах для достойной встречи, когда Родина, поняв и оценив его, даст вечный покой его телу и воздаст вечную и светлую память его творчеству и духу.

**"Р**одная Земля" -- название двух нью-йоркских сборников 1920-го и 1921 годов, перешедшее к ним от литературно-политического и научно-ежемесячника 1918 г., единожды вышедшего в Киеве и собранного под одной обложкой стихи и прозу Ив. Бунина, поэму М. Волошина «Протопоп Аввакум», статьи А. Бема, В. Гиппиуса, Н. Гудзия, В. Мякотина, других, стремившихся отстоять русскую культуру

чалом второй мировой войны: однако и между двумя мировыми войнами его положение -- одно из главенствующих. Любопытно, что русские издания появились за океаном раньше, нежели в Европе: в 1918 г. «Первое русское издательство в Америке» выпустило сборник рассказов, очерков, стихов и рисунков «Досуг», в 1918 -- 20 гг. вышло две «Книги смеха», в 1919-м -- «Сборник революционных песен». Программными, ценными изданиями были обе книги «Родной Земли» и сборники «Скорь земли родной», «Новая Россия» (оба

## РОДНАЯ ЗЕМЛЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ

от разрушения и гибели. Составителем нью-йоркских сборников был известный литературный деятель Тихон Иванович Полнер, на рубеже веков -- сотрудник и автор газеты «Курьер», журнала «Голос минувшего», др., в эмиграции -- один из руководителей парижского журнала «Голос минувшего на чужой стороне», где печатались ценные мемуары и исторические материалы.

«Родная Земля» попала вливный поток эмигрантских изданий, выходивших в центрах русской диаспоры и на ее перифериях. Назовем приблизительно количество изданий -- газет, журналов, альманахов, сборников, изданных на рубеже 10-х -- 20-х годов. Берлин -- первый центр культуры беженцев -- 13 (с 1922 г. -- еще 17 новых названий, в остальные годы десятилетия к ним прибавилось 15); Париж -- столица русского зарубежья -- 5. Среди них такие фундаментальные издания, как «Грядущая Россия», «Отечество», «Современные записки», а позднее -- «Версты», «Вестник РСХД», «Звено», «Голос минувшего на чужой стороне», др.; города бывшей Российской империи: Таллинн -- 4, Рига -- 3, Ковно -- 2, Юрьев -- 2; города стран, близлежащих к России: Прага -- 6 (в их числе «Воля России»), София -- 5, Варшава -- 4, Белград -- 3, Гельсингфорс -- 1; на севере Европы: Стокгольм -- 1; на юге: Галлиполи -- 2; интенсивно издания выходили в Азии: продуктивен оказался Харбин (9), за ним следовали Константинополь (7), Шанхай (6), Турция (1), даже африканский Тунис (1). Третьим центром культуры русского зарубежья Нью-Йорк окончательно становится с на-

в 1920 г.), «На чужбине» (1921). В 1922 г. сборники «В тени небоскребов» и «К новым горизонтам» открыли серию книг, издававшихся «Кружком пролетарских писателей в Северной Америке» (всего 7). В 20-е гг. появилось еще 12 новых названий.

«Родная Земля» -- 1-я была внутренне организована составителем чрезвычайно продуманно. Композиционными скрепами сборника Полнер сделал три стихотворения, посвященных России. Книгу открывал хорошо известный цикл стихов Ф. Сологуба 1903 г. «Гимны родине» (мы не печатаем их ввиду их широкой известности). «Гимны» послужили лирическим зачином к сборнику -- этому собранию песнопений, плачей, молитв, сатирических миниатюр и покаянных раздумий об отчизне в момент ее исторической трагедии. Серединное место в «Родной Земле» заняло стихотворение Н. Тэффи «Русь» -- «плач» матери-родины о погибших ее сыновьях. Завершает сборник «Панихида» Вл. Набокова (1899 -- 1977). Надежда Александровна Тэффи (наст. фамилия Бучинская, урожденная Лохвицкая (1872 -- 1952) прославилась как яркий сатирик в журнале «Сатирикон». Стихи ее известны относительно мало, хотя они отменно хороши. Оба стихотворения впервые напечатаны в «Родной Земле» (а «Панихида» еще и в первом номере парижского журнала «Грядущая Россия») и относительно малоизвестны. Вместе со «Словом о погибшей земле русской» Алексея Михайловича Ремизова (1877 -- 1957) они создают лирический тон сборника: высокой тревоги и благойной

скорби. Расположенное после стихов Сологуба «Слово...» Ремизова явилось ядром сборника: оно притягивало к себе остальной материал. Помещенное в «Родную Землю», оно вводило читателя в гущу идейной полемики рубежа 10-х -- 20-х гг., поскольку участвовало в большом контексте художественной литературы и публицистики, посвященной теме гибели России. «Слово...» отстаивало идеи единства России, опоры на веру и на веками сложившуюся государственную силу -- идеи древнерусских «молений», «житий», «слов», в том числе и того памятника XIII в., у которого Ремизов позаимствовал название: «Слово о погибели русской земли. Мы не печатаем «Слово...» в журнале, хотя «Родная Земля» выбрала его первую малоизвестную редакцию (октябрь 1917 г.), а не вторую (декабрь 1917), много раз перепечатавшуюся в наши дни.

За «Словом...» следуют прозаические миниатюры Александра Ивановича Куприна (1870 -- 1938) и Евгения Николаевича Чирикова (1864 -- 1932). «Последний из буржуев» -- маленький шедевр, по странному недоразумению никогда более не печатавшийся; написан в излюбленном писателем жанре притчи на тему пореволюционного будущего: после первой русской революции появилась притча-утопия «Тост», после революции «коммунистической» -- антиутопия «Последний из буржуев». В первой притче революция окружена ореолом справедливости, хотя последовавшая за ней жизнь названа пресной и скучной; во второй -- о благоденствии после победы революции говорится с едкой иронией, а большевистские устроители революции помещены в безжалостный смеховой мир.

Чириков -- прозаик круга горьковского «Знания». За связь с революционным подпольем и сочинение сатирической оды Александру III трижды арестовывался. Прославился повестью «Инвалиды». Не принял Октябрьской революции, резко разошелся с Горьким, в полемике с ним опубликовал брошюру «Смердяков русской революции» (София. 1921). В конце 10-х гг. печатался в изданиях Ростова-на-Дону. Там, в частности, вышла программная для творчества Чирикова «беседа с рабочим человеком» «О природе человека», в которой писатель доказывал невозможность осуществления коммуны в стране «фанатиков, жестоких эгоистов и жадных собственников, рабов», доказывал преступность «творимого большевиками гонения на церковь и религию»: оно посягло «на душу народную, на дух человеческий, на совесть народную... на свободу человеческой мысли и слова...» Там же, в еженедельнике истории, литературы и сатиры «Донская волна» 4 но-

ября 1918 г. был впервые опубликован «Матрос Басов» (после «Родной Земли») он нигде не перепечатывался). В эмиграции Чириков опубликовал более 10 книг. Наиболее известные из них -- «поэма страшных лет» «Зверь из бездны» (Прага. 1926), «записки беженца» «Мой роман» (Париж. 1927), «повесть страшных лет» «Красный палец» (Берлин. 1928), «повесть о любви» «Вечерний звон» (Белград. 1932). Л. Камышинов, автор вступительной статьи к нью-йоркскому изданию романа «Юность» (1955) писал: «На лекциях по русской литературе студенты Колумбийского университета знакомы с типом русского студента 80-х годов по произведениям Чирикова, а его рассказами американская молодежь, изучающая русский язык, увлекается по старым, сохранившимся в библиотеках, сборникам «Знания». Чирикова переводили на французский, немецкий, английский, славянские языки.

Во второй части сборника были помещены статьи -- «Большевики и интеллигенция» Михаила Ивановича Ростовцева (1870 -- 1952), «Национальность и культура» журналиста-социолога Дионео (псевдоним Исаака Владимировича Шкловского (1865 -- 1935), а также воспоминания Марии Карловны Куприной-Иорданской (1881 -- 1966) о последних днях жизни

Л.Н.Андреева. Весь раздел сборника фактологически актуален и по-хорошему концептуален. К сожалению, статью видного публициста, этносоциолога Дионео по внешним причинам пришлось опустить. Она освещает большой вопрос об отношениях между российской культурой и национально-политическими амбициями, грозящими культуре разрушением.

Академик истории и археологии М.И.Ростовцев, известный педагог Петербургского университета и Высших женских курсов, автор капитальных трудов по истории, культуре, искусству Боспорского и Скифских царств, принадлежал к культурно-исторической школе. Его имя всемирно известно в научных кругах. Видный общественный деятель, в 1918 -- 20 гг. Ростовцев возглавил антибольшевистский комитет в Лондоне; здесь написана статья для «Родной Земли» -- программное выступление ученого против «диктатуры пролетариата» в науке и искусстве: в ней корень уничтожения свободы -- источника культуры. В 1920 г. Ростовцев участвовал в создании Русской академической группы, в компетенцию которой на протяжении нескольких десятилетий входила организация науки и просвещения всех русских эмигрантов. Ростовцев был одним из инициаторов формирования Толстовского фонда (США,

1939), целью которого являлось всемерное охранение русской культуры, русского языка, православной веры и русских традиций. В журналах «Современные записки», «Русская мысль», «Русские записки», др. Ростовцев наряду с научными статьями печатал работы на общественно-политические темы.

Воспоминания М.К.Куприной-Иорданской, издательницы одного из демократических журналов России «Мир Божий», автора лучших воспоминаний о Куприне «Годы молодости», помимо их литературных достоинств обладают ценным качеством достоверности, что особенно важно для знакомства с последним -- трагическим -- отрезком жизни писателя, практически не изученным в науке.

Бунин видел «Миссию русской эмиграции» (доклад и статья 1924 г.) в отстаивании пошатнувшихся вечных духовных и нравственных основ человеческого существования, не сдаваясь никаким политическим соблазнам и окрикам. «Родная Земля» за четыре года до выступления Бунина взяла на себя эту миссию, чем заслужила право на внимание и память.

Л.Иезуитова

## БИЛЛЬ О ПРАВАХ

Первые десять поправок и дополнений к Конституции Соединенных Штатов Америки, предложенные Конгрессом и ратифицированные Законодательными Собраниями штатов

### Статья I

Конгресс не должен издавать законов, устанавливающих какую-либо религию или запрещающих ее свободное исповедание, ограничивающих свободу слова или печати или право народа мирно собираться и обращаться к Правительству с петициями о прекращении злоупотреблений.

### Статья II

Поскольку для безопасности свободного государства необходимо хорошо организованное народное ополчение, право народа хранить и носить оружие не подлежит ограничениям.

### Статья III

В мирное время ни один солдат не должен помещаться на постой в какой-либо дом без согласия его владельца; во время же войны это допускается только в порядке, установленном законом.

### Статья IV

Право народа на неприкосновенность личности, жилища, бумаг и имущества не может нарушаться необоснованными обысками или арестами, и ордера на обыск и арест не будут выдаваться без достаточных оснований, подтвержденных присягой или торжественным заявлением. Такие ордера должны содержать подробное описание места обыска, а также подлежащих аресту лиц или имущества.

### Статья V

Никто не должен привлекаться к ответственности за тяжкое или иное позорящее преступление иначе, как по постановлению или обвинению, вынесенному присяжными Большого Жюри, за исключением случаев возбуждения дел, касающихся состава сухопутных и морских сил либо народного ополчения, в период, когда последнее, в связи с войной или угрожающей обществу опасностью, находится на действительной службе; никто не должен дважды отвечать жизнью или телесной неприкосновенностью за одно и то же преступление; никто не должен принуждаться свидетельствовать против самого себя в уголовном деле; никто не должен лишаться жизни, свободы или имущества без законного судебного разбирательства; никакая частная собственность не должна отбираться для общественного пользования без справедливого вознаграждения.

### Статья VI

Во всех случаях уголовного преследования обвиняемый имеет право на скорый и публичный суд беспристрастных присяжных того же штата и округа, где было совершено преступление, причем этот округ должен быть заранее установлен законом; обвиняемый имеет право требовать, чтобы ему сообщили о характере и мотивах обвинения и дали очную ставку с показывающими против него свидетелями; обвиняемый может требовать принудительного вызова своих свидетелей и пользоваться помощью адвоката для защиты.

### Статья VII

По судебным делам, основанным на общем праве, с суммой иска, превышающей двадцать долларов, сохраняется право на суд присяжных, и факт, рассмотренный присяжными, не должен подвергаться пересмотру каким-либо судом Соединенных Штатов, иначе как на основе положений общего права.

### Статья VIII

Не должны требоваться непомерно большие залоги, взываться чрезмерные штрафы, налагаться жестокие и необычные наказания.

### Статья IX

Перечисление в Конституции определенных прав не должно толковаться как отрицание или умаление других прав, сохраняемых народом.

### Статья X

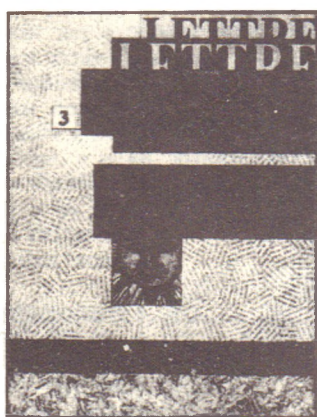
Полномочия, не предоставленные настоящей Конституцией Соединенным Штатам и пользование которыми не возбранено отдельными штатами, остаются за штатами или за народом.

**POUR LES ÉDITIONS DE  
Rome, Madrid, Berlin,  
Prague, Belgrade, Budapest, Zagreb,  
Saint Petersburg,  
EMBARQUEZ ICI AU MEME PRIX :  
200 Francs l'abonnement**

Offrez-vous ou offrez le plaisir de lire *Lettre internationale*  
dans la langue de votre choix.



**BELGRADE**



**PRAGUE**



**BERLIN**



**ZAGREB**



**BUDAPEST**



**ROME**



**MADRID**



**ST PETERSBOURG**



**BON DE COMMANDE**

à retourner avec votre règlement à *Lettre internationale*.

18 rue Saint Fiacre. 75002 Paris - Tél : 42.36.95.59 - Fax : 42.33.83.24

Cochez l'édition étrangère choisie :

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> BELGRADE | <input type="checkbox"/> BUDAPEST          |
| <input type="checkbox"/> PRAGUE   | <input type="checkbox"/> ROME              |
| <input type="checkbox"/> BERLIN   | <input type="checkbox"/> MADRID            |
| <input type="checkbox"/> ZAGREB   | <input type="checkbox"/> SAINT PETERSBOURG |

Nom \_\_\_\_\_  
Prénom \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
Code Postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_  
Pays \_\_\_\_\_ Profession \_\_\_\_\_  
Tél : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_

Montant de la commande : \_\_\_\_\_ fois 200 F = \_\_\_\_\_ FF TTC

Mode de règlement :  par chèque à l'ordre de Lettre internationale  
 par mandat postal : CCP Paris 812 559 X  
 par eurocheque

## КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА "ВСЕМИРНОЕ СЛОВО"-93

Подписаться на международный журнал "Всемирное слово" в Санкт-Петербурге и области можно во всех отделениях связи по местному каталогу. Стоимость годовой подписки на 1993 год (четыре номера) -- 112 рублей. Индекс журнала -- 78550. В других областях России и странах рублевой зоны СНГ подписка на "Всемирное слово" производится только по отрывному талону с последующей оплатой наложенным платежом почтовых расходов за пересылку журнала из Петербурга по адресу подписчика.

Для подписки необходимо:

1) Выслать почтовый перевод на сумму 112 рублей по адресу: 19000, Санкт-Петербург, Главпочтамт, расчетный счет: N 467117 в отделении 2 Астробанка, СПб. МФО субкор/счет 62000161025 кор/счет в ЦРКЦ ГУБ России по СПб. 41000161620, подписка на "Всемирное слово".

2) Заполнить помещенный ниже отрезной талон (доставочную карточку и абонемент) и с отметкой кассовой машины об оплате подписки отправить его письмом по адресу:

**191187, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная 18, редакция журнала "Всемирное слово".**

При оформлении подписки из кассовой машины на отрезном талоне проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи, а к талону прикладывается квитанция об оплате подписки.

Получив оплаченный отрезной талон, редакция вышлет подписчику абонемент с печатью "Всемирного слова", подтверждающий его право на получение четырех номеров журнала за 1993 год.

За рубежом подписка на "Всемирное слово" -- русский выпуск международного журнала (Леттр энтернасьональ) -- принимается на условиях, указанных на предыдущей странице по-французски. Стоимость годового комплекта "Всемирного слова" -- 200 французских франков.



Министерство связи	
<b>АБОНЕМЕНТ</b> на журнал <b>78550</b>	
<b>ВСЕМИРНОЕ СЛОВО</b> (Индекс издания)	
Количество комплектов	
на 1993 год по кварталам	
1	2
3	4
Куда	
(почтовый индекс) (адрес)	
Кому	
(фамилия, инициалы)	
ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА	
на журнал <b>78550</b>	
(Индекс издания)	
П В	место
гг	тер
<b>ВСЕМИРНОЕ СЛОВО</b>	
Стоимость	подписки
руб. коп.	руб. коп.
Количество комплектов	
на 1993 год по кварталам	
1	2
3	4
Куда	
(почтовый индекс) (адрес)	
Кому	
(фамилия, инициалы)	



**М**ещанин -- это взрослый человек, чьи интересы ограничены материальной, обыденной стороной жизни и чьи взгляды определяются набором банальностей и идеалами, привычными для его времени и круга. Я говорю «взрослый человек», потому что ребенок или подросток, похожий на маленького мещанина -- это всего лишь попугайчик, подражающий сложившемуся вульгарному поведению взрослых, поскольку легче быть попугаем, чем белой вороной. «Вульгарный» значит почти то же самое, что и «мещанский», однако упор в нем не столько

## РУССКИЕ АМЕРИКАНЦЫ

начеку, чтобы не позволять себе слишком увлекаться машинальным обменом готовыми фразами. В жаркий день каждый второй вас спрашивает: «Ну как, не замерзли?» -- но это не означает, что тот, кто так говорит, непременно мещанин. Может быть, он просто попугай или иностранец, все схватывающий на лету. Когда вы в ответ на «Как поживаете?» говорите «Ничего», это, возможно, и штамп, и даже не самый удачный, но если вы начнете подробно рассказывать о своем са-

## Владимир НАБОКОВ

как «Красота», «Любовь», «Природа», «Правда», и тому подобное в его устах становятся масками, фальшивками. Вы слышали, как говорит Чичиков в «Мертвых душах». Слышали Скимпола в «Холодном доме», Омэ в «Мадам Бовари». Мещанин любит, когда его что-то поражает, и сам любит производить впечатление, вследствие чего с его помощью и вокруг него выстраивается целый мир обмана и взаимного надувательства.

Мещанин в своем страстном стремлении соглашаться, принадлежать, присоединяться

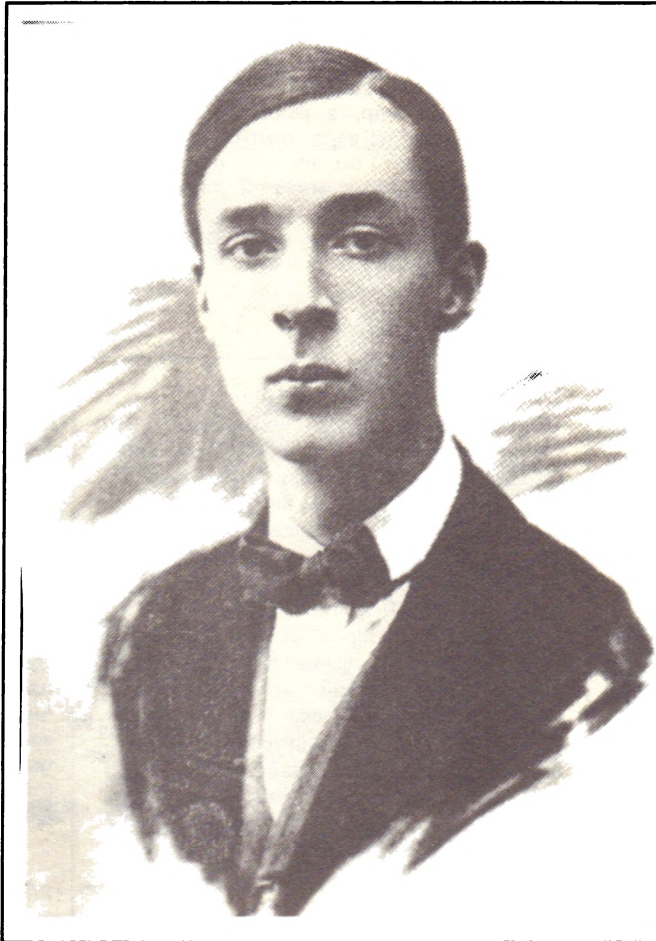
# МЕЩАНЕ И МЕЩАНСТВО

на банальность мещан, сколько на вульгарность некоторых принятых у них банальных идей. Сюда же можно добавить слова «жеманный» и «буржуазный». «Жеманный» предполагает ту кружевную утонченную вульгарность, которая хуже обыкновенной неотесанности. Рыгнуть в обществе, может, и грубо, но потом сказать «извиняюсь» -- жеманно, а это хуже, чем просто вульгарно. Слово «буржуазный» я использую в понимании Флобера, а не Маркса. «Буржуазность» по Флоберу обозначает состояние души, а не состояние кошелька. Буржуа -- это самодовольный мещанин, гордящийся своей вульгарностью.

Мещане вряд ли существовали в первобытном обществе, хотя, без сомнения, зачатки мещанства можно обнаружить даже и там. От чего не вообразить, например, людоеда, предпочитающего, чтобы человеческая голова, которую он ест, была искусно разукрашена, точно так же как американский мещанин предпочитает, чтобы апельсины ему подкрасили в оранжевый цвет, лосося -- в розовый, а виски -- в желтый. Но вообще говоря, мещанство предполагает все же достаточно высокую степень цивилизации, на которой куча традиций определенного рода, накопившаяся в течение веков, уже начинает пованивать.

Мещанство -- явление интернациональное. Оно есть у всех народов и во всех классах. Английский герцог может быть таким же мещанином, как американский член Ордена Святой Усыпальницы, французский бюрократ или гражданин страны Советов. Взгляды какого-нибудь Ленина, Сталина или Гитлера в отношении науки и искусства были абсолютно буржуазными. Чернорабочий или землекоп может быть ничуть не меньшим буржуа, чем банкир, домохозяйка или звезда Голливуда.

Мещанство предполагает не только набор банальных представлений, но и употребление стереотипных оборотов, клише, штампов, избитых выражений. Истинный мещанин тем и отличается, что целиком и полностью состоит из этих расхожих представлений. Конечно, следует признать, что у нас у всех есть свои штампы, и в обыденной жизни все мы пользуемся словами не как словами, а как знаками, формулами, монетами. Это не означает, что все мы мещане, но из этого следует, что все мы должны быть



мочувствием, вас могут счесть педантом или занудой. Бывает также, что люди пользуются банальностями как ширмой или чтобы таким образом избежать разговоров с дураками. Я знал больших ученых и поэтов, которые за столом опускались на уровень обыкновенной переборки фразами.

Итак, когда я говорю «самодовольная вульгарность», я имею в виду не тех, кто иногда бывает похож на мещан, но мещанина в полном смысле слова, жеманного буржуа, законченный широко распространенный тип, порожденный банальностью и посредственностью. Мещанин, как правило, конформист, то есть человек, который во всем соглашается со своим кругом, характерно для него и другое, он притворяется идеалистом, притворяется отзывчивым, притворяется умным. Настоящего мещанина всегда вырывает шарлатанство. Все великие слова, такие

обычно разрывается между двумя желаниями; поступать как все, восхищаться или пользоваться той или иной вещью, потому что так делают миллионы, или, напротив, мечтает входить в недоступный для других кружок, организацию, клуб, общество поддержки какого-нибудь отеля или океанского лайнера (где капитан весь в белом и хорошо кормят) и приходиться в восторг от мысли, что рядом с ним сидит сам глава корпорации или граф из Европы. Мещанин часто бывает снобом. Титулы и богатства приводят его в трепет. -- "Милый, представь себе, я только что разговаривала с герцогиней!"

Мещанин не знает и знать не хочет ничего об искусстве, включая литературу, суть его натуры -- антихудожественна, но он жаждет информации и приучен читать журналы. Он постоянный читатель «Стердей инвинг пост» и, читая, обычно отождествляет себя с героями. Читатель-мещанин видит себя обязательным руководителем или другой какой-нибудь крупной фигурой -- замкнутый, одинокий, а в душе -- мальчишка и любитель гольфа. Читательница-мещанка видит себя очаровательной белокурой секретаршей -- хрупкое создание, а в душе -- нежная мать, которая в конце концов и выходит замуж за своего мальчишистого начальника. Мещанин не отличает одного писателя от другого, вообще читает он мало и только то, что ему может понадобиться, -- это несколько не мешает ему быть членом клуба любителей книги и приобретать чудесные, чудесные книжки: мещанину из Симоны де Бовуар, Достоевского, Маркана, Сомерсета Моэма, «Доктора Живаго» и писателей Возрождения. Живописец он не особенно почитает, но ради престижа может повесить в гостиной репродукции портретов матерей Ван Гога или Уистлера, написанных соответствующим сыном, однако в глубине души предпочтет Нормана Рокуэлла.

Со своим пристрастием к полезному и материальным благам жизни мещане часто оказываются легкой добычей рекламного бизнеса. Реклама может быть и очень хорошей -- действительно бывает, что она сделана очень искусно -- дело не в этом. Дело в том, что она, как правило, взывает к чувству гордости, возникающему у мещанина, от обладания тем или иным предметом -- будь то белая мебель или нижнее белье. Я имею в

виду, например, такую рекламу: в дом привозят только что купленный радиоприемник или телевизор (или автомобиль, или холодильник, или столовое серебро -- годится все, что угодно). И так, покупку привозят в дом: мама, сжав руки, застыла от восторга, дети в нетерпении толпятся вокруг, малыш и собака тянутся к краю стола, на котором водружен Идол, даже бабушка, сияя всеми морщинками, выглядывает откуда-то сзади, а чуть в стороне, засунув довольным жестом большие пальцы под мышки жилета, стоит торжествующий папаша или папочка, сам Гордый Даритель. Маленькие мальчики и девочки на рекламах неизменно усыпаны веснушками, а у тех, кто помельче, еще и не хватает передних зубов. Я ничего не имею против веснушек (мне даже кажется, что живым людям они очень идут), и весьма вероятно, что специальное исследование может показать, что у большинства рожденных в Америке маленьких американцев на самом деле есть веснушки, или другое исследование обнаружит, что у всех преуспевающих руководителей и замечательных домохозяек были веснушки в детстве. Повторяю, я решительно ничего не имею против веснушек как таковых. Но я убежден, что в том, как их используют рекламные и прочие агенты, есть изрядная доля мещанства. Мне рассказывали, что если у мальчика-актера, который должен выступать по телевизору, веснушек маловато или совсем нет, ему на лицо прилаживают искусственные веснушки. Минимум двадцать две: по восемь на каждую щеку и еще шесть

на вздернутый носик. На картинках в комиксах веснушки обычно напоминают тяжелую форму сыпи. А в одной книжке они даже были похожи на маленькие кружочки. Но если у прелестных мальчуганов на рекламах волосы всегда светлые или рыжие и полно веснушек, то у красивых молодых людей на тех же рекламах волосы, как правило, темные и брови, непременно, темные и густые. Эволюция движется от шотландского типа к кельтскому.

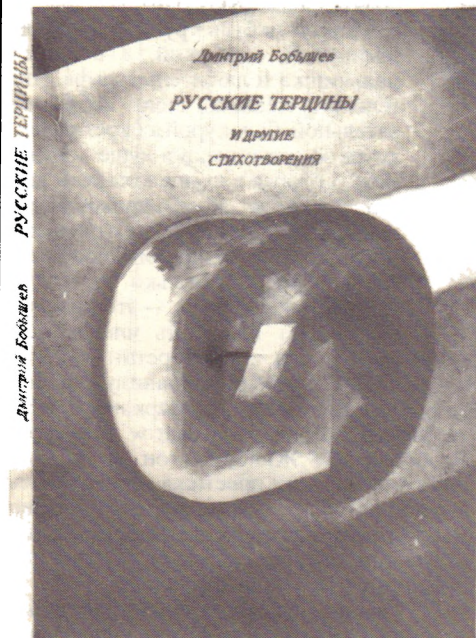
Дух мещанства исходит от рекламы так сильно не потому, что она преувеличивает (или вообще выдумывает) великолепие того или иного полезного предмета, а потому, что она внушает, что вершин человеческого счастья можно достичь за деньги и что покупка даже каким-то образом облагораживает покупателя. Конечно, мир, который она создает, довольно безобиден сам по себе, поскольку все знают, что его изобрели торговцы, рассчитывающие, что покупатели подыграют им в их игре. Занятно здесь не то, что это мир, в котором нет ничего одухотворенного, кроме ликующих улыбок людей, подающих или поедающих божественно вкусные каши, мир, в котором все человеческие чувства разыгрываются по буржуазным правилам, а то, что это подсобный, теневой мир, в реальное существование которого не верят в глубине души ни те, кто продают, ни те, кто покупают -- особенно в этой мудрой спокойной стране.

У русских есть или было специальное название для самодовольного мещанства --

пошлость. Пошлость -- это не только очевидная дрянь, но, главным образом, это то, что прикидывается важным, красивым, умным, привлекательным. Прилепленный к чему-либо смертельный ярлык пошлости означает не только эстетическую оценку, но и нравственное осуждение. Истинное, простое, хорошее никогда не бывает пошлым. Можно даже утверждать, что простой нецивилизованный человек почти никогда не бывает пошлым, поскольку пошлость предполагает налет цивилизации. Для того чтобы сделаться вульгарным, крестьянин должен уйти из деревни в город. Пошлость получается, когда честный кадык прячут под пестрым галстуком.

Очень может быть, что само слово, замечательно придуманное русскими, родилось благодаря культуре простоты и хорошего вкуса в старой России. Сегодняшняя Россия -- страна нравственных уродов, улыбающихся рабов и тиранов с каменными лицами, перестала замечать пошлость, потому что Советская Россия переполнена особой ее разновидностью: помесью деспотизма с псевдокультурой; но в прежние дни какой-нибудь Гоголь, Толстой или Чехов, занимаясь поисками простых истин, без труда распознавали вульгарную сторону жизни, равно как и дрянные псевдоинтеллектуальные построения. Но пошлость существует повсюду, в любой стране, как в Европе, так и в Америке, хотя, конечно, в Европе ее больше, несмотря на всю нашу американскую рекламу.

## НОВАЯ КНИГА



Дмитрий Бобышев.  
РУССКИЕ ТЕРЦИНЫ  
И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ  
Книгоиздательство "Всемирное слово"  
СПб., 1992, 112 с.

Получилось так, что мой первый стихотворный сборник "Зияние" вышел в Париже, в издательстве ИМКА-ПРЕСС незадолго до моего отъезда на Запад в 1979 году. А вторую книгу, которая давно была подготовлена, но не издана, неожиданно обогнала третья "Звери святого Антония", вышедшая с иллюстрациями М. Шемякина в 1989 году в Нью-Йорке.

Весь опыт пребывания на Западе за десятилетний промежуток, опыт поэтического "осваивания" новой жизни и осмысления моего российского прошлого вошел в эту вторую книгу, которую я назвал "Русские терцины и другие стихотворения". Композиционно она делится на три основные части. В первую вошли стихи, которые тематически можно объединить как воспоминания о родной стране и городе (их я всегда называл Россия и Санкт-Петербург) и как прощание с ними навсегда.

Третья часть посвящена реалиям и образам остального, открытого мира, -- главным образом, Европы и Америки: рекам и городам, которые я увидел глазами не вполне или не во всем западного человека, -- скорее, пришельца с иного, "того света". Некоторые стихотворения этой части, кстати, населены обитателями иных миров -- звездными кометами, ангелами и силами.

А середину сборника, его смысловое ядро, составляет как бы "книга в книге" -- собственно

"Русские терцины", единое произведение, состоящее из вступления и 90 специально изобретенных строф: терцинных десятистрочий. Терционная форма продиктовала деление этого объемного цикла на 3 главы, и, конечно, не случайно образ гоголевской тройки появляется уже во вступлении. Вообще все эти строфы посвящены феномену, который называется "русское", попытка осмыслить его разнообразие, порой неразрешимые и мучительные проблемы, глядя на явления как изнутри, так и извне, используя опыт западной жизни. Империя, моменты ее славы и бесславия, признаки агонии, загадки культуры и обихода, болезненные точки национального сознания и многие другие темы, связанные с Россией, составляют тезы и антитезы многоголосого спора мнений, содержащегося в каждой строфе. Спор не завершается окончательным

выводом, а почти всегда ему придается неожиданный поворот или новый ракурс. По существу, все произведение является умозрительным диалогом автора со своей страной, но одновременно это и психоанализ его русского "мы".



*Дмитрий Бобышев*

**Александра ТОЛСТАЯ**

Татиана Алексеевна Шауфус и я приходили в полное отчаяние.

Наконец, после долгих усилий, мы добились свидания с кардиналом Спелманом в Нью-Йорке, сделали ему подробный доклад об ужасах насильственной репатриации, о массовых самоубийствах, рассказали, что люди предпочитали смерть возвращению на родину.

Кардинал понял... Говорили, что он сейчас же после нашего разговора позвонил папе римскому, и вскоре -- случайно или нет -- в «Таймсе» появилась сильная статья папы

**С** чувством глубокого волнения, сознания ответственности и в интересах точности и правдивости описания и никогда не прекращающейся скорби и боли за нашу страдающую Родину и за всех тех, кто вынужден был ее покинуть, я принялась за этот, может быть, непосильный для меня, ответственный и тяжелый труд -- описание работы Толстовского фонда за 31 год его существования.

Только с Божией помощью и благодаря энергии Татианы Алексеевны Шауфус и жертвенной работе сотрудников, а также и

целую группу русских людей свезти на границу и выдать красным. Во главе охраны нашего транспорта грузовиков был молодой офицер. Можно представить себе наш страх и отчаяние, которые все увеличивались с приближением к советской границе.

Но вдруг, около леса, офицер, приказал грузовикам остановиться. Встав перед транспортом, он громко скомандовал: «Бегите». Мы сперва ничего не поняли. Куда бежать, почему, что случилось? «Бегите», -- снова командовал американец. Но мы заколебались. Мы не сразу поняли. Свобода? Не может быть. Неужели этот добросердечный человек решил нарушить приказ начальства? И, точно поняв нашу мысль и наши сомнения, офицер ласково улыбнулся и сно-

# НАШ ТОЛСТОВСКИЙ ФОНД

доброте наших жертвователей, Толстовский фонд смог достигнуть следующих результатов: перевезти в США (не считая других стран Европы и Южной Америки, где поселились беженцы) 23 000 беженцев, ушедших из России в поисках свободы; воссоединить путем розысков более 7000 семей; организовать в странах Европы, Южной Америки и США старческие дома для больных (Норсинг Хом) на 1200 русских престарелых.

Каким образом Толстовскому фонду, не имеющему никаких денег, удалось провести всю эту работу? Только благодаря сочувствию и жертвенности друзей и заинтересованности как русских, так и американцев, материально поддерживающих фонд. Но главное -- благодаря самоотверженности сотрудников Толстовского фонда -- и ответственных, и рядовых работников. Без этих друзей Толстовский фонд не смог бы существовать и оказывать помощь всем в ней нуждающимся. И мы, ответственные работники Толстовского фонда, приносим им глубокую благодарность за неоценимую помощь.

**Трудные годы**

Правительства США и Великобритании не понимали или не хотели понять, почему русские отказывались вернуться на родину. Не понимали, как в «мудром» Ялтинском постановлении они далеко ушли от истинного христианства, основных принципов своей конституции: свободы, любви к ближнему, уважения к человеку!

Понимали только молодые американские офицеры и солдаты. Они видели страдания русских беженцев, их стремление к свободе, к честной, трудовой жизни и, несмотря на жестокие, бессмысленные приказы людей, стоявших у власти, -- они помогали им. Они не могли гнать людей на мученичество, на смерть -- и пытались спасти их. Думаю, что в сердцах многих русских эмигрантов теплится глубокая благодарность к этим простым, добрым, неизвестным людям, понявшим страшную трагедию русского человека.

«Да, мы этого никогда не забудем, -- рассказывал один из русских беженцев. -- Я спасся чудом -- благодаря сердечности американского офицера. Дело было так. Был получен приказ от западного командования:



Л. Н. Толстой с дочерью Александрой

ва повторил: «Не теряйте золотого времени, спасайтесь, бегите». У многих наших офицеров были слезы на глазах. И мы бежали, мы были спасены».

То, что не могли или не хотели понять великие мира сего, прославленные государственные деятели, понял это незаметный, скромный и никому не известный офицер.

Руководители Толстовского фонда хорошо знали, что место их в Европе, что американские «социал воркерс», как бы хороши и опытны они ни были, не могли понять русских и их положение и найти способы помочь этим беженцам, потерявшим веру в людей, веру в государство, где они, вместо свободы, которую искали, нашли полное непонимание и нечеловеческую жестокость.

Но американские власти не пропускали работников Толстовского фонда в Европу.

о насильственной репатриации. Насильственная репатриация была отменена, но поздно... Погибли миллионы!

Великие мира сего, гордо провозглашавшие принципы свободы, защиты человеческих прав, -- Черчилль и Рузвельт, -- объединившись в Ялте с величайшим злодеем-опричником Сталиным, отдали на истязание и мученическую смерть два миллиона людей, искавших свободы!

Русские люди этого не забудут!

А советские агенты делали свое грязное дело, выискивая людей, стремившихся к свободе, предлагая, как за преступников, плату за каждую голову.

**Бельгия**

Массовая эмиграция в Бельгию на работы в шахтах началась в 1947 году. До этого так называемые ДиПи из Германии старались пробраться в Бельгию, желая как можно дальше отойти от советской зоны и от опасности быть репатрированными на родину.

В 1945 году они пользовались добродушием шоферов американских военных транспортов, циркулировавших между Германией и Бельгией, надеясь таким образом из Бельгии попасть в страну, которую они считали благословенной, -- Америку.

Бельгийцы принимали беженцев на работы в рудниках со специальным рабочим контрактом на два года и с обещанием, что по истечении этого срока они получают работу по специальности, в какой-либо другой области. Правда, к этому контракту было прибавлено «по возможности», так как можно было предвидеть, что после заключения мира из армии вернутся бельгийцы, которым надо будет предоставить работу в первую очередь.

В Бельгию завезено было около 12 тысяч русских беженцев. Некоторые из них еще называли себя поляками, украинцами и др. -- из-за страха насильственной репатриации.

Позднее, при содействии Толстовского фонда, около 7 тысяч эмигрировали в Канаду и Соединенные Штаты\*.

\*Все цифры, приведенные А. Л. Толстой, действительны только до 1952 года. После этой даты число русских, приехавших при содействии Т. Ф. в С.Штаты, значительно выше этих цифр. -- Ред.

С оплатой за транспорт беженцев произошло очень неприятное недоразумение. Беженцы в Бельгии подписали долговые обязательства Толстовскому фонду, и на этом основании им покупали билеты на пароходы, а позже -- на самолеты. Задолженность бельгийских беженцев составляла целый капитал. Но позднее ИРО согласилось оплачивать их транспорт -- и это создало громадные трудности для Толстовского фонда. Как объяснить Иванову, что он должен заплатить Толстовскому фонду деньги за переезд, в то время как Петров приехал бесплатно?

Как всегда, было много печальных и забавных историй. Так, например, один казак умолял нас не сажать его на аэроплан и соглашался ехать только на пароходе.

-- Почему вы упрямитесь? -- уговаривала его наша сотрудница. -- Если вы полетите вместе с женой и детьми, то через несколько часов будете уже в Америке, а пароходом плыть очень долго, да и укачает вас.

Но эти увещевания на него не действовали.

-- Барышня, гражданочка, -- умолял он нашу сотрудницу, -- ради Бога не убивайте нас.

И -- бух ей в ноги.

-- Слава Богу до Бельгии добрался, не дайте нам дальше погибнуть!

-- Какая же погибель? -- спрашивает сотрудница, не в силах поднять его с пола.

-- А вот какая погибель: на пароходе я увижу, если корабль в другую сторону повернет и направится к Ленинграду. А на самолете что заметишь? Утает тебя эта чертова машина -- и опять попадешь в прежний ад кромешный. Сделайте милость, гражданочка, уж отправьте нас пароходом, все будет покойней.

Так и отправили его морем.

Отношение к русским в Бельгии было прекрасное -- и как к союзникам во время войны, и как к хорошим, нетребовательным, неизбалованным и добросовестным работникам.

Бельгийцы сумели высказать свою благодарность бывшим шахтерам. Всем им дали бельгийское подданство, и до сих пор они получают всякие льготы.

Рудокопам было обещано, что через два года им дадут другую работу -- над землей. Но... на самом деле они проработали под землей четыре с половиной года!

### Европейская работа

В 1944 -- 45 гг. Толстовский фонд сделал попытку объединения с другими русскими организациями помощи. Хотели объединить правых монархистов, левых социалистов, беспартийных, проводили собрания, часами разговаривали, но окончилось это плачевно. Я заболела тромбофлебитом. Превозмогая боль в ноге, ездила на все собрания, пока болезнь не разыгралась всерьез и врач не уложил меня в постель. А затем, в 1946 году, на много месяцев попала в больницу Татиана Алексеевна -- с язвой желудка, воспалением легких и перитонитом. Она перенесла три тяжкие операции и пробыла в Рузвельтовском госпитале четыре с половиной месяца.

Мы убедились, что объединить рус-

ские организации невозможно. В сентябре 1947 года, когда Татиана Алексеевна совсем поправилась, она, наконец, добилась от Епископального комитета разрешения поехать на три месяца в Европу -- в качестве «гости», но без всяких прав и полномочий.

После разговора с главой Епископального комитета и с самоуверенной дамой -- типичной американской «социал воркер» -- мы испытывали тяжелое гнетущее чувство. Мы чувствовали себя бесправными просителями. Мы хотели помогать -- кому? Русские не пользовались ни уважением, ни пониманием. И с точки зрения Епископального комитета и выдрессированной «социал воркер», мы должны были

ное. Кругом столько горя, нужды, а помочь нечем! Не было ни денег, ни продовольствия. Когда она начала работать, в ее распоряжении были только два пакета КЭР\* и не было возможности нанять сотрудников.

Вот что писала Татиана Алексеевна в своем отчете о первых шагах ее работы в Европе:

«Я поехала за океан осенью 1947 г. на три месяца... Я чувствовала себя чем-то вроде слепого котенка, преисполненного только горячим желанием всю себя отдать делу, но... не знаящего, как и куда сунуться. В те дни слова «Россия» и «Восточное православие» не могли быть произнесены вслух -- о них говорили шепотом, таясь по углам...

От сентября 1947 г. и до июля 1949 г.

наш русский Комитет состоял из о. Лютова, Л. Сердаковского, беженца из Югославии, и меня. Три стола и три стула. Я не имела даже права вывесить на нашей двери название нашей организации -- Толстовского фонда. У нас не было «лица», не было его и у тех, кого мы должны были обслуживать.

А между тем отделение лютеран в "Черч Ворлд Сервис" дало следующие цифры: 85% православных беженцев, 15% протестантов.

Татиана Алексеевна попала под начало грубого, но, по существу, доброго американца, весьма мало знакомого с делами и положением русских беженцев.

Но постепенно своей исключительной энергией, терпением и выдержкой Татиана Алексеевна завоевала определенное место для общественной работы по оказанию помощи в Европе Толстовским фондом, который с годами получил репутацию международной организации. Но с каким трудом, с какими унижениями она добивалась простой справедливости, признания простых фактов!

Одной из первых, ценнейших сотрудниц Толстовского фонда, проработавшей у нас 16 лет, была Маргарита Бланкен -- правая рука Татианы Алексеевны по организации заграничной работы.

Небольшого роста, крепкая, энергичная, с решительным взглядом серых глаз, она совмещала в себе эстонскую аккуратность, четкость в работе и преданность русскому делу. Вместе с Татианой Алексеевной она не считала часов, работая за счет отдыха и нормального восьмичасового сна...

Из 20 000 беженцев около 6500 прошло через ферму, где они жили до тех пор, пока их не устраивали на работу. Вероятно, Толстовскому фонду не удалось бы проделать эту громадную работу без помощи Фордовского фонда, пожертвовавшего 55 долларов на устройство в США каждого беженца, -- всего 205 000 долларов.

### ДиПи едут в Америку

В конце 1947 г. Т. А. Шауфус не знала отдыха. С утра до поздней ночи она со своими сотрудниками регистрировала и опрашивала беженцев, желавших ехать в США.

-- Имя, фамилия, возраст? Откуда?

\*Организация, отправившая в Европу жертвам войны миллионы продовольственных посылок.



Л. Н. Толстой с семьей в яснополянском саду. Слева направо: Михаил, Лев Николаевич, Ванечка, Лев, Александра. 1892

испытывать глубокую благодарность, что нам оказана величайшая милость -- разрешено наблюдать, как помогают нашим соотечественникам.

Но наблюдать три месяца в качестве гости человеческие страдания своих, русских, потерявших все: родину, имущество, часто семью, бездомных, не ведающих сегодня, что готовит им завтрашний день, ютящихся в переполненных бараках, -- и при этом не иметь никаких прав и возможности оказать настоящую помощь -- такое положение не могло удовлетворить Татиану Алексеевну.

Только в конце 1947 года, получив благословение и мандат от митрополита Феофила, главы Американской Православной Церкви, Татиана Алексеевна выехала в Мюнхен в сопровождении о. Лютова. Миссия была сроком на три месяца, и ехала она в качестве гости протестантской организации "Черч Ворлд Сервис".

Первое время положение было отчаян-

-- Я старый эмигрант, мой отец -- бывший белый офицер.

Татьяна Алексеевна внимательно на него смотрит:

-- Вы хотите ехать в Америку?

-- Да, конечно...

-- Тогда говорите правду. Я хочу помочь вам, но я не смогу этого сделать, если вы будете мне лгать.

Юноша смущен. У него фальшивый паспорт... Но в конце концов, иногда со слезами на глазах, они рассказывали Татьяне Алексеевне свои печальные истории.

Был взят немцами на работу из Советской России... Там остались родители, невеста. Он уже отрекся от своей родины -- он теперь то ли поляк, то ли литовец...

Беженцы думали, что их судьба зависит от работников, которые занимаются их делами. Все трудности, осложнения, связанные с их отъездом в США, разумеется, были им совершенно неизвестны. Добрая воля, личные симпатии, а может быть, и личные выгоды -- только это, с их точки зрения, имело значение.

-- Если бы я брала взятки -- я была бы богатым человеком, -- смеясь рассказывала Татьяна Алексеевна. -- Помню, раз украинцы принесли мне свои работы -- вышитые полотенца. Ручная работа, но какая! Красота! Ну, я посмеялась. «Вы, -- говорю, -- сепаратисты, воюете с нами, а теперь подарки приносите». И, конечно, никаких полотенец не взяла.

-- А у меня так вся комната была бы завалена папиросами, если бы я брала взятки, -- рассказывала одна из сотрудниц Толстовского фонда.

И внушить им, что ускорить получение виз сотрудники не могли, -- было невозможно.

Бывали и трогательные случаи.

Перед Татьяной Алексеевной, понуря голову, стоял громадного роста, широкоплечий 16-летний юноша -- косая сажень в плечах. Он уже который раз приходил к Татьяне Алексеевне с просьбой перевезти его семью в США.

-- Я ничего не могу сделать, Борис...

В то время Толстовский фонд еще не работал в Европе и Татьяна Алексеевна сотрудничала с "Черч Ворлд Сервис". Но увидев печальные наивно-детские глаза мальчика, в которых сквозило отчаяние, Татьяна Алексеевна пожалела его. Она пошла к начальнику Ч.В.С. просить за юношу.

-- Борис, -- сказала она, вернувшись в канцелярию, -- вы едете в Америку, я получила...

Не успела она договорить, как могучие руки юноши подняли ее в воздух.

-- Пустите, пустите! -- послала Татьяна Алексеевна. -- Надорветесь...

Он поставил ее на пол и пулей вылетел из канцелярии.

-- Папа! Мама! -- кричал Борис во все горло. -- Ура! Ура! Едем! Едем в Америку!

Толстовский фонд регистрировал тысячи русских, то закрывая глаза на их «биографии», то выбирая удобный момент, чтобы послать эмигрантов в ИРО или к консулу для дачи показаний о внесенных в биографию неправильностях.

«Я пишу Вам только потому, что больше мне некому писать, а невыносимое уже ощущение себя в холодной пустоте чужой страны, без возможности получить какую-либо работу, -- неустанно толкает на поиски человеческого сочувствия. Но к кому же обратиться за человеческим чувством?» -- писала беженка из лагеря Кульбах.

А вот еще строки из письма: «...Бездельное существование в лагере сейчас уже убивает не только морально, но постепенно и физически».

Международной организации разрешалось по закону привозить из Германии, Австрии, Италии только тех беженцев, для которых удавалось найти работу и представить удостоверение об этом.

Большие организации: протестанты, католики, евреи -- давали задания своим многочисленным богатым приходам по всей Америке и легко находили работу для эмигрантов. Толстовскому фонду было трудно. Прихожане православных церквей в Америке, в большинстве карпатороссы и галичане, эмигрировали в Америку около 60 лет тому назад. Молодежь ничего не знала о России, забыла русский язык. Вопрос беженства их мало интересовал, поэтому на помощь церквей Толстовский фонд рассчитывать не мог. Пришлось беженцам самим искать работу на фабриках, заводах и фермах, куда Толстовский фонд их направлял прямо с парохода. Устраивать на работу тысячи беженцев оказалось делом нелегким.

Американцы стремились получить прислугу: кухарок, горничных, шоферов, садовников. Трудно было профессорам, ученым, врачам, техникам наниматься поварами, садовниками, шоферами, мыть машины и гаражи, а интеллигентным женщинам -- убирать квартиры, стирать. И при этом американцы платили скудно, а иногда предлагали беженцам только содержание.

«Но мы им даем чудное помещение с собственной ванной...» -- оправдывались такие работодатели.

Они не понимали, что после многих лет лишений, когда не на что было купить приличную одежду на смену пожертвованным старым тряпкам, приобрести обувь, вставить или подлечить зубы, -- люди испытывали настоящую нужду и их мало интересовали собственные ванны... Я вспоминала, как во время депрессии, когда я работала на своей маленькой куриной ферме, одна женщина, профессор крупного университета, желая избавить меня от тяжкого труда, предложила мне место: 15 долларов в месяц, комнату с ванной, питание и работу -- убирать комнаты за 7-ю рабочими, стирать на них, стелить им кровати, а по воскресеньям продавать мороженое на большой дороге... Профессорша не понимала, что чистить куриный навоз было гораздо приятнее, чем убирать чужую грязь.

Годы прошли, прежде чем русские люди выбылись и смогли отдать стране, их приютившей, свои знания в области медицины, философии, археологии, литературы и в других отраслях науки и профессиональной деятельности.

Беженцы учились языку, привыкали к особенностям американской жизни и специфике работы.

\*\*\*

<...>Заседание в "Америкен Каунсил оф Форен Ворк". Один из ответственных работников Государственного департамента делал доклад о ДиПи. Среди доклада он повернулся ко мне:

-- Я должен вас порадовать, -- сказал он и сообщил о какой-то льготе, которую провели для русских беженцев.

-- Давно пора что-то сделать для русских, -- ответила я, -- после всего того жестокого обращения, которое они видели со стороны союзного командования и УНРА.

-- Какое жестокое обращение?

-- Насильственная репатриация.

-- Какая насильственная репатриация? -- воскликнул чиновник Государственного департамента. -- Этого никогда не было!

Но несколько представителей из других организаций меня поддержали: такое распо-

ряжение от военного ведомства было. А правительственный чиновник, занимавший ответственный пост в Госдепартаменте и работавший с ДиПи в Германии, не знал об этом распоряжении!

Некоторое время спустя ко мне в контору приехал г-н Х. из Вашингтона и стал меня допрашивать, на каком основании я обвиняла чиновника, выступавшего на собрании организаций помощи, что он репатриировал ДиПи в Советскую Россию.

Я рассказала г-ну Х., что именно произошло на этом заседании Американских общественных организаций помощи беженцам.

-- И вы не обвиняли чиновника в насильственной репатриации?

-- Конечно, нет!

-- А у вас есть распоряжение военного ведомства УНРА о насильственной репатриации?

-- Есть!

-- Вы могли бы мне его дать?

-- Нет. Это единственный экземпляр.

Но он стал меня просить, обещал сейчас же вернуть обратно, снять фотостат, написать расписку...

Через несколько дней я действительно получила бумагу обратно. Но трудно поверить, что в архивах Вашингтона этой бумаги не было.

Можно привести много примеров полного неведения американцев -- даже в сенате -- в русском вопросе.

Весной 1949 года человек 250 эмигрантов, прошедших через бесконечное число всяких комиссий, подкомиссий, медицинских осмотров -- иногда более 16-и, на что мог уйти год и даже два, -- были посажены в поезд Мюнхен -- Берлин, чтобы дальше отправиться пароходом в Нью-Йорк. Все эти люди оставили свою работу, квартиры, даже часть вещей и с радостью, что они, наконец, едут в желанную, свободную Америку, ожидали отправки, как вдруг совершенно неожиданно, без объяснения причины, все 250 человек были сняты с поезда... Почему? На каком основании? Полетели телеграммы от Т. А. Шауфус в Нью-Йорк...

Выяснилось следующее: американские власти, узнав, что советские граждане были членами профсоюзов, МОПР, Осоавиахима и других подобных организаций, решили, что принадлежность к этим организациям доказывала принадлежность эмигрантов к коммунистической партии.

Я обращалась с заявлениями и протестами к сенаторам, конгрессменам. Опять участились поездки в Вашингтон. Стучала во многие двери, но ответа не получала... Слушают, но не слышат!

9 марта 1951 г. я выступила в сенатской комиссии по делам эмиграции в США. Очень волновалась, заранее подготовилась. Привожу часть своей речи:

«После окончания войны все те, кто предпочел свободу, стали жить в надежде, что им будет дана возможность переехать в какую-либо свободную страну, где они смогут начать честное, трудовое существование. Вместо этого они вынуждены были жить в атмосфере лжи, скрывая свое прошлое, как загнанные звери. В 1947 году им был дан статус ДиПи, и вот сейчас, в 1950 и 1951 годах, их отстраняют как опасный элемент. Пять с половиной лет нищеты, неизвестного будущего -- и постоянный страх! Бесчисленные допросы, анкеты -- и крушение всех надежд!

...Отстраняя, отбрасывая от себя бывших советских граждан, мы играем на руку советскому правительству».

Целую неделю директор Толстовского фонда м-р Тейлор и я провели в Вашингтоне, в кулуарах сената, стараясь доказать

отдельным сенаторам, что в Советском Союзе все без исключения граждане, имеющие работу, *обязаны* быть членами профсоюзов, МОПР, Осоавиахима и других организаций.

Наконец, с большим трудом я добила свидания с сенатором Маккарреном -- автором закона. Я остановила его в коридоре.

-- Я не могу с вами говорить, спешу в сенат...

-- Ненадолго, сенатор, мне очень нужно вам сказать...

-- Хорошо, три минуты -- не больше.

-- Сенатор, -- сказала я. -- Вы обязаны выслать меня из Соединенных Штатов.

Сенатор с недоумением глянул на меня.

-- Почему?

-- Я была членом профсоюза в Советской России.

-- Ну и что же... Вы... Вы... Кто? Вы родственница писателя?

-- Я -- дочь Льва Толстого.

-- Почему же вы должны быть высланы? Я не понимаю...

-- По вашему закону -- Walter MacCarran Bill -- бывшие члены профсоюзов и других советских организаций не могут иммигрировать в Америку. А я была членом профсоюза.

-- Я не подписывал такого законопроекта.

Но я показала ему заключенную в скобки фразу, из которой было ясно, что члены профсоюзов, МОПР и других советских организаций рассматриваются как коммунисты.

-- Это неправильное толкование моего закона.

-- Но что же теперь делать, сенатор?

-- Я внесу поправку в сенате -- это какое-то недоразумение.

И вот директор Толстовского фонда м-р Тейлор и я сидим на балконе в сенате, когда сенатор Маккаррен вносит поправку: выпустить слова о запрещении членам профсоюзов въезда в США... Несколько зачеркнутых слов -- и десятки тысяч людей получили возможность въехать в свободную страну -- Америку.

Страшное напряжение, беготня по коридорам, ловля сенаторов, а в мыслях -- тысячи людей, которых надо спасти. Нервы не выдержали: я разрыдалась.

-- Идем, идем... Здесь нельзя плакать... -- и наш милейший директор Тейлор отвел меня в гостиницу, откуда мы немедленно послали телеграмму Татиане Алексеевне в Мюнхен.

### Березовская болезнь

В своей докладной записке в Вашингтон от 25 сентября 1950 года Татиана Алексеевна Шауфус писала:

«Союзники признавали за балтийскими народами, за поляками, украинцами право распоряжаться своей судьбой и выбирать репатриацию или эмиграцию. Русские же передавались советским репатриационным офицерам».

Можно ли упрекать их в том, что они, желая считаться латышами, прибавляли «с» в конце своего имени (Давыдов -- Давыдовс), меняли фамилии и места рождения!

Вот, например, письмо из Германии:

«Я есть кубанский казак Шестаков Иван Андреевич, такой-то станицы. Но вот от 1945 года, когда нас с палачами отправляли насильно в Лиенце на родину, я стал Никитиным Ильей Ивановичем. Живу плохо, потому что здоровье забрали чекисты и 10 лет Беломорканала...»

По прибытии же в США тысячи, если не десятки тысяч, русских оказались в затруднительном положении: освободившись от страха репатриации и отойдя душевно от

всего, что было пережито под гнетом коммунизма, они всей душой хотели, наконец, ничего не скрывать, как приходилось скрывать многие годы в СССР и первые годы в эмиграции. Но... если раньше все жили под угрозой репатриации, то теперь над теми, кто приехал в США и дал о себе неправильные сведения при отъезде, висел дамоклов меч депортации. Причем депортации подлежали именно те лица, которые, прибыв в США, чистосердечно признались в своем «преступлении», заключавшемся в подделке документов, в результате чего получалось, что они родились не в Киеве или Москве, а где-то в Западной Украине или Латвии.

Толстовский фонд три года хлопотал о благополучном разрешении так называемой «березовской болезни», по имени поэта и писателя Родиона Березова. Он был одним из первых, кто подлежал депортации из США за неправильные сведения в анкетах о месте своего рождения и дачу ложных показаний. Репатриация Родиона Березова в СССР была назначена на 9 октября 1954 г.

Трудно себе представить, что американцы -- правительство и социальные работники -- в то время совершенно не понимали трагедии русских перебежчиков и не понимали, что, репатрируя их, они играют на руку коммунистам.

Зато беженцы знали, что их ожидает после возвращения в Советский Союз. Они знали, что в любом другом месте была хоть надежда на свободную и полезную жизнь. «Дома» ее быть не могло.

Только после того как эти люди переехали в США или в другие свободные заокеанские страны и прожили на свободе месяцы и даже годы, их страх стал понемногу слабеть. На смену ему пришло желание восстановить чувство собственного достоинства, дать правдивые данные о своем происхождении и только после этого принять гражданство страны, которую они полюбили и уважают и в которой рождаются и растут их дети. Как один из них сказал: «У меня не было никаких утрызаний совести, когда я спасал жизнь моей семьи и свою собственную и для этого скрыл свое советское происхождение. Но у меня столько уважения к американскому гражданству, что я могу получить его не иначе, как честно и открыто рассказав о себе правду».

Приблизительное число таких людей определялось в 20 000. Согласно общему закону, преобладающее большинство этих людей не были виновны ни в каком преступлении, кроме дачи под присягой неправильных сведений о себе, что они вынуждены были сделать в целях самозащиты.

Мне пришлось выступать по делу Петра Волковца, прибывшего в США в качестве ДиПи, но при заполнении документов сказавшего, что родился в Польше, а не в России, чтобы избежать принудительной репатриации. Это было первое дело, слушавшееся представителями Отдела иммиграции и натурализации в Чикаго. В дальнейшем дело должно было перейти в отдел Генерального прокурора, от которого зависела его дальнейшая судьба. Прокурор мог сам вынести решение по делу или же передать его на утверждение Конгресса.

Так как это было первое, «пробное» дело, то по нему собрали 500 страниц всяких документов, справок, заявлений и опросили большое число свидетелей.

Я была одним из таких свидетелей, вместе с о. Евгением Лызловым, в свое время прошедшим в Кемптене все ужасы принудительной репатриации. В своем выступлении, продолжавшемся больше часа, я старалась обрисовать всю историю «березовской болезни» и причины, которые заставили людей,

спасавших свою жизнь и жизнь семьи от выдачи советскому правительству... изменить некоторые биографические сведения.

Узаконение статуса иммигрантов, приехавших под фальшивыми именами и национальностями, было одним из самых трудных и тяжелых для нас дел, на которое работники Толстовского фонда потратили много сил и времени. И невольно напрашивается вопрос: зачем столько лишних волнений и страданий?

Нужно было дать разъяснения, что советские граждане, вступившие в коммунистические организации типа профсоюзов и добровольных обществ: МОПР, «Друг детей» и проч. под давлением или в силу необходимости получить работу, не должны рассматриваться как лица, представляющие собой коммунистическую опасность (1948 год).

Наиболее разительные случаи отказа во въезде в США активным и ярким антикоммунистам были приведены Татианой Алексеевной в приложении к общей докладной записке, поданной ею в комиссию по делам ДиПи в Вашингтоне.

К этой записке было приложено письмо Владыки Анастасия, обращенное к генералу Эйзенхауэру, и докладная записка одного советского экономиста относительно роли профсоюзов в общей системе советского строя, обязательности для каждого работающего быть членом по крайней мере одного из так называемых «добровольных» обществ, членство в которых выражалось исключительно в уплате взносов, что увеличивало бюджет правительства.

Люди не понимали, почему их боялся пустить в Америку.

И часто ярим антикоммунистам запрещался въезд в США. Тем самым Америка лишалась лучших людей и самых рьяных борцов за свободу и играла только на руку Советскому Союзу.

Политика американцев была для нас, русских, настолько неприемлема, что я даже записала в своем дневнике:

«Август 1945 г.

Будет ли Толстовский фонд существовать? Допустят ли те силы, которые сейчас правят миром, существование такой организации, как наша, хотя и небольшой, но заметной и сильной...»

В одной из докладных записок Татиана Алексеевна писала:

«...Запрещение въезда русским принимает в некоторых местах массовые размеры. Не успели беженцы из СССР оправиться от пережитого в связи с репатриацией, как над ними был занесен меч, повергший их в ужас».

Одной из целей акта 1948 года об иммиграции в США было дать жертвам нацизма право на устройство своей личной жизни в новой стране -- США. Добавление к закону 1950 г. распространило этот закон и на жертвы коммунизма.

Что же мы видим на практике?

Если закрывать дорогу в США тем, кто были членами профсоюзов, то ни один бывший советский гражданин не приедет в США. Эта политика будет на руку только Политбюро. И все затруднения происходят только оттого, что персонал консульств недостаточно понимает весь русский вопрос.

Я не призываю к снисхождению или либеральному пропуску нежелательных элементов в США! Я призываю только к правильному пониманию проблемы!»

28 августа 1952 года в докладной записке в подкомиссию беженцев и перебежчиков сенатской юридической комиссии Татиана Алексеевна подробно изложила положение беженцев.

Вся ситуация с русскими беженцами была совершенно ложно представлена публике, писала Т. А. Шауфус. Не 8 000 русских беженцев, а около 1 900 000 было передано, на основании Ялтинского соглашения, в руки советского правительства. Это одно из величайших преступлений против человеческих прав и принципов простой порядочности. В результате этого постановления тысячи людей, которых преследовали, как затравленных зверей, меняли свои национальности, подделывали документы или изготовляли фальшивые, иногда не без помощи наших союзных военных, когда они поняли, какой непосредственный ужас возбуждала в беженцах одна мысль о возможности быть репатрированными на родину.

Международные законы лишали их права получать материальную помощь в устройстве до конца декабря 1951 г. И некоторым дали право выезда только в феврале 1952 года.

Неправильное толкование Закона о внутренней безопасности некоторыми правительственными чиновниками, занимающимися беженцами и перебежчиками, продолжала Татяна Алексеевна, создало ряд недоразумений с людьми, которых мы обслуживаем и с которыми хотим быть в дружеских отношениях. Недоверие перешло в отчаяние -- прекрасная почва для антиамериканизма.

В конце доклада Т. А. Шауфус назвала число беженцев, нуждавшихся в разрешении на иммиграцию.

Из Германии, Австрии и Италии -- 55 000  
Из Шанхая -- 8 500  
Из Бельгии -- 2 500  
Из Триеста -- 2 000  
Из Ирана -- 1 500  
Из Индии, Кашмира -- 500  
С Ближнего Востока (большинство из них -- кавказцы) -- 1000  
Из европейских стран по закону 3(с) -- 12 000

По приблизительному подсчету -- от 35 до 40 тысяч беженцев.

Естественно, что работа Татианы Алексеевны не нравилась коммунистической власти. Тщательная слежка велась за ней за границей, где неустанно работали агенты ГПУ, незаметно ликвидируя своих врагов.

Клевета, пасквильные статьи в газетах, подозрительная поломка автомобиля ночью, во время посещения Татианой Алексеевной одного из лагерей.

-- Десять тысяч долларов предлагали мне, -- смущенно улыбаясь, рассказал Татяне Алексеевне преданный ей толстый, добродушный шофер, бывший советский гражданин. -- Ты, говорят они мне, едешь по горам Швейцарии, Италии. Спусти ее под обрыв. Десять тысяч заработаешь.

Георгий Овчинников -- Джордж, как его звали американцы, -- был до конца преданным другом Татианы Алексеевны. По каким только дорогам, в какие только часы дня и ночи он не возил ее по всем странам Европы, охраняя ее, помогая ей, никогда не тревожа ее сна, когда она, обессиленная, измученная долгими часами работы, зачастую ночной, засыпала в машине.

Опасная это была работа.

\*\*\*

Во время нашей работы с беженцами случалось много трогательных эпизодов. Часть из них уже позабыта, но некоторые еще живы в моей памяти. Особенно ярко вспоминаются дети и подростки -- сироты, оказавшиеся совсем одни на свете.

Помню одного мальчика лет 14-15-ти. Он встретился нам на пристани. На груди у него был плакат: «Я круглый сирота, приютите меня».

И мы приютили его. Мальчик несколько лет жил на ферме Толстовского фонда, получил образование, стал на ноги и уехал, насколько я помню, в Калифорнию. Сначала переписывался с нами, а затем письма стали приходить реже и реже...

\*\*\*

Когда Ваня приехал из Германии, ему было 17 лет. Он осиротел в 1941 г., когда был убит его отец. С 11-летнего возраста он жил у сестры, потом работал на кухне немецкой военной части. Его рабочий день начинался в 3-4 часа утра и кончался в 6-7 часов вечера, но и после этого его еще заставляли чистить обувь немецким офицерам.

В конце 1944 г. Ваня заболел. Во время обстрела Восточной Пруссии в колено ему попал осколок, и он несколько месяцев пролежал в больнице.

Все свое детство Ваня мечтал учиться, но это ему удавалось лишь урывками, и только в 1947 г., когда он попал в русский лагерь Фишбек, в Восточной Пруссии, он смог, наконец, закончить пять классов гимназии.

Оказавшись на ферме Толстовского фонда, Ваня немедленно поступил в Хай Скул. Учение давалось ему нелегко, главным образом, из-за незнания английского языка, но Ваня упорно стремился закончить образование. Хороший был юноша. За все время его пребывания на ферме на него не было ни одной жалобы, он был примерного поведения, помогал всем, кому мог, и был хорошим старшим товарищем для детей в лагере.

Была всегда какая-то серьезность, зрелость в этом юноше, в его кариш, немного грустных глазах. Уже в ранней молодости это был вполне сложившийся человек, наученный тяжелой жизнью, полной испытаний.

Годы шли. Ваня кончил Хай Скул. Чтобы заработать деньги на университет, он, живя на ферме Толстовского фонда, работал на соседней картонной фабрике. Заработав немного и заняв недостающую сумму у Студенческого фонда, Ваня поступил в штатный университет в Охайо. Еще учась и одновременно работая, он выплачивал долг Русскому студенческому фонду. Ваня кончил университет в 1961 году.

Он часто посещает приютивший его дом на ферме Толстовского фонда. С ним приезжают очень милая жена и двое детей. Он теперь инженер-металлург и хорошо зарабатывает.

\*\*\*

Помню еще один случай. Федя был сыном шахтера в одной из южных губерний России. Во время войны он попал в Германию и вместе с другими беженцами приехал в Америку. Английского языка он почти не знал, но очень скоро устроился санитаром в Нафакскую больницу, по соседству. Днем работал, вечером учился.

Небольшого роста, живой, с умными кариши, все понимающими и наблюдательными глазами, с открытым славным лицом, Федя очень скоро стал общим любимцем. Больные в госпитале полюбили его и помогали ему учить английский язык. У Феде была необыкновенная память. Больные ему писали под номерами сто существительных на листочке бумаги, он прочитывал их раз и затем, когда ему называли какой-нибудь номер, говорил, какой предмет записан под этим номером.

Работая в больнице, Федя посещал вечерние курсы, сдал экзамены за курс Хай Скул и пошел на военную службу.

К сожалению, в наше время очень мало молодежи, которая не стремится походить на

всех. Мы часто слышим от юношей или девушек, когда они делают не то, что нужно: «Все так поступают». Федя никогда не поддавался под влияние товарищей, -- наоборот, он имел большое влияние на молодых людей, с которыми общался. В военном бараке он задался целью отучить ребят от сквернословия. «Представьте себе, -- рассказывал он мне, весело улыбаясь и сверкая глазами, -- наш барак был единственным, где перестали ругаться. И прекрасно».

Он рассказывал, как отучился курить. «Трудно было, пришлось над собой поработать, но все-таки отвык, и... прекрасно». Все в жизни для него было прекрасно. Он любил людей, и все окружающие любили его.

Я как-то читала лекцию в штатном университете в Иллинойсе, где учился Федя. Он сидел в первом ряду и после лекции задал мне ряд вопросов. Затем мы с ним были приглашены на чашку чая к одному из профессоров, где собрались все преподаватели факультета. Федя никогда не бывал в профессорском обществе и немного робел. «Ничего, -- учила я его, -- когда входит дама -- вставайте. Никогда первый не подавайте руку...» И Федя вел себя как настоящий джентльмен. Не успела я оглянуться, как все внимание профессоров сосредоточилось на нем. Я отдыхала. Федя демонстрировал свою исключительную способность запомнить сто слов, а затем профессор спрашивали его о Советской России, о нужде простого народа, жестокости Советов, репрессиях. Это была вторая лекция в этот вечер, пожалуй, интереснее моей.

Мне жаль, что я не вижу больше Феде, этого умного, сильного, много испытавшего, самовоспитавшегося силою своей воли человека.

Знаю, что он живет где-то на западе. Изредка присылал мне поздравления к Рождеству, и я узнала, что он уже имеет семью, работает инженером и очень счастлив.

Иногда бывает грустно, что люди, судьба которых была так близка нам, работникам Толстовского фонда, -- бесследно исчезают, уходят из нашей жизни. Но как сохранить с ними связь? Их были тысячи...

\*\*\*

Главная работа Т. А. Шауфус проходила в Европе, но два раза в год она приезжала в США, останавливалась в крошечной комнатке старого флигеля, где жила наверху Ксения Андреевна Родзянко, а в нижней большой комнате с террасой жила я.

Иногда мы ездили по Америке, стараясь заинтересовать американцев и русских работой Толстовского фонда.

В конце 40-х годов были созданы комитеты Толстовского фонда в нескольких больших городах: в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Детройте, Чикаго, Далласе. Во все эти комитеты вошли не только видные американцы, но и русские -- старожилы этих городов. К несчастью, как только мы перестали посещать эти города -- работа прекращалась, а в отсутствие Татианы Алексеевны я не имела времени часто бывать там. С годами работа замерла. Конторы распались.

В один из наших приездов в Лос-Анджелес русские устроили собрание, на котором Татяна Алексеевна и я выступали с докладами о деятельности Толстовского фонда. Зал был переполнен. Слушали внимательно, многие из публики весело улыбаясь и знаками приветствовали Татиану Алексеевну. Это были эмигранты, которых она интервьюировала в Европе и которым помогла приехать в США.

В своих докладах мы коснулись необходимости создать дома для русских престарелых. Незаметно пролетали годы. После многих тяжелых испытаний и болезней люди теряли силы, подкрадывалась одинокая старость на чужбине -- без языка, часто без родных... Но как привести это дело в исполнение? Откуда взять средства, чтобы построить дома для престарелых?

Когда мы кончили доклады и публика стала задавать вопросы, на эстраду вышел мужчина средних лет. Я заметила, что у него действовала только правая рука, а левая безжизненно болталась.

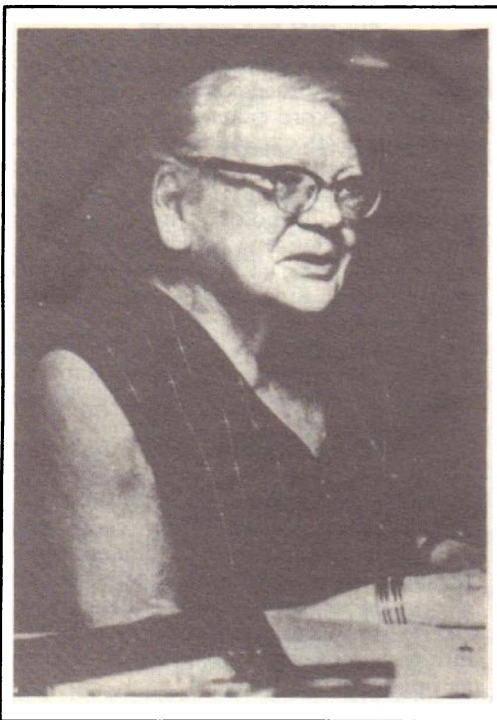
-- Вот мы выслушали доклады Александры Львовны и Татианы Алексеевны Шауфус. Они нам сказали, что необходимо позаботиться о наших стариках и организовать дома для престарелых, -- обратился он к собранию, жестикулируя здоровой рукой. -- Сколько нас, русских, в Америке? Больше миллиона. Давайте урезать себя в курении на две пачки папирос в месяц (тогда папиросы стоили 25 центов пачка) и посылать стоимость двух пачек -- 50 центов в месяц -- на постройку дома для престарелых!

Он говорил с убеждением, горячо, а когда кончил -- на эстраду один за другим начали подниматься люди и на стол посыпались деньги. Это был первый сбор на дом престарелых.

Приехав в Нью-Йорк, мы описали в газетах все, что происходило в Лос-Анджелесе, и просили русских людей последовать примеру калифорнийцев и жертвовать 50 центов в месяц на дом для престарелых. Толстовский фонд собирал эти деньги несколько лет. Добрые и отзывчивые люди, в громадном большинстве небогатые, скромно зарабатывающие на жизнь, присылали свои пожертвования. И за несколько лет набралась внушительная сумма в 58 000 долларов! Эта сумма и дала возможность начать постройку дома N 1, который уже функционирует много лет. Дом всегда переполнен, и обычно 15-16 престарелых ожидают очереди, чтобы попасть в него.

Вскоре после первого дома был открыт дом N 2, переделанный из офицерской столовой, которую перевезли из Оранжбурга, -- там во время войны стояла большая военная часть. В нем помещается 20 престарелых.

Как-то Толстой сказал: «Чем больше делаешь, тем больше у тебя времени». Когда люди нечего не делают или делают «ничего», как выразился Толстой, -- им всегда некогда.



## ДОЧЬ, ДОСТОЙНАЯ ОТЦА

Ранней весной 1939 года в Нью-Йорке в квартире последнего посла дореволюционной России в США состоялось первое организационное собрание учредителей Толстовского фонда. В числе собравшихся были: композитор С. В. Рахманинов, графиня С. В. Панина, американский врач Колтон, профессор М. А. Ростовцев, юрист И. М. Гревс, активная деятельница Международного Красного Креста Т. А. Шауфус и Александра Львовна Толстая -- младшая дочь великого русского писателя, оказавшаяся в эмиграции. В 1939 году, к началу второй мировой войны, Александре Львовне уже исполнилось 55 лет, но она была еще полна сил и возглавила дело, ставшее главным в ее жизни. А жизнь она прожила долгую, необыкновенную, можно даже сказать -- фантастическую, под стать своему невероятному веку.

В семье Толстых дочь Саши была на особом счету: отношения с матерью у нее с детства не ладилась. Софья Андреевна жаловалась в дневнике, что характер семилетней дочери «относительно окружающего делается невыносим, она даже бьет гувернантку», что она «груба, дика, упряма, измучила...». Саши любила возиться с собаками, охотно участвовала в полевых работах и играх с крестьянскими детьми, с шести лет научилась скакать верхом на коне по окрестностям Ясной Поляны. И вообще очень отличалась от благовоспитанных и жеманных барышень своего круга.

Уже в отрочестве Саши испытала сильное духовное влияние отца и стала его ближайшей помощницей в делах литературных и благотворительных. Переписки толстовских рукописей, машинописи и стенограммы с 1901 года стали ее постоянным и любимым занятием. Александра Львовна была единственной в семье, кому Лев Николаевич доверил тайну своего ухода из Ясной Поляны 28 октября 1910 года.

После смерти Толстого Александра Львовна участвовала вместе с В. Г. Чертковым в издании «Посмертных художественных произведений Л. Н. Толстого» (1911). На деньги, вырученные от этого издания, она выкупила у семьи земли возле Ясной Поляны и бесплатно передала их крестьянам, выполнив тем самым одно из давних желаний Льва Николаевича.

Годы после смерти отца до начала первой мировой войны Александра Львовна назвала самыми тяжелыми в своей жизни. Она разочаровалась в «толстовцах», разошлась с Чертковым, испытала чувство долгой тоски и одиночества. С первых дней объявления войны 1914 года решила пойти на фронт сестрой милосердия. В качестве уполномоченной Всероссийского Земского союза А. Л. Толстая начала свою службу в санитарном поезде на Северо-Западном фронте. Здесь она впервые близко увидела кровь, страдания, смерть и жажду жизни обездоленных войной людей.

Переведенная на Турецкий фронт, А. Л. Толстая возглавила там 7-й передовой санитарный отряд Всероссийского Земского союза. В Турецкой Армении ей пришлось участвовать в тяжелейших переходах на лошадях по горным дорогам и тропам, спасать в лазаретах тифозных больных, которые сотнями умирали от эпидемии сыпняка. На Западном фронте в 1916 году А. Л. Толстая участвовала в организации школ-столовых для голодающих сирот. Потом ей поручили организовать госпиталь на 400 коек и развернуть подвижной санитарный отряд с тремя лётчиками и базой. Здесь, на Западном фронте, Александра Львовна попала под немецкую газовую атаку и пережила серьезное отравление, едва не стоившее ей жизни. В декабре 1917 года тридцатитрехлетняя А. Л. Толстая вернулась в Яс-

ную Поляну в звании полковника русской армии с тремя Георгиевскими крестами, которыми она была награждена за отвагу и верность своему человеческому и гражданскому долгу. Война для нее закончилась, но главные испытания судьбы были впереди.

После революции Александра Львовна продолжила свои занятия в Румянцевском музее по изданию сочинений Толстого. В музее хранились рукописи всех толстовских произведений, написанных до 1880 года. В редакционной работе по проверке и подготовке этих рукописей к печати участвовали Т. И. Полнер, профессор А. Е. Грузинский, академик В. И. Срезневский, приезжавший в Москву из Петрограда. Работать приходилось в холодных, неотапливаемых комнатах, в стужу и голод, надвинувшиеся на Москву.

В марте 1920 года А. Л. Толстая была арестована по делу так называемого «Тактического центра». Ее обвинили в содействии контрреволюционной организации, которая якобы ставила своей целью свержение советской власти. На самом деле А. Л. Толстая к политической организации не имела ни малейшего отношения, но дважды ставила кипящий самовар для кормления московских интеллигентов, обсуждавших в помещении Толстовского товарищества политические вопросы. Допрашивал дочь Толстого один из высокопоставленных сотрудников ВЧК Агранов. Ответить на какие-либо вопросы Александра Львовна отказалась. Два месяца она провела в тюрьме на Лубянке, а затем была временно освобождена до суда. Перед выходом из камеры громадными буквами по всей стене она написала: «Дух человеческий свободен! Его нельзя ограничить ничем: ни стенами, ни решеткой!»

Обвинительное заключение на процессе поддерживал прокурор республики Крыленко. По приговору суда четверо главных обвиняемых были расстреляны, прочие привлеченные по делу получили разные сроки лишения свободы; дочь Толстого приговорена к трем годам заключения в концентрационном лагере, размещенном в Новоспасском монастыре на окраине Москвы. Ужасные условия содержания в тюрьме и в лагере, физические и духовные муки, испытанные в заключении, Александра Львовна с большой силой описала потом в своих воспоминаниях, обнаружив незаурядный литературный талант, унаследованный от Толстого.

Два раза Верховный трибунал республики отказал А. Л. Толстой в амнистии, и 6 декабря 1920 года она написала письмо В. И. Ленину, в котором, в частности, заявила:

«Мой отец, взглядов которого я придерживаюсь, открыто обличал царское правительство и все же даже тогда оставался свободным, я постольку поскольку кто-либо интересуется моими взглядами -- не скрываю, что я не сторонница большевизма, я высказала свои взгляды открыто и прямо на суде, но я никогда не выступала и не выступлю активно против советского правительства, никогда не занималась политикой и ни в каких партиях не состояла. Что же дает право советскому правительству запереть меня в 4 стены как вредное животное, лишая меня возможности работать с народом и для народа, который для меня дороже всего? Неужели этот факт, что 2 года тому назад на моей квартире происходили собрания, названия и цели которых я даже не знала, дает это право? Я узнала только на допросе, что это были заседания Тактического центра. Владимир Ильич! Если я вредна России, вышлите меня за границу. Если я вредна и там, то, признавая право одного человека лишать жизни другого, расстреляйте меня как вредного члена Советской республики. Но не заставляйте же меня влечь жизнь паразита, запертого



Александра ТОЛСТАЯ

ВРЕМЯ  
МОСКВА «КНИГА» 1992  
СУДЬБЫ

ДОЧЬ

в 4-х стенах с проститутками, воровками, бандитками» (Цит. по ст.: С. А. Розанова. Путь тернистый и мужественный. В кн.: Александра Толстая. Дочь. М., АО «Книга и бизнес», 1992, с. 9--10).

В архиве остался лишь черновик приведенного письма, и неизвестно, было ли оно отправлено по назначению, получено и прочитано адресатом в Кремле. Прямого отклика на письмо А. Л. Толстой не последовало, и только летом 1921 года по общей амнистии, при ходатайстве А. М. Коллонтай перед ВЦИКом, Александра Толстая была выпущена из лагеря.

До конца 1920-х годов А. Л. Толстая вела деятельную работу по сохранению Музея-усадеб Ясной Поляны, с 1925 года после отъезда старшей сестры Татьяны Львовны за границу стала директором Музея Л. Н. Толстого в Москве, принимала живейшее участие в подготовке 90-томного (Юбилейного) Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предпринятого в связи со 100-летием со дня рождения великого писателя. В эти же годы А. Л. Толстая не раз выступала ходатаем по делам репрессированных -- она напрямую обращалась к М. И. Калинину, А. В. Луначарскому, В. Р. Менжинскому с просьбами о помиловании или смягчении участи политических заключенных. В 1928 году А. Л. Толстую по ее просьбе принял И. В. Сталин -- речь шла о подготовке Всесоюзного толстовского юбилея 1928 года, и власти были заинтересованы по возможности «сохранить лицо». «Толстой, толстовские учреждения были ему безразличны, -- заметила А. Л. Толстая, описывая свой визит к Сталину. -- Большевики смотрели на этот юбилей как на средство пропаганды за границей и думали о том, как бы им отделаться от этого подешевле».

А. Л. Толстая правильно оценила укрепление сталинского режима и жесточеские сталинской репрессивной политики как новое великое бедствие для страны, да и для себя лично: «Во мне росло убеждение,

что дальше я бороться не в силах и не в силах больше притворяться, лгать, лучше тюрьма, ссылка, даже смерть!»

Летом 1929 года А. Л. Толстая добилась официального разрешения выехать в Японию по приглашению для чтения лекций о своем отце. Из Японии она уехала в Америку, приняв тяжелое решение не возвращаться в Россию. При въезде на территорию США в 1931 году она отказалась принять американское гражданство. Сделать это ее побудили обстоятельства лишь десять лет спустя, в 1941 году, тогда же она отказалась от графского титула. Америка стала вторым отечеством Александры Толстой, при том что она никогда не забывала о первом, где покоился прах ее отца.

За границей Александра Львовна читала лекции, много сил отдавала работе на ферме, продолжила свои литературные труды, написала книгу воспоминаний и выпустила на английском языке серьезное биографическое исследование «Жизнь с отцом» -- эта книга была переиздана затем по-русски под названием «Отец. Жизнь Толстого». В конце 1932 года до нее дошло известие из России о расстреле 1200 каза-

ков, восставших против насильственной коллективизации на Кубани. Еще 45 000 «раскулаченных» казаков вместе с семьями тогда же были высланы в гиблые глухие места на Север. Эти и другие злодеяния большевистского режима побудили А. Л. Толстую написать статью «Не могу молчать!», повторившую не только название, но и нравственный пафос знаменитой публицистической статьи Льва Толстого против смертной казни.

Знакомая не понаслышке с жестокостью тоталитарного советского государства, обреченного после революции на страдания и гибель миллионы людей, А. Л. Толстая до конца жизни продолжала общественно-благотворительную и публицистическую деятельность в духе заветов своего отца, считавшего необходимым активно сопротивляться злу всеми средствами, кроме насилия. Именно в этом ключе следует рассматривать и гуманную деятельность Толстовского фонда, зарегистрированного в штате Нью-Йорк 15 апреля 1939 года в качестве «Комитета помощи всем русским, нуждающимся в ней». После окончания второй мировой войны, когда трагедия перемещенных лиц, насильственно угнанных из СССР армией Гитлера или бежавших из его пределов в страхе перед армией Сталина, стала трагедией миллионов людей, оказавшихся без родины, деятельность Толстовского фонда, направленная на помощь этим людям, приобрела международную, можно даже сказать, -- всемирную значимость. Филиалы Фонда оказывали помощь нуждающимся в ней беженцам в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке. Созданный исключительно энтузиазмом частных лиц и на частные пожертвования, поставивший интересы и права человека выше политических интересов и выгоды кого бы то ни было, Толстовский фонд за сорок лет работы сделал для человечества добрых дел больше, чем многие специальные правительственные и международные организации. Именно это обстоятельство отметил в 1979 году президент США Джим-

ми Картер в своем соболезновании по поводу смерти Александры Толстой, бессменно возглавлявшей в течение 40 лет Толстовский фонд. И только на родине в СССР против А. Л. Толстой была развернута после войны злобная политическая кампания, направлявшаяся спецслужбами, построенная на лжи и обмане по поводу истинного характера ее общественно-благотворительной деятельности.

Александра Львовна Толстая скончалась в США 26 сентября 1979 года в возрасте 95 лет, достойно исполнив главные заповеди Льва Толстого о цели жизни и предназначении Человека. Ее очерки об организации Толстовского фонда и основных направлениях его работы никогда не издавались отдельной книгой. Под названием «Наш Толстовский фонд» они еженедельно печатались отдельными небольшими главами в газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк). Несколько избранных глав и фрагментов из обширной публикации американской газеты мы предлагаем читателям «Всемирного слова». Редакция выражает признательность К. М. Азадовскому, разыскавшему и передавшему эти тексты в распоряжение журнала.

А. Н.

## ВСЕМИРНОЕ СЛОВО

### СРЕДИ АВТОРОВ СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРОВ:

ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ  
ЖАН ГЬОРИ  
ДАНИИЛ ГРАНИН  
ХУАН ГОЙТИСОЛО  
РОБЕРТ КОНКВЕСТ  
МИХАИЛ КУРАЕВ  
АСТРИД ЛИНДГРЕН  
СТАНИСЛАВ МИСАКОВСКИЙ  
АДАМ МИХНИК  
ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВ  
ВИКТОР ПАШКОВ  
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ  
МАРИЯ РОЛЬНИКАЙТЕ  
ЦВЕТАН ТОДОРОВ

### ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ "ВСЕМИРНОГО СЛОВА"

В 1992 году редакция смогла выпустить лишь два номера журнала (№ 2 и № 3) вместо объявленных четырех. Причин не объясняем -- они достаточно общи для российской литературной периодики, переживающей тяжкие времена. Тем не менее, все подписчики прошлого года получают четыре книжки "Всемирного слова": № 2, № 3, № 4/5 и кроме того для полноты комплекта -- № 1 за 1991 год (бесплатно).

Напоминаем, что журнал издается по общей сквозной нумерации -- независимо от года выпуска.

Редакция журнала "Всемирное слово"

**И**мена Игоря Стравинского и Джорджа Балланчина не требуют пояснений. Их влияние на русскую и американскую культуры непреходяще. Их многолетнее сотрудничество незабываемо. Его плодотворные итоги были продемонстрированы на состоявшемся в Нью-Йорке в июне 1972 года, в связи с девяностолетием рождения композитора, фестивале Стравинского, проведенном труппой Нью-Йоркского городского балета, возглавлявшейся Балланчиным.

Публикуемые здесь высказывания Стравинского и Балланчина о музыке и балете, ранее напечатанные в разных изданиях, впервые были сгруппированы в качестве вообразимого диалога между ними в книге Нэнси Голднер о фестивале Стравинского: «The Stravinsky festival of the New York city ballet».

## ДИАЛОГИ

### Джордж Балланчин: СОБЫТИЕ

(Об открытии фестиваля Стравинского объявил Джордж Балланчин на пресс-конференции 6 марта 1972 года. Его представили как художественного руководителя труппы «Нью-Йоркский городской балет», а затем он рассказал о целях фестиваля и ответил на вопросы.)

Не называйте меня «художественным руководителем» - звучит ужасно, это, может быть, по-французски «художественный» не режет слух, но уж пусть я лучше буду просто балетмейстером. Петипа этого было достаточно, и мне достаточно.

Стравинский - человек, которому мы обязаны всем, с чем мы работаем в музыке... все, что мы имеем в музыке, он сделал первый... Он был как Эйнштейн - ни на кого не похож. Он писал *musique dansante*\*. Это умели только трое. Делиб, Чайковский и Стравинский. Они писали такую музыку, чтобы под нее танцевало тело. Они придумали пол, по которому может ступать танцовщик. Мы не создаем ни времени, ни, может быть, даже пространства. Некоторые говорят, что ни времени, ни пространства нет. Но Стравинский создавал время - не этакое эпохальное время, а то, которому подчиняются мельчайшие движения нашего тела, как оно устроено. Они нам придумали пол, исходя из нашего тела.

Когда кто-нибудь умирает, у нас в России не плачут. У нас веселятся. У нас бросают в могилу рис, перемешанный с чем-нибудь вкусным и сладким - ванилью и сухими фруктами. Потом идут домой, и начинается большое застолье, где пьют за здоровье умершего. Тела больше нет - и не надо, - а пьют за душу.

У себя в балете мы устраиваем вечера Стравинского - когда один, когда два или три в сезон. Мало, а хотят все, даже в Милане. Про *Жар-Птицу*, *Петрушку*, *Весну священную* только и слышишь со всех сторон «и мне, и мне». Но для того чтобы показать настоящего Стравинского, нужно начать с начала, с Сонаты для фортепьяно, потом поставить Симфонию номер один, написанную в память Римского-Корсакова, потом Опусы 2, 3, 4 и закончить первую программу 1910 годом, *Жар-птицей*. Во второй программе мы переходим к 1914 году, и так далее. Семь программ, тридцать шесть произведений, чтобы показать, как развивалось его звучание в течение его жизни. И вот тогда интересно целое - он ведь прошел потрясающий путь. Его не признавали. Не признавали даже после *Жар-Птицы*, *Петрушки*, *Весны священной*. Но кому до этого дело? Нам.

У танцовщиков прекрасные глаза и уши. В газетах пишут об обучении скоротению. Зачем? У меня есть

\*Танцевальная музыка (фр.).

### Игорь СТРАВИНСКИЙ Джордж БАЛАНЧИН

несколько прекрасных книг, где все написано. Хотите - приходите ко мне и прочтите. Но глаза и уши у меня есть. Я родился, чтобы видеть и слышать. Даже в России я не умел ни читать, ни писать - к чему себя утруждать? Я проживу и без чтения. Мы, танцовщики, - как парусники, а не как пароходы. Качаемся на волнах, правда? Не идем напролом. Поэтому мы понимаем, как много для нас значит Стравинский. Главное - музыка. И хорошая пища.

Как балеты смотрятся, на сей раз неважно - может быть, не очень, какое-то мельтешение, может, не хватило денег. Но музыка будет прекрасна. У нас потрясающий оркестр - не подведет. Мы представим вам жизнь Стравинского звуком, и тогда вы увидите перед собой целое.

Да, это ретроспектива. Мы заканчиваем Симфонией псалмов - без балета, но с огромным хором. В последний вечер будет холодная водка - сколько хотите, холодная водка и еще кое-что. Нет, не икра, но кое-что будет.

Да, может быть, станую, если не будут болеть колени, и Роббинс, может быть, тоже, может быть, Пульчинеллу на ходулях в стиле комедия дель арте.

Нас уже пригласили все это повторить в Мюнхене и в Париже. Там у них так не умеют. Почему? Я вам скажу по секрету, почему.

Все хотят ставить то, что хочется. А я возьму ту музыку, которую им не хочется брать.

Как я познакомился со Стравинским? Умер Ленин. От отчаяния я уехал из России. Дягилев позвал меня к себе балетмейстером. Я согласился. Первой постановкой была *Chant du Rossignol*\*. Я должен был работать с Матиссом. Кто для меня был Матисс? Да никто. Теперь я понимаю - было безумно красиво: голубое, золотое, французские мотивы, китайские мотивы, все безумно красиво. Стравинский играл на фортепьяно. Ритмы выдерживались абсолютно точно; для меня он играл абсолютно точно. Приходит Дягилев - с тростью, с моноклем, сидит, слушает. Он все хочет быстрее, быстрее, быстрее. Я для него все меняю. Потом приходит Стравинский и говорит: «Я же говорил вам: медленней, медленней». Так мы и познакомились, в 1925 году.

Приглашаю вас всех на наш фестиваль и на ужин.

### Балланчин о Стравинском

Самое сильное проявление танцевального начала в музыке Стравинского - это ритм. Ритм мерный, настойчивый, но здоровый, неизменно успокоительный. Он чувствуется даже в паузах. Ритм держит каждое его произведение и проходит через все. В *Весне священной* размер меняется с каждым тактом; в *Эдипе* ритмы четырехстопные; в *Аполлоне* ритмические рисунки просты, традиционны; Симфония 1945 года обобщает почти все, сделанное прежде. Но в каждом произведении ритм создает настолько мощный движущий импульс, что, когда оно заканчивается, вы знаете: предмет, как у Моцарта, изложен полностью, в сущности исчерпан.

Жесткий ритм Стравинского - это знак его власти над временем - и над интерпретаторами. Хореограф прежде всего должен безгранично доверять этому направляющему началу. Ведь ритмическая фантазия Стравинского, возможная лишь на твердой основе, станет величайшим стимулом для творчества самого хореографа.

Хореограф не придумывает ритмы, а только отражает их в движении. Его выразительное средство - тело, а тело, предоставленное самому себе, способно импровизировать очень недолго. Но организация ритма в крупных масштабах - процесс длительный. Это функция музыкального ума. Планирование ритмов - все равно, что планирование дома, здесь нужно конструктивное решение.

\*Песнь соловья (фр.).

Как организатор ритмов Стравинский тоньше и разнообразнее любого другого творца за всю историю человечества. А раз у него такие четкие, такие точные ритмы, с ними не должно импровизировать. Там нет места эффектам. Фермата у Стравинского всегда просчитывается долями. Если он задумывает рубато, оно будет записано точно, разными размерами. (Конечно, и в других местах хороший инструменталист, например, Мильштейн, или находчивый танцор, могут создать впечатление рубато в музыке Стравинского, не смазывая ритма.)

Находки Стравинского прелестны, и не только из-за того, что он свободно меняет длину тактов или смешает акценты. Такими вещами он манипулирует совершенно блестяще. Но если бы он просто шел по пути, заданному *Весной священной*, то очень скоро ему бы стало неинтересно, да и нам тоже.

Меня всегда потрясала и потрясает жизненность наполнения каждого такта. Каждый такт обладает самостоятельным, почти индивидуальным существованием, это живое целое. Нигде нет пробелов. Пауза, остановка никогда не бывают пустотой между означенными звуками. Это не просто ничто. Это переносчики от предыдущего звука к последующему. Внутри каждой паузы продолжается жизнь.

Интерпретатора не должно (как это, к сожалению, часто бывает) страшить расчетливое, динамичное использование тишины у Стравинского. Он должен ему доверять и, более того, посвящать ему свое нераздельное внимание. В таком использовании времени, в обостренном, постоянном сознании времени ему откроется один из живых секретов музыки Стравинского.

Поражает и мелодический рисунок Стравинского, такой продуманный и соразмерный, так ювелирно отточенный. Он как бы вобрал в себя и удивительным образом претворил весь лексикон западной танцевальной музыки: вальсы, польки, гавоты, марши, канканы, танго и регтаймы; открытия Моцарта и Гуно, Оффенбаха, Ланнера и Штрауса, Делиба и Чайковского.

Даже в небалетных произведениях встречаются ясные, убедительные описания танца. В Арии II Концерта для скрипки (на эту музыку я поставил Балюстраду) есть один отрывок:

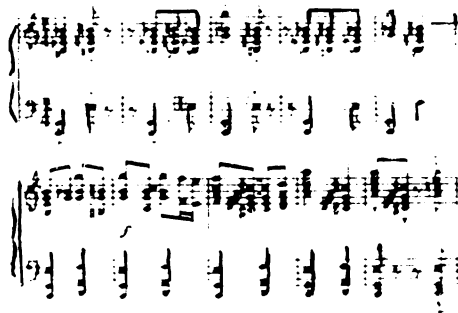


Здесь сдержанные такты, напоминающие Баха, подсказали мне протяжные, медленные и очень текучие движения для балетного па-де-труа.

Ниже идут цитаты из *Элегии*, прекрасной и блестяще сделанной вещи. Ограниченными средствами одной скрипки (исполнять *Элегию* большим количеством инструментов - огромная ошибка) разрабатываются все возможности двухголосной фуги:



В танце по этой партитуре (1945) я постарался передать течение и насыщенное разнообразие музыки переплетением тел двух танцоров, прикованных к месту в центре сцены. Похожие отрывки, обладающие непреодолимой способностью вызывать в воображении танцевальные связи, есть и в Концерте для фортепьяно:



Иногда люди жалуются на то, что Стравинский надуманно сложен, что он от них далек. Но может быть, виной тому - их собственные небрежность и вялость? Его музыку называют сухой и дисгармоничной. Что же имеют в виду? Ведь через дисгармонию мы постигаем гармонию: без света не бывает прохладной тени. И мы знаем, что счастье вино слишком сухим значит лишь признать ее собственной ограниченности.

О себе же могу только сказать, что музыка Стравинского меня совершенно устраивает. Она успокаивает меня. Когда я слушаю его музыку, у меня возникает порыв - не люблю говорить о «вдохновении» - попробовать сделать зримыми не только ритм, мелодию и гармонию, но даже тембры инструментов. Потому что если бы я писал музыку, именно так я бы, наверное, хотел, чтобы она звучала.

И еще я не понимаю, что имеют в виду, называя музыку Стравинского слишком абстрактной. Туманное определение, столь же невразумительное для меня, как и в том случае, когда это говорят о моих балетах. Имеется ли в виду, что нет ни сюжета, ни литературного образа, ни даже чувства, а есть просто звук и движение в чистом виде?

Никакое музыкальное произведение, никакой танец не могут сами по себе быть абстрактными. Вы слышите физический звук, звук, человечески организованный, исполняемый людьми. Или вы видите, как перед вами, в живом соотношении друг с другом, двигаются танцовщики из плоти и крови. То, что вы видите и слышите, совершенно реально.

Но абстрактным может казаться зрителю или слушателю тот остаточный образ, который сохраняется в его памяти. Музыка Стравинского, благодаря его мощной фантазии, оставляет сильный остаточный образ. Мне вот музыка *Аполлона* кажется белой, местами белой на белом - как, например, этот отрывок из па-д'аксьон:



Белизна для меня - это нечто определенное (она имеет смысл сама по себе) и в то же время абстрактное. Подобное свойство имеет над мной большую власть, когда я ставлю танец; это последнее слово, сказанное музыкой, и оно задает тон моему собственному творчеству.

Есть в балете сюжет, как в *Поцелуе феи*, или нет, как в *Dances Concertantes*, я руководствуюсь образом, который идет от музыки. Другое дело, конечно, Фокин. Взять, например, *Петрушку*. Видно, что его в основном занимают герои сюжета. Он подумает о кучере на русской улице и вспомнит стереотипный фольклорный жест, когда постукивают себя локтями по бокам, чтобы согреться.

Музыка ему нужна, чтобы задавать нужный ритм - у Стравинского тут народные мотивы, и они сослужат Фокину добрую службу. Но может быть, Римский-Корсаков был бы еще лучше! Тем не менее замечательный пассаж Стравинского для духовых инструментов в эпизоде смерти Петрушки вряд ли вполне точно представляет то, что происходит на сцене.

На меня Стравинский всегда влиял в сторону большей сдержанности, упрощения и спокойствия.

Первой пробой, в 1925 году, стал *Соловей*, упражнение, заданное Дягилевым. Там нужно было станцевать сюжет из китайской жизни на музыку уже готовой оперы. Но постановка *Аполлона* три года спустя - это было сотрудничество.

*Аполлона*, задним числом, я считаю поворотным пунктом в своей жизни. По дисциплине и строгости, по после-

ния. Там свободней и легче используется повтор, как в большом классическом па в сцене на мельнице. И опять же по примеру Стравинского, который в *Поцелуе феи* впервые точно цитирует из Чайковского, я сделал образцом для подражания в хореографии стиль Петипа.

*Jeu de Cartes\** и *Denses Concertantes\*\**, в отличие от этих ранних сочинений, написаны более игриво. Они овеяны духом итальянской commedia del arte. Оба ритмически сложны, хотя и различаются по фактуре. И вот там тела танцоров служили мне средством выявления этой летучести ритма. Может быть, поэтому они кажутся публике более театральными, чем ритмически простой *Аполлон*.

При совместной работе Стравинский смотрит в суть каждой задачи. В первую, а иногда в последнюю очередь он думает о времени - сколько займет увертюра, па-де-де, вариации, кода. Он говорит: «Когда я знаю, сколько времени будет длиться вещь, тогда я увлекаюсь». Теперь он ужасно увлечен построением нового *Орфея*.

Мы еще не можем полностью оценить вклад Стравинского в танец и в музыку. Он тоже, как Делиб и Чайковский, которые разработали танцевальную вариацию и на ее основе создавали полноценные театральные произведения, занимался организацией больших форм для танца. Но вместе с тем он постоянно вовлекает танцевальные элементы в наш музыкальный язык вообще. Он расширил музыкальный диапазон танца. В музыку он привносит свое особое постоянно ощущаемое и выраженное с максимальной полнотой красноречие движения.

Почти сорок лет тому назад он начал передавать разным театрам мира свои поразительные произведения. Каждый период его творчества становится вехой в развитии современного искусства. Сегодня он показывает нам гуманистические ценности, связывающие прошлое и настоящее. Новые его партитуры, сдержанные и продуманные, заставляют вспомнить дисциплину и величие героического человеческого тела. Стравинский сам - Орфей двадцатого века!

#### Аполлон против Диониса

**СТРАВИНСКИЙ:** Назначение творца заключается в том, чтобы просеивать элементы, которые он получает от нее [матери каприза], потому что человеку в его деятельности необходимо самоограничение. Чем более сдержанно, ограничено, переработано искусство, тем оно свободнее.

Я же, когда только начал работать, я вижу бесконечное множество открывающихся передо мной возможностей, испытываю ужас от ощущения вседозволенности. Если все дозволено, и лучшее, и худшее, если ничто не оказывает мне сопротивления, то немислимо никакое усилие и я ни на что не могу опереться, а, значит, всякое начинание оказывается бессмысленным.

Суждено ли мне потеряться в этой бездне свободы? За что ухватиться, чтобы избежать головокружения, которое охватывает меня перед реальностью этой бездны? Но я не уступлю. Я преодолею ужас и успокоюсь при мысли, что в моем распоряжении есть семь нот гаммы и ее хроматические интервалы, что у меня под рукой сильные и слабые доли и что во всем этом я обретаю твердые и конкретные элементы, являющие мне опыт из области столь же обширной, как та тревожащая и головокружительная бесконечность, которая только что пугала меня. Именно в этой области я пушу корни, глубоко убежденный в том, что комбинации, располагающие двенадцатью звуками в каждой октаве и всеми мыслимыми ритмическими вариациями, обещают мне такие богатства, которые никогда не исчерпает деятельность человеческого гения.

От муки, доставляемой ощущением безграничной свободы, меня избавляет то, что я всегда могу обратиться прямо к тем конкретным вещам, о которых здесь идет речь. Мне

\*Игра в карты.

\*\*Концертные танцы.

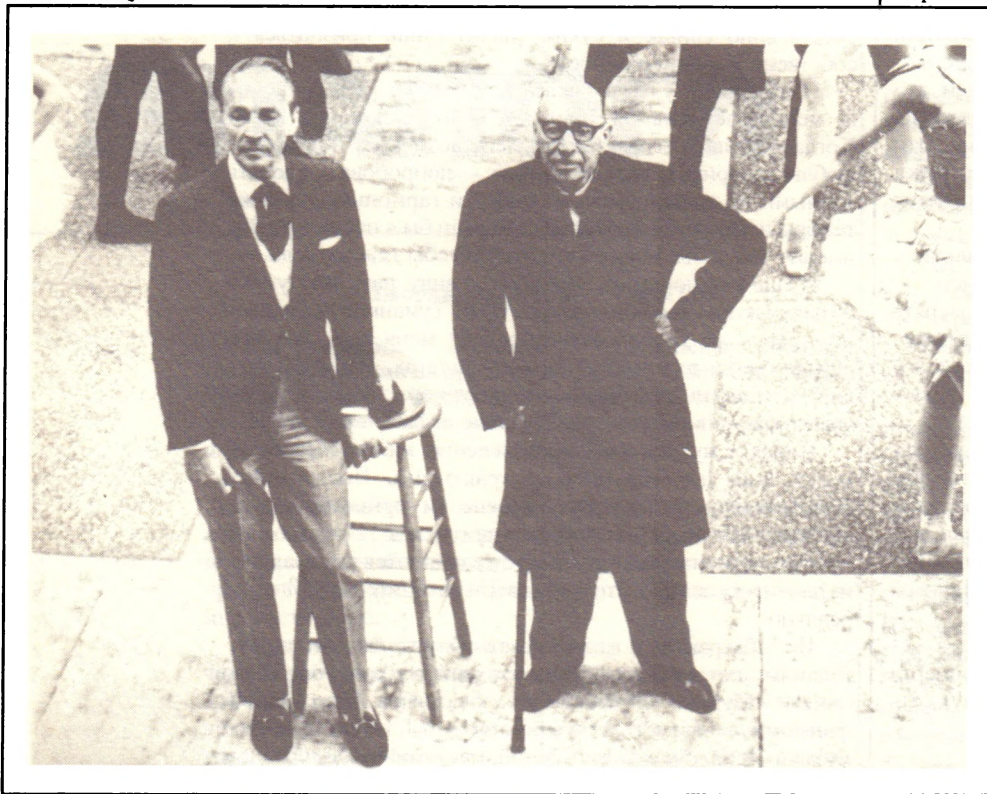


ФОТО МАРТЫ СВОП

довательному единству тона и чувства партитура была для меня откровением. Она как будто говорила, что я могу рискнуть брать не все подряд, что я тоже могу от чего-то отказываться. В *Аполлоне*, да и во всех следующих сочинениях Стравинского замена какого бы то ни было фрагмента фрагментом другой партитуры совершенно немислима. Каждый отрывок - единственный в своем роде, ничего нельзя заменить.

В свете этого урока я проанализировал собственное творчество. Я начал понимать, как, ограничивая, сводя кажущееся множество возможностей к одной неизбежной, можно добиться ясности. Перед этим я ставил балет *Пастораль* на музыку Жоржа Орика, и там было по крайней мере десять разных видов движения, каждого из которых хватило бы на отдельный спектакль.

Именно изучая *Аполлона*, я понял, что жесты, как тона в музыке и оттенки в живописи, связаны некими семейными отношениями. Существовая группами, они диктуют собственные законы. Чем сознательнее художник, тем глубже ему удается проникнуть в эти законы и тем больше - им соответствовать. Начиная с этой постановки я развиваю свою хореографию в том ключе, который подсказывается такими отношениями.

*Аполлона* иногда критикуют за «нетеатральность». Действительно, там нет четкой фабулы. (Однако есть спокойная сквозная сюжетная нить.) Но техника - это техника классического балета, который насквозь театрален и используется здесь для проекции звука непосредственно в зримое движение.

Работая над *Поцелуем феи*, а впервые я его ставил в 1936 году, я сделал еще один шаг в сторону упроще-

ни к чему теоретическая свобода. Дайте мне что-нибудь конечное, определенное - материю, поддающуюся мне лишь настолько, насколько у меня достанет сил. А такая материя предстает передо мной со всеми положенными ей пределами. Я, в свою очередь, должен ограничить ее пределами, положенными мне. И вот, нравится это нам или нет, мы попадаем в царство необходимости. Но когда кто-нибудь из нас говорил об искусстве иначе, чем как о царстве свободы? Это общераспространенная ересь, потому что искусство полагают лежащим вне пределов обычной деятельности. А в искусстве, как во всем остальном, можно строить только на твердой основе: то, что постоянно поддается давлению, постоянно делает движение невозможным.

Значит, моя свобода - это движение в узких рамках, которые я определяю себе в каждом своем начинании.

Скажу больше: моя свобода будет тем полнее и тем осмысленнее, чем больше я ограничу поле своей деятельности и чем больше окружу себя препятствиями. Все, что уменьшает связанность, ослабляет. Чем больше человек связывает себя, тем полнее он освобождается от цепей, сковывающих дух<sup>2</sup>.

БАЛАНЧИН: ... безмолвие, покой и неподвижность действуют, пожалуй, сильнее всего. Они производят такое же впечатление, как ярость, бред, экстаз, и даже еще более сильное. Когда тело неподвижно застывает на месте, нужно, чтобы каждую его часть пронизывало невидимое напряжение, и даже в расслаблении ощущался внутренний мускульный контроль<sup>3</sup>.

СТРАВИНСКИЙ: Страстные чувства можно передавать ... при наличии самых «стесняющих условностей». Например, миниатюристам Тимура было запрещено изображать выражение лица. В одном трогательном эпизоде из жизни древнего зороастрийского царя художник пишет группу людей с совершенно пустыми лицами. Драматическое напряжение создается тем, как изображаются подслушивающие придворные дамы и немного несообразным жестом одного из главных действующих лиц. В другой миниатюре любовники обмениваются ледяными взглядами, но мужчина непроизвольно подносит палец к губам, и от этого картина исполняется для меня страсти ничуть не меньшей, чем *crescendo molto* в *Воццеке*<sup>4</sup>.

БАЛАНЧИН: Одни любят горячее, другие холодное. Я люблю мороженое<sup>5</sup>.

СТРАВИНСКИЙ: Я говорю о его [Карла Марии фон Вебера] сонатах, которые так формальны в инструментальном отношении, что те немногие *rubati*, которые он время от времени в них себе позволяет, не могут скрыть недремлющего и бдительного ока покорителя<sup>6</sup>.

БАЛАНЧИН: Музыка одевает танец в корсет времени<sup>7</sup>.

СТРАВИНСКИЙ: Участие в этой постановке [*Спящая красавица*] было для меня настоящим счастьем, и не только из-за любви к Чайковскому, но и из-за глубокого преклонения перед классическим балетом, который по самой своей сути, по красоте строя и аристократической строгости форм так близок моей концепции искусства. Ибо здесь, в классическом танце, я вижу торжество продуманной концепции над неопределенностью, правила над произволом, закономерности над случайностью. Так я напрямую сталкиваюсь с извечным конфликтом между аполлоническим и дионисийским принципами в искусстве. Дионисийский принцип исходит из того, что конечная цель - экстаз, то есть потеря себя, тогда как искусство требует прежде всего полной сознательности художника. Поэтому сомнений в том, которому из них я отдаю предпочтение, быть не может. И если я так высоко ценю классический балет, то дело не просто в моем личном вкусе, а в том, что именно в классическом балете я вижу законченное воплощение аполлонического принципа<sup>8</sup>.

БАЛАНЧИН: Я понимал, что он очень интересуется танцем. Он сам был очень пластичный, прекрасно

двигался. Он ходил на руках, как акробат, и любил танцевать<sup>9</sup>.

### Сотрудничество

СТРАВИНСКИЙ: Единственно что могу рассказать о сотрудничестве с Фокиным - это что мы вместе, эпизод за эпизодом, изучали либретто, пока я не определил точную продолжительность музыки. Несмотря на свои отомительные проповеди о роли музыки как *аккомпанемента* танца, которые повторялись при каждой встрече, Фокин многому меня научил, и с тех пор я всегда так и работаю с хореографами. Я люблю точные требования<sup>10</sup>.

БАЛАНЧИН: Стравинский был очень понятливый. Я ему говорил, что мне нужен длинный вальс - пожалуй, на



сто шестьдесят тактов - а потом, пожалуй, пантомима на тридцать один такт, и он их писал безо всякого труда. Мы обсуждали продолжительность музыки и танца. То, сколько времени публика захочет, чтобы они длились. Я шагами отмерял на сцене расстояние. Сорок футов, наверное, займут две минуты, если шагать медленно. Потом будет па-де-де, оно займет еще две минуты. «Так?» «Так?» Мы разговаривали. Он всегда что-нибудь добавлял, если мы считали нужным, даже если у него уже была готова оркестровка<sup>11</sup>.

СТРАВИНСКИЙ: Хореография, как я ее понимаю, должна обладать собственной формой выражения, самостоятельной по отношению к музыкальной форме, хотя и соотносящейся с музыкальным целым. Она будет возникать из соответствий, которые увидит хореограф, но она не должна просто повторять направление и ритм музыки. Не знаю, как можно быть хореографом, если только, как Баланчин, прежде не быть музыкантом<sup>12</sup>.

БАЛАНЧИН: Когда я ставлю на музыку Стравинского, я очень стараюсь не прятать музыку. Понимаете, обычно хореография слишком вторгается в музыку. Когда слишком много происходит на сцене, музыки не слышно. Вся эта суета как-то заслоняет музыку. Я всегда поступаю наоборот, я как бы приглушаю танец. Он всегда меньше музыки. Лучше, как в современной архитектуре, сделать меньше, чем больше<sup>13</sup>.

Жена высокопоставленного лица из Новой Зеландии Игорю Стравинскому: «Любите ли вы архитектуру, господин Стравинский?» Игорь Стравинский: «Можно я подумаю»<sup>14</sup>.

**СТРАВИНСКИЙ:** Всякое творчество начинается с того, что появляется некий аппетит, вызванный предвкушением открытия. Это предвкушение открытия сопутствует интуитивному постижению неведомой сущности, уже обретенной, но еще не понятой, сущности, которая оформится лишь под воздействием неусыпно бдительной техники...

В ходе своих трудов я вдруг натываюсь на что-то неожиданное. Неожиданный этот элемент меня удивляет. Я беру его на заметку. В нужный момент я выгодно его использую...

Предрасположенность к творчеству никогда не дается нам сама по себе. Она всегда соседствует с наблюдательностью. И истинный творец узнается по способности находить в самых обычных и ничтожных вещах нечто, достойное внимания. Ему не нужно заботиться о великолепном пейзаже, не нужно окружать себя редкостями и драгоценностями. Ему не нужно далеко ходить в поисках открытий: они всегда рядом. Ему нужно лишь посмотреть вокруг. Его внимание привлекают знакомые вещи, вещи, которые есть везде. Он интересуется самым незначительным происшествием и руководствуется им в своих действиях...

Происшествие не придумывают: его наблюдают с тем, чтобы черпать из него вдохновение. Происшествие - это, может быть, единственное, что нас действительно вдохновляет. Композитор импровизирует так же бесцельно, как бесцельно рыщет зверь. Оба рыщут, потому что вынуждены искать. Какую свою потребность удовлетворяет композитор этими поисками? Следования нормам, обременяющим его, словно кающегося грешника? Нет: он ищет собственное удовольствие. Он стремится к удовлетворению такого рода, какое прекрасно знает, что не найдет, если сперва за него не поборется...

И вот мы рыщем в ожидании удовольствия, двигаясь на запах, и вдруг натываемся на неожиданное препятствие. Это встряска, шок, и этот шок питает нашу творческую энергию<sup>15</sup>.

**БАЛАНЧИН:** Движения в хореографии - это движения, лежащие в основе любого жеста и действия, и хореограф должен учиться их видеть... В том, как разговаривают, обмениваются взглядами и касаются друг друга влюбленные во всем мире, как-то выражаются ласка и нежность. Хореограф это замечает и находит движения для того, чтобы изобразить не любовь А и Б, а любовь вообще. Хореограф должен видеть то, чего не замечают другие, развивать зрение<sup>16</sup>.

**СТРАВИНСКИЙ:** Настоящий композитор все время думает о своей работе; думает не всегда осознанно, но сознает это задним числом, когда вдруг понимает, что ему надо делать<sup>17</sup>.

**БАЛАНЧИН:** ... Я занимаюсь тем, что соединяю ингредиенты: это все равно, что открыть холодильник и посмотреть, что же у вас там такое припасено - а потом выбираю, смешиваю и надеюсь, что в конце концов получится вкусно<sup>18</sup>.

**СТРАВИНСКИЙ:** [Теория музыкальной композиции] - это взгляд в прошлое. Ее не существует. Существуют сочинения, из которых она выводится. Или же, если это не совсем так, она существует как побочный продукт, не способный что-то создать и даже оправдать. Тем не менее композиция предполагает развитую интуицию в теоретической области<sup>19</sup>.

**БАЛАНЧИН:** [Работа] у меня начинается только в репетиционном зале. Нельзя заранее заготовить па, как нельзя заранее заготовить слова, собираясь что-нибудь написать. Это способность. Когда надо, хватает слов и грамматики, которые есть в голове, - только это и требуется для того, чтобы в нужный момент начать писать. То же самое - ставить хореографию в балете. В нужный момент - какой именно - решит профсоюз - у вас есть все необходимые условия и балетная грамматика в голове, чтобы делать свою работу<sup>20</sup>.

**СТРАВИНСКИЙ:** Я не пытаюсь «думать» вперед - я могу только начать работать в надежде немного воспарить духом<sup>21</sup>.

**БАЛАНЧИН:** Без артистов я не могу ничего. Некото-

рые хореографы создают все свои балеты, танцую перед зеркалом. Потом они все записывают. Я так не делаю. Для меня балет существует только в живом исполнении, иначе его просто нет. Когда я занимаю артистов, мне хочется придумывать для их тел, - их тела, не мое будут развлекать публику. Мои замыслы не существуют до тех самых пор, пока эти люди не увидят их мышцы. Если бы не было танцоров, с которыми мне нравится работать - потому что мне нравится на них смотреть и показывать, как они выглядят и как двигаются, - мне бы и в голову не пришла мысль о танце. Когда заканчиваются репетиции, я забываю, что я вообще слышал о танце<sup>22</sup>.

**СТРАВИНСКИЙ:** Мне так же нужно трогать музыку, как и думать музыкой, поэтому я всегда живу рядом с пианино<sup>23</sup>.

**БАЛАНЧИН:** Те, кто танцуют, важнее моей хореографии. [Балет] мимолетен. Это движение. Он вообще выше всех людей<sup>24</sup>.

**СТРАВИНСКИЙ:** Обычно идеи появляются у меня во время работы, и разве что очень редко - в другое время. Я всегда очень нервничаю, если они приходят на слух, когда у меня нет под рукой карандаша...<sup>25</sup>

**БАЛАНЧИН:** В конце концов, хореография становится профессией. Когда ставишь балет, не посидишь в ожидании Музы. Профсоюз все равно не даст такую возможность. Нужно уметь придумывать в любое время. Нельзя быть как повар, который умеет готовить только два блюда: надо уметь готовить все<sup>26</sup>.

**СТРАВИНСКИЙ:** Я или сочиняю, или не сочиняю. Я не стараюсь сочинять<sup>27</sup>.

### Традиция

**СТРАВИНСКИЙ:** Вовсе не означая повторения того, что было, традиция предполагает реальность того, что пребудет. Это фамильная драгоценность, наследство, которое получают с условием, что оно принесет плоды, прежде чем его передадут потомкам<sup>28</sup>.

**БАЛАНЧИН:** Нужно пройти через традицию, впитать ее и в каком-то смысле заново воплотить все предыдущие этапы художественного развития<sup>29</sup>.

**СТРАВИНСКИЙ:** Я хочу, чтобы все, что меня интересует, все, что я люблю, стало моим (может быть, это форма клептомании)<sup>30</sup>.

**БАЛАНЧИН:** Я собираю, и для этого краду отовсюду - у того, что вижу, у того, что могут сделать артисты, у того, что делают другие<sup>31</sup>.

**СТРАВИНСКИЙ:** Быстрее всего в новой музыке умирает самое новое, а живет она благодаря всему что ни на есть самому старому и избитому<sup>32</sup>.

### Смысл в искусстве

**СТРАВИНСКИЙ:** Ибо я считаю, что музыка, по самой своей природе, в принципе не способна *выразить* решительно ничего, будь то чувство, умонастроение, душевное состояние, явление природы и так далее. *Выражение* никогда не было неотъемлемой принадлежностью музыки. Не для того она существует. Если и кажется, а так почти всегда кажется, будто музыка что-то выражает, это только иллюзия, а не реальность. Это просто дополнительный признак, которым, по молчаливому и давнему соглашению, мы ее наделили, который навязали ей как ярлык, как условность - короче говоря, один ее аспект, который, невольно или в силу привычки, мы стали смешивать с ее сущностью<sup>33</sup>.

**БАЛАНЧИН:** Многие ходят в театр для того, чтобы увидеть собственную жизнь, собственный опыт. В балете мы им ничего этого не даем. Мы даем другое. Вы что-нибудь чувствуете, глядя на цветы? Вас волнуют их цвет и их красота - но что такое волнение?<sup>34</sup>

**СТРАВИНСКИЙ:** Оденковский «образ опыта нашей жизни как проходящей» (тоже образ) стоит, пожалуй, на уровне более высоком, чем музыка, но не заслуживает собой чисто музыкальный опыт и не противоречит ему. Но я с изумлением обнаруживаю, что многие рассуждают на уровне более низком, чем музыка. Музыка - это лишь нечто, что напоминает нечто другое, например, пейзажи: так,

мой *Аполлон* всегда напоминает кому-нибудь Грецию. Но даже при попытках самых конкретных ассоциаций - что значит «быть, как» и что есть «соответствия»?<sup>35</sup>

**БАЛАНЧИН:** Но Моцарт, Стравинский и Веберн - это другая музыка. Это как роза - можно бесконечно любоваться ею, но нельзя вдохнуть в нее личные чувства<sup>36</sup>.

**СТРАВИНСКИЙ:** Нашумевшее это замечание насчет выражения (или не-выражения) просто-напросто означало, что музыка стоит над личностью и выше реальности и поэтому не поддается словесным определениям и словесным описаниям. Оно было направлено против представления о том, что музыка - это на самом деле трансцендентная идея, «выраженная средствами» музыки... Я бы сказал как раз наоборот: музыка выражает самое себя<sup>37</sup>.

**БАЛАНЧИН:** Видите ли, в моем понимании балет - это нечто большее, чем средство передачи идеи или представления сюжета. Это нечто прямо противоположное. Это чистое развлечение<sup>38</sup>.

**СТРАВИНСКИЙ:** Идея чистой функциональности всегда казалась мне протестантской идеей, а значит, она чужда моей культурной почве<sup>39</sup>.

**БАЛАНЧИН:** Я затейник. Циркач. Вы приводите людей и шьете костюм, и его носят, а потом выбрасывают. Это моя профессия. А еще, знаете, я слуга и для того родился. И Бог - слава тебе, Господи, -- дал мне эти глаза и уши. Вот что надо делать, и я делаю<sup>40</sup>.

**СТРАВИНСКИЙ:** Я считаю, что таланты мои - от Бога, и всегда молился Ему, чтобы у меня достало сил их использовать. Когда в раннем детстве я осознал, что создан сторожем музыкальных способностей, я дал Господу зарок быть достойным их развития...<sup>41</sup>

**БАЛАНЧИН:** Это как папа римский представляет Христа. Я представляю Терпсихору, богиню танца<sup>42</sup>.

**СТРАВИНСКИЙ:** Важнее то, что за пределами, если так можно выразиться, чувств композитора композиция обретает совершенно новое качество... Композитор работает через восприятие, а не умозрение. Он воспринимает, отбирает, соединяет и совершенно не представляет себе, в какой момент разнородные и разноразличные смыслы станут произведением. Его задача только в том, чтобы уловить очертания формы. Форма - это все<sup>43</sup>.

### Техника

**СТРАВИНСКИЙ:** [В технике] - весь человек. Мы научаемся ей, но не можем овладеть ею в первую очередь; или я бы, пожалуй, сказал, что мы рождаемся со способностью ею овладеть. Сейчас техника противопоставляется «сердцу», хотя «сердце» - это тоже, конечно, техника<sup>44</sup>.

**БАЛАНЧИН:** Техника в этом смысле означает предрасположенность, а не быстроту. Когда я говорю «техника», люди отвечают: «А, он - это просто механизм». Меня называют математиком. У меня, понятное дело, нет души. Но о Моцарте тоже говорили: «Он бессердечен, как птица». Я говорю, что техника - это предрасположенность к ловкости и механика ее выражения<sup>45</sup>.

Балериной рождаются или становятся? Пожалуй, сперва ею надо родиться<sup>46</sup>.

### Звезды

**БАЛАНЧИН:** Балерина - это личность, а личность предполагает импровизацию. Личность понимает, что она должна дать публике что-то особенное, а данного ей хореографом не вполне достаточно, и она добавляет от себя; хореография, таким образом, становится для балерины лишь атмосферой. Больше всего я люблю молодых, хорошо подготовленных артистов, вечных студентов, которые вечно учатся. Шоу как-то написал, что Кармен в исполнении примадонн чаще всего бывает Мефистофелем в юбке. Это, по-моему, относится и к прима-балеринам<sup>47</sup>.

**СТРАВИНСКИЙ:** «Великие» дирижеры, как и «великие» актеры, способны сыграть только себя: неспособные приспособиться к произведению, они приспособливают произведение к себе, к собственному «стилю», к собственной манерности. Культ «великого» дирижера к тому же склонен заменять слушание смотрением, так что и для

дирижера, и для публики... важную роль в исполнении приобретает жест. Если вы не умеете слушать, дирижер вам покажет, что чувствовать<sup>48</sup>.

**БАЛАНЧИН:** Просто исполняйте па<sup>49</sup>.

**СТРАВИНСКИЙ:** Я часто говорю, что мою музыку нужно читать для того, чтобы «исполнить», а не для того, чтобы «интерпретировать». Буду так говорить и впредь, потому что не вижу в ней ничего такого, что нужно интерпретировать (это я не из скромности, а из нескромности)... Проблема стилистического представления моей музыки - проблема артикуляции и ритмизации. Этим определяются оттенки. Артикуляция - это в основном членение, а чтобы читатель понял, что я имею в виду, лучше всего в качестве примера отослать его к записи, где У. Б. Йейтс читает три своих стихотворения. В конце каждой строки Йейтс останавливается, он задерживается на каждом слове и в каждом промежутке между словами строго определенное время - его стихи можно было бы так же легко записать музыкальным ритмом, как проговорить речитативом поэтических размеров...<sup>50</sup>

### Дружеский совет

**БАЛАНЧИН:** Я не принимаю предложения артистов, потому что когда они приходят ко мне, они не знают ничего из того, чему я их учу. Нельзя, чтобы яйцо учило курицу класть яйца. Я сам кладу яйца, мне тут никто не указ.

Мне нравится делать так, а не иначе, и я ни с кем не согласен, но мне даже не хочется спорить<sup>51</sup>.

**СТРАВИНСКИЙ:** Большое спасибо, идите к черту<sup>52</sup>.

### Общество

**БАЛАНЧИН:** Я как картошка. Она здорово стойкая. Картошка растет везде, но даже картошка растет лучше всего в какой-то определенной почве<sup>53</sup>.

**СТРАВИНСКИЙ:** Я родился не вовремя, в том смысле, что по темпераменту и таланту мне бы больше подошла жизнь маленького Баха, живущего в безвестности и регулярно сочиняющего для государственной службы и для Господа Бога. Я все-таки выдержал натиск мира, в котором родился, достойно выдержал, скажете вы, и противостоял, хотя и не без потерь, алчности издателей, музыкальным фестивалям, фирмам грамзаписи, рекламе, в том числе рекламе меня самого... дирижерам, критикам... и всем недоразумениям, связанным со спектаклем, ныне именуемым концертом. Но маленький Бах мог бы сочинить в три раза больше музыки<sup>54</sup>.

**БАЛАНЧИН:** ... что такой маленький человек написал так много нот...<sup>55</sup>

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Джорж Баланчин. Танцевальное начало в музыке Стравинского. - Стравинский в театре и в танце. Указатель, 1947.

<sup>2</sup> Игорь Стравинский. *Поэтика музыки*. 1947.

<sup>3</sup> Джорж Баланчин. «Заметки о хореографии». - *Данс Индекс*, март, 1945.

<sup>4</sup> Игорь Стравинский и Роберт Крафт. *Диалоги и дневник*. 1963.

<sup>5</sup> *Нью-Йорк Геральд Трибьюн*, 20 марта 1960 года.

<sup>6</sup> *Поэтика музыки*.

<sup>7</sup> *Гардиан*, 20 июня 1963 года.

<sup>8</sup> Игорь Стравинский. *Автобиография*. 1936.

<sup>9</sup> *Ньюсдэй*, 11 июня 1972 года.

<sup>10</sup> Игорь Стравинский и Роберт Крафт. *Разъяснения и достижения*. 1962.

<sup>11</sup> *Ньюсдэй*, 11 июня 1972 года.

<sup>12</sup> Игорь Стравинский и Роберт Крафт. *Мемуары и комментарии*. 1960.

<sup>13</sup> *Цинциннати Инкуайерер*, 18 июня 1972 года.

<sup>14</sup> Роберт Крафт. *Стравинский: Хроника дружбы*. 1972.

<sup>15</sup> *Поэтика музыки*.

<sup>16</sup> Джорж Баланчин. Полное собрание сюжетов великих балетов в изложении Баланчина. 1954.

<sup>17</sup> Игорь Стравинский, Роберт Крафт. *Разговоры с Игорем Стравинским*. 1959.

<sup>18</sup> *Нью-Йорк Геральд Трибьюн*, 20 марта 1960 года.

<sup>19</sup> *Разговоры с Игорем Стравинским*.

<sup>20</sup> *Интеллекчл Дайджест*, июнь 1972 года.

<sup>21</sup> *Мемуары и комментарии*.

<sup>22</sup> *Лайф*, 11 июня 1963 года.

<sup>23</sup> Игорь Стравинский, Роберт Крафт. *Ретроспективы и выводы*. 1969.

<sup>24</sup> *Дэйли Экспресс*, 30 августа 1965 года.

<sup>25</sup> *Разговоры с Игорем Стравинским*.

<sup>26</sup> Полное собрание сюжетов великих балетов в изложении Баланчина.

<sup>27</sup> Фрэнсис Штегмюллер. «Стравинский за работой». - *Сэтердэй Ревью*, 29 мая 1971 года.

<sup>28</sup> *Поэтика музыки*.

<sup>29</sup> Полное собрание сюжетов великих балетов в изложении Баланчина.

<sup>30</sup> *Мемуары и комментарии*.

<sup>31</sup> *Нью-Йорк Таймс*, 16 декабря 1963 года.

<sup>32</sup> *Диалоги и дневник*.

<sup>33</sup> *Автобиография*.

<sup>34</sup> *Интеллекчл Дайджест*, июнь 1972 года.

<sup>35</sup> *Разговоры с Игорем Стравинским*.

<sup>36</sup> Программа *Нью-Йорк Сити Бэллей*.

<sup>37</sup> *Разъяснения и достижения*.

<sup>38</sup> *Нью-Йорк Пост*, 28 сентября 1965 года.

<sup>39</sup> Игорь Стравинский, Роберт Крафт. *Темы и эпизоды*. 1966.

<sup>40</sup> *Нью-Йорк Пост*, 21 августа 1971 года.

<sup>41</sup> *Диалоги и дневник*.

<sup>42</sup> *Тайм*, май 1964 года.

<sup>43</sup> *Разъяснения и достижения*.

<sup>44</sup> *Разговоры с Игорем Стравинским*.

<sup>45</sup> *Лайф*, 11 июня 1965 года.

<sup>46</sup> Из разговора.

<sup>47</sup> *Нью-Йорк Геральд Трибьюн*, 20 марта 1960 года.

<sup>48</sup> *Темы и эпизоды*.

<sup>49</sup> Из разговора.

<sup>50</sup> *Разговоры с Игорем Стравинским*.

<sup>51</sup> *Лайф*, 11 июня 1965 года.

<sup>52</sup> Пол Хорган. *Встречи со Стравинским*. 1972.

<sup>53</sup> *Нью-Йорк Пост*, 21 августа 1971 года.

<sup>54</sup> *Диалоги и дневник*.

**Н**едavno судьба даровала мне возможность в течение недели наблюдать Менухина вблизи, общаться с ним. Знаменитый наш дирижер Саулос Сондецкис предложил мне сопровождать в небольшом зарубежном турне руководимый им камерный оркестр «Санкт-Петербург-Камерата». Этот коллектив возник сначала как учебный оркестр студентов консерватории. Сейчас большинство его участников уже окончило вуз, и оркестр стал самостоятельным, «суверенным» творческим организмом и выступал уже с несколькими престижными концер-

тными программами за рубежом. На этот раз создатель оркестра, С. Я. Сондецкис, в турне не участвовал, дирижировал концертами Менухин. Последний, в свою очередь, предпринял ранее начавшуюся большую серию выступлений, и встреча его с петербуржцами произошла лишь в день первого совместного их концерта. Было это на юге Франции, в Перпиньяне, расположенном неподалеку от испанской границы и некогда принадлежавшем Испании. Как и во многих европейских городах, на холме, отовсюду видный, высится замок, в данном случае это начатый строительством в XIII веке дворец королей Майорки. Его дворик превращен в амфитеатр, и здесь состоялись две репетиции, утром и перед выступлением, и концерт.

Менухин появился, живой, стремительный, одетый просто и элегантно в строгую, не стесняющую движений блузу; весь его облик олицетворял приветливость, радушие и стремление поскорее заняться делом. Забегая вперед, замечу, что репетиции и концерт в этот и последующие дни он провел в состоянии, я бы сказал, темпераментной сосредоточенности, ни на миг не обнаружив усталости. В перерывах он не уходил, не отдыхал, продолжая давать указания отдельным музыкантам, решал какие-то организационные и технические проблемы, отвечал на вопросы корреспондентов. Жизненная сила и работоспособность этого 76-летнего человека удивительны.

Впрочем, быть таким ему... положено. Встав с четырех лет на стезю музыканта-практика, он физически тяжело трудится, и это естественно для него состояние. Но труд его до предела рационализирован. Им не только придуманы упражнения, которые бы с максимальной эффективностью обеспечивали высший уровень скрипичной техники. От его мощного аналитического ума не укрылась ни одна сторона жизне-деятельности человека, профессионально занимающегося музыкой. В каждой области им найден оптимальный, наиболее целе-сообразный вариант и в течение десятилетия-тиг выверен и усовершенствован на себе самом, а также на друзьях, учениках, последователях, доверившихся ему. А затем он, альтруист по своей природе, сделал эти умозаключения и навыки объектом всеобщего внимания, всеобщей пользы. В 1936 году он выпустил книгу под названием «The complete violinist» -- некий путеводитель странствующего артиста. Чего тут только нет! И распорядок дня, и диета, и режим

гастролей, и построение концертных программ, и взаимоотношения с аккомпаниатором, и принципы интерпретации крупнейших композиторов, писавших для скрипки, и еще многое другое -- короче, энциклопедия музыкантской жизни. Много места тут уделено гимнастическим упражнениям. С 1952 года Менухин тесно связан с Индией, содействует распространению ее искусства (его совместные выступления и записи с легендарным Рави Шанкармом стали историческим событием), философии и обычаев.

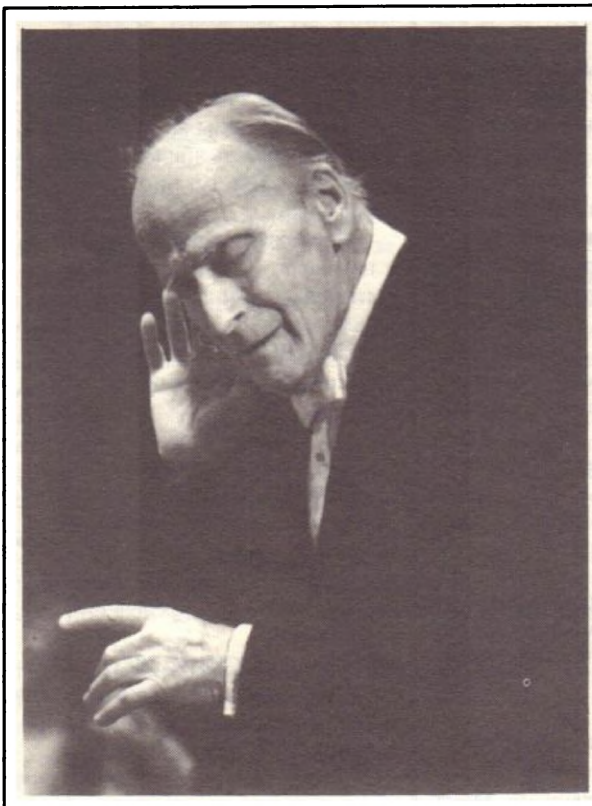
Программа, предложенная оркестру Менухиним, -- две не самые популярные оперные увертюры Россини, «Итальянка в Алжире» и «Шелковая лестница», и его Соната для струнных соль мажор (1992-й -- год двухсот-

## Михаил БЯЛИК

нии соответствия тому, что его внутреннему слуху представляется как некий идеал. Никогда, -- во всяком случае, в те дни, что я наблюдал его -- не прибегает он к строгому внушению, диктату. Мне трудно представить его себе не только гневным, но даже сердящимся. Да и к чему? Молодые музыканты исполнены глубочайшего доверия, маэстро же постоянно поощряет их: каждая особенно хорошо сыгранная реплика сопровождается его улыбкой, а то и хвалебным восклицанием.

Короче, контакт, возникший с первых

# МЕНУХИН ИСПОЛНЯЕТ "МЕССИЮ"



мгновений, упрочивался. Вечером казалось, что наши музыканты играли с Менухиним уже не раз. Концерт имел огромный успех, и маэстро, элегантно в своем красивом голубом смокинге, отвечая на бурные изъявления восторгов темпераментной публикой, испытывал, казалось, удовлетворение. На следующий день программа была повторена в Бургосе, испанском городе, славящемся своим фантастически прекрасным собором. Тут уж ощущение сыгранности, душевной и собственно звуковой гармонии было абсолютным.

Умея строго сосредоточиться на музицировании, Менухин, чья нервная организация необычайно совершенна, легко «рас-средоточивается», когда это ему нужно, без усилий концентрируется на другом. Начисто лишенный высокомерия, он не просто доступен, но с уважительным вниманием относится к каждому, с кем вступает в разговор. Несколько раз и мне довелось с ним беседовать.

Он весьма полно осведомлен о том, что творится в разных концах мира, внимательно следит и за происходящим у нас. Мир болен, считает он и этим глубоко озабочен. Мои жалобы относительно нарастающего кризиса в СНГ парирует примерами кризисных явлений в Америке и Западной Европе; расистские погромы в Чикаго, выступления неонацистов в бывшей ГДР, что -- лучше? Его очень настаороживает и пугает усиливающаяся бездуховность. Множество людей, констатирует он, обходится без религии, без искусства, литературы, исторических знаний, вообще -- без образования. Все это в «лучшем» случае заменяет им телевизор.

Никто не желает признать себя виновным за происходящие в мире катастрофы. Но невиновны, полагает он, только дети и юношество. С ними связывает он главные свои заботы. Менухин любит вспоминать, как в 1945 году в затемненной, израненной Москве попал он внезапно в счастливое царство любви и красоты. То была Центральная музыкальная школа при консерватории. С той поры открыть свою подобную же школу для особо одаренных детей стало его мечтой. Он осуществил ее в 1963 году, в Англии, в городке Сток д'Абернон, неподалеку от Лондона. Затем другая школа -- следующая возрастная ступень -- была им основана в Швейцарии, в Гштааде. Среди педагогов были и остаются несколько москвичей и петербуржцев, чьим опытом Менухин дорожит. Программой предусмотрено не только

летия композитора), а также Дивертисмент ре мажор Моцарта и Симфония си бемоль мажор Шуберта. Оркестранты эти произведения знали: накануне гастролей в Петербург приезжал сотрудничающий с Менухиним одаренный дирижер Джеймс Блэйр, он отрепетировал их с Камератой и успешно сыграл в концерте. Но Менухин многое в темпах, штрихах, оттенках изменил. Он любит очень живое движение. Заключенные в музыку контрасты он делает рельефней. Каждая сыгранная фраза являет собой волну, нарастание и спад, с точно фиксированной вершиной. Фразы складываются в более крупные построения, те -- в законченные разделы, но ощущение вздымающихся волн, естественного дыхания сохраняется и в этом измерении. Блистательный знаток струнных инструментов, он и в коллективном музицировании выявляет тончайшие их возможности. Добиваясь чего-то -- и это одно из важнейших дирижерских достоинств, -- он не останавливается на полпути. Повторением, разъяснением, с собственным показом, неожиданным, даже парадоксальным порой, сравнением он достигает в реальном звуча-



интенсивное профессиональное обучение, но и широкое гуманитарное образование (языки, история, различные искусства). Сам мэтр также занимается с учениками. Он проводит со своими воспитанниками концерты, фестивали, гастроли. Но охотно откликается на предложения выступить и с другими юными солистами и ансамблями, любит знакомиться с новыми для него коллективами. Вот так, через С. Сондежкиса, завязался и контакт с «Санкт-Петербург-Камератой».

Самое сильное впечатление от их недолгого пока совместного творческого общения -- исполнение знаменитой оратории Генделя «Мессия» при участии прекрасного Камерного хора из Каунаса (коллектив этот создал и четверть века возглавляет Петрас Бингелис) и солистов Линды Рассел из Лондона, Лилианы Бизниче из Лиссабона, Альгирдаса Янутиса и Владимира Прудникова из Вильнюса. Первый раз это происходило в горах провинции Астремадур, в городе Гваделупа, у подножия монастыря, где хранится одна из самых древних и самых почитаемых в христианском мире икон Богоматери. По преданию, сюда 500 лет назад, перед тем как отправиться на поиски новых путей в Индию -- в главании этом была открыта Америка, -- приходил за благословением Колумб. В честь святой своей покровительницы один из островов Вест-Индии он назвал Гваделупой. Любопытно, что в тактичном и весьма впечатляющем живописно-сценическом решении оратории, предложенном видным польским режиссером Рышардом Перитом, в один из кульминационных моментов раскрываются огромные створки и возникает, ко всеобщему ликованию, увеличенное изображение местной святыни.

Из-за страшной дневной жары жизнь в Испании оживает поздно вечером. Концерт, начавшийся в 11 часов, продолжался до 2-х ночи. Интернациональная по составу публика была исполнена сосредоточенности

и с благоговением внимала высокому смыслу и изумительным красотам великого творчества. Монументальная всеохватность обобщения и величавый эпический тон удивительным образом соединяются с трогательной прочувзованностью выражения: всечеловеческое оказывается собственным переживанием каждого. И это свойство библейской легенды в ее музыкальном изложении так полно открылось Менухину, а вслед за ним и всем нам!

И все конкретное в этот вечер обрело также очертания символов: донесшееся из глубины тысячелетий моление о крепости веры, о мире и благоденствии, и объединившаяся в поклонении прекрасному многоязычная, разноплеменная людская масса на артистическом подиуме и на площади, и предстоявший в этом почти мистическом и таком земном действе Менухин.

Да, и он был символом. Мальчик из семьи еврейских беженцев из России достиг высот людского признания. Королева Великобритании удостоила его дворянства и титула сэра, он -- почетный гражданин Швейцарии и кавалер высших орденов чуть ли не всех стран, почетный доктор крупнейших университетов. Чаше и оправданней, чем кого-либо иного, его именуют гражданином мира. Воспитанный в детстве в религиозном духе, он остался чужд какому бы то ни было догматизму и ограниченности: будучи глубоко осведомленным в разных религиях, он видит и чувствует в них гораздо больше общего, нежели разъединяющего и противопоставляющего.

Он не приемлет зла, однако же и незлопамятен. Он считает необходимым прощать и доверять тем, кто готов к покаянию и хотел бы искренне исправить былые заблуждения, даже тяжкие. Я знаю крупных музыкантов, которые до сих пор избегают посещать Германию, не простив ей Гитлера. Менухин же выступил в Германии уже в июле 1945 года.

В 1929 году, когда ему еще не было 13 лет, в Берлинской филармонии, где он играл под управлением великого Бруно Вальтера, он пережил один из самых грандиозных своих триумфов. Потрясенный Альберт Эйнштейн, поздравляя мальчика, сказал ему: «Теперь я знаю, что на небе есть Бог». После окончания войны Менухин был одним из первых, кто поверил в возрождение Германии и этому возрождению способствовал. Он и ныне, продолжая давнюю традицию, выступает с оркестром Берлинской филармонии ежегодно.

Кстати, и к нам он снова приехал, едва лишь зашатался стул под правителями, которые так были им напуганы и так хотели припугнуть его! В 1971 году в Москве, на Конгрессе Международного Музыкального Совета ЮНЕСКО, президентом которого он был единодушно переизбран, Менухин произнес блистательную «тронную речь», в которой, однако, деликатно дал понять, что не является сторонником режима, который держит искусство в тисках. А говоря о выдающемся вкладе русских в мировую культуру и называя имена крупнейших современных художников, он позволил себе упомянуть в их числе... Солженицына. На Старой площади речь Менухина была трактована как диверсионный акт со стороны мирового империализма. Была спущена команда дать ему идеологический отпор, и засуетились «музыковеды в штатском».

Через несколько дней после исполнения «Мессии» в Гваделупе тот же артистический состав собрался в испанском курортном городке Перелада, связанном с памятью о Сальвадоре Дали. А осенью генделевская оратория потрясла слушателей в Вильнюсе и Москве. Сфера магического воздействия сэра Йегуди продолжает расширяться.



**О**н ждет в одной из артистических уборных Американского Балетного Театра, помещенной именами Твилы Тарп и Марианны Черкасской. На стене связка балетных туфель -- поношенных, но элегантных. Карточка, написанная «Марианне», воткнута во вчерашний щедрый букет. Рассеянный, но настороженный Барышников откинулся на спинку стула, но плечи защитно подал вперед. В ответ на благодарность за предоставленное время он церемонно кивает и вежливо, но холодно роняет:

-- Рад служить.

-- Когда вам стукнуло сорок, -- признается он (на деле ему сорок два), -- ваша память уже не так остра, ваше тело не так молодо. Хотелось бы, чтобы этот умственный процесс повзросления случился двадцатью годами раньше. Иногда кажется такой пошлой глупостью все, что мы делали юнцами или в возрасте двадцати лет, тратя время на пустяки, вместо того чтобы совершить что-нибудь многозначительное.

На вопрос, что он подразумевает под «многозначительным», я не получаю ответа.

Тяга к самовыражению позволяет ему удобно располагаться в процессе создания чего бы то ни было.

-- Работа в разных плоскостях творчества вскрывает разные ваши возможности, о ка-

## Джоан АРНОЛЬДС

нул пост художественного руководителя Американского Балетного Театра. А возглавил он эту труппу в 1980 году, после того как директоры Оливер Смит и Лючия Чейз, собираясь передать эстафету, сманили его во время паузы в театре Нью-Йорк Сити Балле. Первый танцовщик мира, переступив за пределы этой своей роли, серьезно отнесся к обязанностям руководителя, хотя занять эту должность скорее заставили посторонние интересы, нежели собственный порыв.

«Он грандиозно повлиял на танец, -

# ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ



С тех пор как в 1974 году Барышников бежал из Советского Союза, его изголодавшийся талант не находил утешения. Этот человек попробовал решительно все: танец, фильмы, театр, эскизы танцевальных костюмов и производство духов. Он берет на себя полную ответственность за каждое мероприятие, которое повышает престиж или рекламирует имидж Барышникова -- его российский романтизм, его проказливую сексуальность. Он говорит:

-- Инициатива всегда моя: ставлю перед собой всякий раз новую задачу и сам справляюсь с ней. Никого потом не порицаю. Я все выбрал сам.

Теперь, когда близок конец его длинной и ослепительной карьеры танцовщика, он ищет финансовой обеспеченности и новых путей самораскрытия:

ких вы даже не подозревали, -- говорит он, часто и подолгу останавливаясь из-за все еще длящейся борьбы с английским языком. -- Вы живете двадцать, тридцать, сорок лет и вдруг, прикасаясь к чему-то, что никогда вас не занимало, получаете множество разного рода побудительных мотивов, разного рода идей. Понятно? Это заставляет тянуться.

К чему же тянется он сам?

-- Может быть, я примеряю слишком много шапок, -- устало признается он.

Гадая, куда же приведет эта страсть к новым заботам, я спрашиваю, имеются ли у него новые задумки или тарелочка полна до краев. Он долго иронически хохочет и замечает:

-- Тарелочка-то потрескалась.

Прошлой осенью поиски Барышникова сделали крутой поворот. Он внезапно поки-

утверждает известный балетный педагог Дэвид Хоуард. -- Главным образом, как величайший танцовщик века. Но ведь то, что вы невероятно талантливы как танцовщик, во все не означает наличия у вас тех же мерок таланта во всех других направлениях. И вы не можете быть всем для всех только потому, что способны, выйдя на сцену, восхищать зрителей. Скорее, тут всему и начало и конец».

Барышников получал противоречивые отзывы о его деятельности в АБТ. Он попытался развенчать звездную систему этой труппы, окружившую его с момента бегства, -- как раз в подходящий момент «выдернул коврик» из-под ног необычайно талантливого Фернандо Буджонса, только начинавшего свою карьеру. Опытные и популярные балерины, такие, как Мартина ван Хамел и

Синтия Грегори, были оттеснены ради выдвигания молодых солисток. «Он составил новую труппу, -- говорит Сюзанна Жафф, прима-балерина барышниковского *Лебединого озера*. -- Он прогнал оттуда множество народа и взял нужных ему людей, продавнув выбранных им молодых танцовщиков. До прихода Миши труппа и вправду была не слишком хороша: приглашали иностранных звезд, иначе было не продать билетов».

Барышников, несомненно, укрепил репутацию АБТ и поднял технический уровень труппы. Однако сопротивлялся, если его отождествляли с нею. Последние годы его правления эта труппа походила на жену, ревниво следящую за похождениями мужа. Многих удивляло, почему он танцует у Марты Грэм, а не в АБТ, почему гастролирует по Соединенным Штатам со своей труппой -- единственный мужчина среди десяти избранных балерин АБТ и уклоняется от сезона в Нью-Йорке. А кое-кто сожалел: он так озбоченно выдвигает себя, что ему не до выдвигания труппы.

Хотя руководство Барышникова стояло под вопросом, никто не сомневался в его энергии. Терри Вагенер, его личная помощница с 1988 года, рассказывает: «Он трудится прилежнее, чем кто бы то ни было из тех, кого я знаю. Трудится без отдыха и срока. Это выше принуждения. Это почти походит на предсмертную волю. Я не встречала никого, кто был бы так дисциплинирован... Я все ждала, когда же он позволит себе лениться? Но ждала напрасно. Взяв отлучку на один день, он превращался в тигра, запертого в клетке. Помнится, я подумала: «Боже мой, как, однако же, хорошо, что он танцовщик, а не террорист».

Когда он стрелой мчится сквозь свои эксперименты, трудно вспомнить, как много он потерял. Барышников родился в латвийском городе Рига в семье военного -- сурового, необщительного отца и чувствительной, неуравновешенной матери, которая брала сына с собой на представления ее любимых опер и балетов. Последний раз он видел ее из окна вагона, пока она шла по перрону, обливаясь слезами. Семья собралась провести отпуск вместе, но мать вдруг осталась, позволив двенадцатилетнему Мише уехать без нее. Вернувшись домой, мальчик узнал, что она умерла, а несколько лет спустя случайно услышал, что она повесилась.

-- Причины я так и не узнал, -- поведал он. -- В ту пору такая весть была равносильна концу жизни.

Вместе с тем тут начало его приобщения к балету. Барышников делил с отцом холодную атмосферу дома, пока учитель танцев не порекомендовал его в Ленинградское училище имени Вагановой.

-- Я был похож на козленка, прыгающего через столы и стулья, -- вспоминает он себя.

Легкость и осанка шестнадцатилетнего Миши были примечательны. Вдобавок к безупречной школе, его учитель Александр Пушкин обеспечил радушную, отеческую поддержку и, несмотря на невысокий рост ученика, поощрял его братья за главные роли.

Наперекор традициям Барышникова приняли солистом в балет Кировского театра, когда ему исполнилось восемнадцать лет.

Хотя история бегства Барышникова в Торонто варьировалась на протяжении лет, -- постепенно ли созревало решение или возникло внезапно, -- это все еще сказка о беспокойном духе, согласном платить любую цену за свободу художника.

С момента прибытия в Нью-Йорк Барышников электризовал зрителей как солист АБТ. Но в 1978 году он поставил интересы искусства выше положения звезды

и пошел работать к Джорджу Баланчину в Нью-Йорк Сити Балле. Чарльз Франс считает, что за это время Барышников накопил бы одними гастролями достаточно денег, чтобы смягчить горечь конца короткой карьеры танцовщика. Франс утверждает: «Как художник он оказался замечательно смел и дальновиден, пойдя работать с Баланчиным. Для восходившей суперзвезды это, конечно, было чистым безумием». Барышников всегда мечтал о работе с мастером. К тому времени здоровье Баланчина уже пошатнулось, и Барышников очутился в тени «беззвездной» системы НИСБ, насилуя свое тело, чтобы соответствовать меркам Баланчина.

Он с полной отдачей посвятил громадный талант и энергию танцу, прикрывающему боль романтическим флером. Когда посреди представления *Жизели* в Лос-Анджелесе в ноге Барышникова сместилась кость, он ушел со сцены в муках и не мог ни прикоснуться к этой ноге, ни опереться на нее. Семь тысяч зрителей не имели понятия, что за четыре минуты отсутствия звезды хирург Питер Маршалл вправил и закрепил на месте косточку так, что Барышников вовремя вышел на сцену.

Но он способен перейти черту между посвящением себя танцу и саморазрушением. Один обозреватель заметил, что, «взяв танцовщиков и костюмы АБТ, Барышников за месяц гастролей заработал миллион долларов, но погубил свое тело, погубил колени. Один этот месяц плюс годы чрезмерной нагрузки на связки, так же как трудности разных технических приемов, заставили его тело восстать против напора сомопоглощения и самопожертвования».

Танцу с АБТ, он окончательно разошелся со своими самыми знаменитыми партнерами. После блистательного начала Наталия Макарова перестала танцевать с Барышниковым, сказав: «Грубо, но, честно говоря, я чувствую, что отдаю ему больше, чем он дает мне». Так же, как с Макаровой, у него бывали моменты незабываемого сценического волшебства с Гелси Керкланд. Дэвид Хоуард, наставник и близкий друг Керкланд, работал с ними в классе, когда Барышников только что совершил побег и выбрал ее в партнерши. Он говорит: «Я всегда интересовался мнением Гелси, ценя ее интеллект... Такие танцовщицы, как Гелси и Наташа, необычны потому, что интересуются поступательным развитием художественных форм на ежедневной основе. Обе не шадят сил, работая в классе. А Миша не может дождаться продолжения и нетерпеливо скачет по комнате».

Взрывчатая природа и сексуальная притягательность делают Барышникова неотразимым. «Он обладает захлестывающим обаянием, -- говорит Вагенер. -- Я привыкла к знаменитостям, но не нашла никого с такой силой воздействия. Когда он входит в комнату, все встают и не садятся, пока он не выйдет. Его энергия утомляет». Он способен воспользоваться своей захватывающей индивидуальностью, чтобы сыграть роль в полную силу на обаянии. Однажды Нан Кемпнер защемила в каминной решетке каблук своей вечерней туфельки. Статья в *Таймс* описала, как Барышников «подхватил Кемпнер и увлек в импровизированное pas de deux».

-- А это что, Золушка? -- спросил он, извлекая туфельку и надевая ей на ногу.

-- Прекрасный принц! -- ответила миссис Кемпнер.

А когда они скользнули к столу, она вытащила из вазочки ветку душистого горошка и заткнула ее Барышникову за правое ухо».

Чувство риска продолжает его одолевать. Когда он выступил на премьере *Американского документа* Марты Грэм, то, выйдя на сцену, вызвал неимоверный взрыв. Я сидела в четвертом ряду -- слишком близко, чтоб оценить размах хореографии, но достаточно близко, чтобы заметить легкое волнение, когда он задержался, переводя дух, в правом углу сцены. Он нервничал. Грэм говорила об «уязвимости, об открытости, уводящих за технику, -- главным, что Миша приносит на сцену».

Ныне, на пороге очередной метаморфозы, он встречает ее напор, пытается совершить большее и перекрыть каждое последнее представление следующим. За ним невообразимо трудно поспевать. Похоже, он избегает вопросов, еще не получивших ответа, вопросов о его прошлом, о том, что близко сейчас, и о том, что спрятано внутри.

Покрытый тайной и выставленный напоказ своей собственной известностью, он уверяет, будто «чувствует себя вполне уютно оттого, что на самом деле люди все равно не знают, кто я такой». Его голос черствеет:

-- Неважно, что они там пишут, а что говорят. Мне плевать, пишете, что заблагодарасудится. Меня это не волнует. Им никогда не узнать, каков я на самом деле.

Печатается с сокращениями.

## Александр ТАНКОВ

\* \* \*

*Еще пронизано все тело сквозняком  
Последнего немого содроганья,  
И я опять едва с тобой знаком.  
А были мы, как две трубы в органе,  
Глаголющие страшным языком  
Бессмертной, никогда не лгущей страсти.  
А были мы разорваны на части  
И мертвою обрызганы водой,  
И срачены. И горшею бедой,  
Чем смерть, -- разлука нам. Не в нашей власти  
Хоть на мгновенье руки развести.  
А были мы, как две строки о счастье,  
И ты шептала: Сердце отпусти!  
Еще течет, сверкая, сквозь меня  
Река живая тьмы и наслажденья,  
Река живая меда и огня.  
Но нежность -- только маска отчужденья.  
Спи, нежная, моя. Прости меня.*

# П

риблизительно час тому назад и сцена, на которой я стою, и ваши места были совершенно пусты. Через час они опустеют вновь.

Этот зал, наверное, пустует большую часть дня: пустота - его естественное состояние. Будь он наделен разумом, наше присутствие показалось бы ему обременительным. Такой пример, во всяком случае, вполне позволяет судить о значительности человека, и безусловно, о значительности нашей встречи. Независимо от того, что привело нас сюда, соотношение не в нашу пользу. Сколько бы ни радовались мы тому, как нас много, мы составляем величину бесконечно малую в пространственном отношении.

То же самое, думаю, можно сказать о любом человеческом собрании, но дело обстоит совершенно иначе, когда речь идет о поэзии. Во-первых, поэзия, и писание ее, и чтение - атомизирующее искусство: оно гораздо менее социально, чем музыка или живопись. Еще у поэзии есть некий вкус к пустоте, начиная, скажем, с пустоты бесконечности. Но главным образом потому, что исторически сложившееся соотношение поэтической аудитории и остального общества - не в пользу поэтической аудитории. Так что мы должны быть довольны друг другом, хотя бы по той причине, что наше пребывание здесь, при всей его кажущейся незначительности, - продолжение той самой истории, которая, как утверждают распространившиеся у нас в городе слухи, уже закончилась.

На всем протяжении так называемой писаной истории численность поэтической аудитории, по-видимому, никогда не превышала одного процента населения в целом. Цифра эта выводится не из каких-то специальных исследований, а из нравственного климата мира, в котором мы живем. Вообще погоды стояли такие, что подчас мы даже слишком великодушны в своих оценках. Не похоже, чтобы во времена как античности, греческой или римской, так и славного Ренессанса или Просвещения власти поэзии подчинялись умы многочисленных слушателей, не говоря уже о легионах и батальонах, или чтобы ее много читали.

Поэзию никогда не читали много. Слава тех, кого мы называем классиками, создается не современниками, а потомками. Это не значит, что в потомках получают количественное выражение их достоинства. Потомки, пусть с запозданием и с натугой, лишь обеспечивают изначально им положенное число читателей. Ведь на самом деле жили они в обстоятельствах, вообще говоря, весьма стесненных: искали расположения покровителей или стекались ко двору точно так же, как нынче поэты отправляются в университеты. Связано это было явно с надеждой на щедрость, но то был и поиск аудитории. Грамотность - привилегия избранных, а потому где еще мог найти поэт сочувственного слушателя или внимательного читателя своих строк? Культура нередко пребывала там же, где власть: где был лучше стол, а общество - разнообразнее и добрее, чем в каком-либо другом месте, в том числе и в монастыре.

Шли века. Пути власти и культуры разделились, кажется, навсегда. Такова, конечно, цена демократии, власти народа и для народа, из коего лишь все тот же один процент читает поэзию. Если современного поэта что-то и связывает с его коллегой времен Возрождения, это прежде всего мизерное распространение его сочинений. Можно, в зависимости от темперамента, упиваться извеч-

ностью своего незавидного положения: гордиться ролью продолжателя освященной традиции или в равной мере находить удовлетворение в том, что имеешь в своем смиренном именованных предшественников. Нет ничего психологически более благодарного, чем причащение к славе прошлого, хотя бы потому, что прошлое определеннее настоящего, не говоря о будущем.

У поэта всегда есть возможность утолить свою печаль словесными излияниями: в конце концов, это его *metier*\*. Но я здесь не для того, чтобы говорить о печальной участи поэта, который, в конечном счете, никогда не бывает жертвой. Я здесь для того, чтобы говорить о печальной участи его аудитории: так или иначе, о вашей печальной участи.

## Иосиф БРОДСКИЙ

мер в робе - Монтале и Марвелла. Да и политику, если на то пошло, не положено знать наизусть Джеральда Мэнли Хопкинса или Элизабет Бишоп.

Это столь же глупо, сколь и опасно. Подробнее об этом после. Пока что я только настаиваю на том, что нельзя брать за основу рыночный принцип, распространяя поэзию, потому что в этой области любые предвзятые оценки по определению сужают наличный потенциал. Когда речь идет о поэзии, то конечный результат изучения спроса, несмотря на все компьютеры, получается

# НЕСКРОМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Получая в нынешнем году жалование от Библиотеки Конгресса, я это делаю по долгу службы и никак иначе. Так что именно поэтическая аудитория составляет предмет моих забот, и именно как государственный служащий я считаю существующее соотношение в один процент удручающим и ужасным, если не сказать трагичным. Ни мой темперамент, ни досада автора из-за собственного нераскупленного тиража здесь совершенно ни при чем.

Обычный тираж первого или второго сборника любого поэта в нашей стране колеблется примерно от двух до десяти тысяч экземпляров (и я говорю только о коммерческих издательствах). По последней переписи, о которой мне известно, население Соединенных Штатов составляет приблизительно двести пятьдесят миллионов человек. Это значит, что, печатая первый или второй сборник того или иного автора, обычное коммерческое издательство имеет в виду лишь 0,001 процента населения в целом. Помоему, это бред.

Многие века публике преграждали доступ к поэзии отсутствие книгопечатания и ограниченное распространение грамотности. Теперь и то, и другое наличествует почти всюду, и вышеупомянутый процент уже не имеет оправдания. Вообще даже если исходить из этого самого процента, то издательства должны выпускать поэтические сборники тиражом не от двух до десяти тысяч, а в два с половиной миллиона экземпляров. Наберется ли у нас в стране столько читателей поэзии? Думаю, да; думаю, что на самом деле наберется гораздо больше. Сколько именно - можно, конечно, определить, изучая рынок, но как раз этого делать не следует.

Ибо изучение рынка по определению ограничивает. Так же, как ограничивает любое социологическое разбиение данных переписи по группам, классам и категориям населения. Оно предполагает, что каждой социальной группе присущи некие обязательные свойства и предписывает определенные способы обращения с нею. Это просто-напросто приводит к оскудению пищи для ума, к духовной разобщенности. Потребителями поэзии считаются люди с высшим образованием, и в них и метит издатель. Голубые воротнички не будут читать Горация, а фер-

сугубо средневековый. Все мы грамотны, значит, каждый из нас - потенциальный читатель поэзии: вот из какой предпосылки, а не из вызывающего клаустрофобию понятия спроса нужно исходить при распространении книг. Ведь в культуре не спрос порождает предложение, а наоборот. Вы читаете Данте, потому что он написал *Божественную комедию*, а не потому, что у вас вдруг возникла в нем потребность: вообразить этого самого Данте или его поэму вы бы никак не могли.

Поэзия должна быть доступна публике в гораздо большем объеме, чем теперь. Она должна быть так же вездесуща, как природа вокруг, из которой поэзия черпает многие свои сравнения; или так же всезвездна, как бензоколонки, если не сами автомобили. Нужно, чтобы не только в университетских городках и на главных улицах, но и у заочных проходных были книжные магазины. Изданные в мягких переплетках книги тех, кого мы считаем классиками, должны стоить дешево и продаваться в супермаркетах. В конце концов, у нас страна массового производства, и я не понимаю, почему нельзя выпускать поэтические сборники точно так же, как выпускают автомобили, - ведь они и увозят гораздо дальше. Может быть, потому, что вам не хочется уехать немного дальше? Может быть; но если это так, то потому, что вы лишены средств передвижения, а не потому, что не существуют дали и цели, которые я имею в виду.

Наверное, даже сочувственному слушателю все это может показаться каким-то безумием. Но это не безумие, и, к тому же, имеет прямой экономический смысл. Сборник стихов, напечатанный в количестве 2,5 миллиона экземпляров по цене, скажем, два доллара за штуку, в итоге принесет больше прибыли, чем то же самое издание, напечатанное тиражом в десять тысяч по цене двадцать долларов. Перед вами, конечно, может встать проблема хранения, но тогда у вас возникнет необходимость расширить распространение на всю страны. Кроме того, если правительство признает, что формирование домашней библиотеки так же важно для вашего духовного призвания, как деловые ланчи - для призвания светского, то для пишущих, читающих и публикующих поэзию можно сильно снизить налоги. В накладе, конечно, останут-

\*Ремесло (фр.)

ся главным образом тропические леса Амазонки. Но оказавшись перед выбором стать сборником стихов или блокнотом для деловых записей, дерево, полагаю, выберет первое.

Книга заводит далеко. Перебор в вопросах культуры - не возможная стратегия, а необходимость, потому что избирательный культурный прицел чреват поражением, как бы точно наведен он ни был. И вот, не имея ни малейшего представления о том, к кому именно я сейчас обращаюсь, я, соответственно, хотел бы высказать предположение, что теперь, при современных дешевых технологиях, наметилась отчетливая возможность превратить нашу страну в страну просвещенной демократии. И по-моему, такую возможность нужно достойно использовать, пока библиотеки не вытеснены видеотеками.

Рекомендую начать с поэзии не только потому, что таким образом мы повторили бы путь развития нашей цивилизации - песня родилась прежде повести, - но и потому, что поэзию дешевле печатать. С десятков названий - для начала будет неплохо. На полке у любителя поэзии стоит в среднем, думаю, где-то от тридцати до пятидесяти сборников разных авторов. Половина уместится на одной полке, на камине, на худой конец, на подоконнике в доме каждой американской семьи. Стоимость десятка поэтических сборников в мягкой обложке, даже по их теперешней цене, составит самое большее одну четверть стоимости телевизора. Не покупают же их вовсе не потому, что широкая публика не имеет вкуса к поэзии; а потому, что усладить этот вкус почти нечем: из-за недоступности книг. По-моему, книги должны приносить к порогу, как электричество или, как в Англии, - молоко: они должны считаться предметом повседневного обихода и, соответственно, стоять предельно дешево. Если это нереально, можно было бы продавать поэзию в аптеках (не в последнюю очередь потому, что тогда бы, возможно, счета от психиатров стали меньше). И по крайней мере,

по всей стране в каждом номере каждого мотеля антология американской поэзии должна лежать в тумбочке рядом с Библией, которая наверняка не станет возражать против такого соседства, раз она не возражает против соседства с телефонной книгой.

Все это осуществимо, особенно в нашей стране. Ибо американская поэзия, помимо всего прочего, - ее величайшее достояние. Нужно быть иностранцем, чтобы ясно увидеть какие-то вещи. Вот одна из таких вещей, а я - как раз иностранец. Стихи, вышедшие из-под пера на этих берегах за последние полтора века, по количеству затмевают достижения любой другой литературы в той же области, и если хотите, достижения нашего джаза и нашего кино, вызывающих заслуженное восхищение во всем мире. То же самое я бы сказал и о ее качестве, ибо это поэзия индивидуальной ответственности. Ничто так не чуждо американской поэзии, как эти благородные европейские ампулы: ощущение себя жерт-

вой, у которой исступленно крутится палец в поисках виноватого, возвышенные порывы, притязания Прометея и комплекс исключительности. У американской поэзии есть, разумеется, и свои пороки: слишком много провинциальных визионеров и многоречивых неврастеников. Но она дает прекрасную закалку, и верность принципу ее однопроцентного распространения лишает нацию природных запасов прочности, не говоря уже о предмете гордости.

Американская поэзия - явление поистине замечательное. Много лет тому назад я дал прочесть великому русскому поэту Анне Ахматовой несколько стихотворений Фроста из сборника «К северу от Бостона». Через несколько дней я снова был у нее и спросил

что именно в этой стране эта индивидуалистическая тенденция, как у модернистов, так и у традиционалистов, была доведена до своего идиосинкразического предела. (На самом деле, она-то и породила модернизм.) На мой взгляд и слух, американская поэзия - это неустанная непрерывная проповедь человеческой автономии; если хотите, песня атома, сопротивляющегося цепной реакции. Общая ее интонация - интонация стойкости и силы духа, интонация, требующая не отводить глаза, глядя на самое худшее. Глаза у нее, несомненно, раскрыты, не столько от удивления или в ожидании откровения, сколько в поисках опасности. Она скупа на утешение (путь, которым во многом идет европейская, и в особенности русская поэзия); насыщена подробностями и в них очень прозрачна; лишена ностальгии по некоему Золотому веку; щедра на смелость и на уход. Если подыскивать ей девиз, я бы предложил строчку из «Слуги слуг» Фроста: «Лучший выход -- всегда проход напрямик».

Если я позволяю себе так обобщенно говорить об американской поэзии, то не из-за ее мощи и обширности, а потому, что моя тема - доступность ее для общества. А в связи с этим нужно заметить, что старая притяжка о роли поэта в обществе или его долге перед обществом ставит вопрос в целом с ног на голову. Если и можно говорить об общественной функции человека, который работает сам на себя, то общественная функция поэта - писать, и он пишет не потому, что его назначило общество, а по своей доброй воле. У него есть один долг - перед языком, то есть долг писать хорошо. Когда поэт пишет, и в особенности хорошо пишет на языке своего общества, он делает большой шаг ему навстречу. Обязанность общества - пройти свою часть пути, то есть открыть и прочитать его книгу.

Если здесь и можно говорить о нарушении долга, то не со стороны поэта, потому что поэт продолжает писать. Ведь поэзия - это высшая форма речи, доступная человеку в любой культуре. Не читая и не слушая поэтов, общество обрекает себя на низшие - свойственные политике, торговцу или шарлатану, короче говоря, самому обществу - способы выражения. Иными словами, оно лишает себя эволюционного потенциала, ибо именно дар речи выделяет нас из всего животного царства. Обвинения, часто предъявляемые поэзии - в том, что она трудна, непонятна, герметична и бог знает что еще, - свидетельствуют не о состоянии поэзии, а, честно говоря, о том, на какой ступени эволюционной лестницы застряло общество.

Ибо поэтическая речь непрерывна; к тому же она избегает клише и повторов. Их отсутствие и отличает искусство от жизни, главный, если так можно выразиться, стилистический прием которой - именно клише и повтор, потому что она всегда начинается с нуля. Неудивительно, что сегодня, неожиданно столкнувшись с этой дряхлеющей поэтической речью, общество испытывает растерян-



ФОТО М. ЛЕВКИНА

ее мнение. «Что это за поэт? - спросила она с притворным негодованием. - У него все время идет речь о купле-продаже! О получении страховки и тому подобных вещах!» (Думаю, что она имела в виду стихотворение «Расщепитель звезд».) И помолчав, добавила: «Какой ужасающий поэт». Эпитет был выбран точно. Он говорил об отличии поэты Фроста от традиционной «трагической» поэты поэта в европейской и в русской литературе. Ибо трагедия, даже та, в которой человек сам виноват, - всегда совершившийся факт, взгляд в прошлое, тогда как ужас обращен в будущее и возникает от предчувствия, а точнее, осознания отсутствия возможностей.

Само собой напрашивается предположение, что вот это выражение ужаса и есть сильная сторона Фроста и всей американской поэзии вместе с ним. Поэзия, по определению, - искусство в высшей степени индивидуалистическое: есть некая логика в том, чтобы она обреталась в Америке. Во всяком случае, более чем логично то,

ность, как если бы оно открыло книгу на середине. Я как-то сказал, что поэзия - не вид развлечения, и в каком-то смысле - даже не вид искусства, а наша антропологическая, генетическая цель, наш лингвистический, эволюционный маяк. Мы как будто понимаем это в детстве, когда, овладевая языком, поглощаем и запоминаем стихи. Однако во взрослом возрасте, убежденные, что им овладели, мы оставляем это занятие. Но овладели мы лишь наречием, которого, может быть, вполне достаточно для того, чтобы перехитрить противника, продать товар, лечь в койку, продвигаться по службе, но безусловно недостаточно для того, чтобы утолить боль или вызвать радость. До тех пор, пока человек не научится до отказа, как грузовой фургон, наполнять предложения смыслом или видеть и любить «паломнику-душу» в чертах возлюбленной, пока он не поймет, что «Память о прежнем блеске/ Не искупает позднейшего небрежения/ И не смягчает горечь конца» - до тех пор, пока такие вещи не будут у человека в крови, он относится к бессловесным тварям. Коих большинство, если от этого легче.

Чтение поэзии - процесс потрясающего лингвистического осмоса, если ничего более. Это также чрезвычайно экономная форма духовного ускорения. Хорошее стихотворение вмещает огромные духовные просторы на очень малом пространстве и нередко, к финалу, дарит богоявлением или откровением. Как средство познания поэзия выше, чем все существующие формы анализа, потому что а) она сводит нашу реальность к ее лингвистическим основам, взаимодействие которых, будь то слияние или столкновение, порождает это богоявление или откровение, и б) потому, что она пользуется ритмическими и эвфоническими свойствами языка, которые сами по себе - откровение. Иными словами, стихотворение, вернее, язык говорит вам: «Будь как я». Оно говорит, что вашей душе предстоит долгий путь. Ибо в момент чтения вы становитесь тем, что читаете, вы становитесь стихотворным состоянием языка, а его богоявление или откровение становятся вашими. Они продолжают быть вашими, когда вы закрываете книгу, потому что вы не можете вернуться в то состояние, когда их у вас не было. В этом - смысл эволюции.

Ведь цель эволюции - выживание не сильнейших и не слабейших. Будь то сильнейшие, нам бы пришлось остановиться на Арнольде Шварценеггере, будь то слабейшие - удовольствоваться Вуди Алленом, что с этической точки зрения предпочтительнее. Цель эволюции, хотите - верьте, хотите - нет, - красота, которая переживает все и рождает истину просто потому, что в ней слито духовное и физическое. Она всегда во взгляде смотрящего, а значит, полностью воплотить ее можно лишь словами: так получается стихотворение, которое так же безнадежно семантически, как оно безнадежно эвфонично.

Никакому другому языку это не присуще в той степени, как английскому. В нем родиться или к нему прийти - величайшее счастье, какое может выпасть человеку. Лишать его хранителей полного к нему доступа - антропологическое преступление, каковым и является существующая система распространения поэзии. Право же, не знаю, что хуже: сжигать книги или их не читать. Впрочем, наверное, определять тираж по предварительным заявкам - это нечто среднее. Простите столь мрачный тон, но когда я думаю, с одной стороны, о том, что великим творениям поэтов, писавших на этом языке, угрожает забвение, а с другой - об умопомрачительной демографической перспективе, у меня возникает чувство, что нас ждет чудо-

вищенный культурный откат. И меня волнуют не культура и не судьба творений великих и менее великих поэтов. Меня беспокоит то, что человек, неспособный изъясниться, адекватно выразить себя, прибегает к действию. Поскольку словарь действия ограничен, как бы там ни было, его телом, он неизбежно станет действовать силой, расширяя свой словарь оружием там, где нужно было бы поставить прилагательное.

Короче говоря, пора кончать с прежними благоглупостями. Поэзию, и классическую, и современную, нужно распространять в общенациональном масштабе. Это, вероятно, должно делаться на частной основе, но поддерживаться государством. Распространение должно быть рассчитано на возрастную группу от пятнадцати и старше. Упор нужно делать на американских классиков; а кого и что печатать, должен решать совет из двух-трех знающих людей, то есть поэтов. Литературоведов с их идеологическими перепалками не нужно, ибо в этой области никто не в праве давать предписания на каких-либо основаниях, кроме вкуса. Красота и сопутствующая ей истина не должны подчиняться никакой философской, политической или даже этической доктрине, потому что эстетика - мать этики, а не наоборот. Если же вы считаете, что это не так, постарайтесь вспомнить, при каких обстоятельствах вы люблялись.

Но не следует забывать, что общество склонно назначать одного великого поэта на период, часто на век. Это делается для того, чтобы избежать ответственности перед остальными, да и выбранным тоже, окажись так, что он или она вам не подходят по темпераменту. На самом деле, в каждой литературе в каждый момент времени есть несколько равновеликих и равнозначных поэтов, которые могут освещать вам путь. Сколько бы их ни было, их число, во всяком случае, в конце концов совпадает с числом известных темпераментов, ибо иначе и быть не может: отсюда различия между ними. Милостью языка они существуют для того, чтобы дать обществу иерархию или спектр эстетических норм - чтобы общество эти нормы превзошло, ими пренебрегло или их признало. Они - не столько ролевые модели, сколько духовные пастыри, сознают они это или нет, - и лучше, если нет. Обществу нужны они все, и случись так, что проект, о котором я говорю, все-таки будет осуществляться, никому из них не следует оказывать предпочтения. На этих высотах нет иерархии, и всем им фанфары должны трубить одинаково громко.

Ибо забвение - не такая уж большая драма для поэта: оно приходит с местом, поэт может позволить себе быть забытым. Я уже говорил, что поэт не бывает побежденным: он знает, что ему на смену придут другие и заступят на ту тропу, которую он оставил. (На самом деле из-за этих множачихся других, напористых и голосистых, требующих внимания, он и предается забвению.) Он может примириться и с этим, и с тем, что считается нытиком. Это общество не может позволить себе забывчивость, и это общество - по сравнению с тем, как силен духом почти всякий поэт - оказывается побежденным и нытиком. Главная сила общества - в самовоспроизводстве, и для него потеря поэта равноценна поражению мозговой клетки. Она влечет за собой нарушения речи, заставляет вытаскивать пустой билет, когда нужно сделать нравственный выбор; или же наводняет речь оценками и превращает человека в готовое вместилище демагогии или просто шума. Но органы воспроизводства остаются при этом целы.

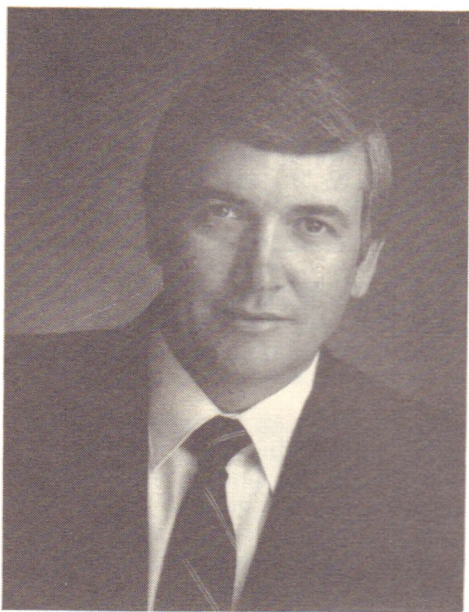
От наследственных расстройств (незаметных, может быть, в одном человеке, но разительных в толпе) существует мало лекарств, и то, что я сейчас предлагаю, таковым не является. Я просто надеюсь, что если эта идея будет иметь успех, то, может быть, немного замедлится расползание нашей культурной болезни на следующее поколение. Я уже говорил, что воспринимаю работу на этой должности как государственную службу, и, может быть, мне бросилось в голову то, что мне платит жалование вашингтонская Библиотека Конгресса. Наверное, я как-то себе кем-то вроде главного врача, прищипывающего наклейку на сходящую с конвейера упаковку поэзии. Что-то вроде: «Этот способ занятий бизнесом вредит здоровью нации». То, что мы живы, еще не значит, что мы не больны.

Часто говорят - первым, по-моему, это сказал Сантьяна, - что те, кто не помнят историю, обязательно ее повторяют. Поэзия этого не утверждает. Все же у нее есть нечто общее с историей: она обращается к памяти и полезна для будущего, не говоря о настоящем. Она, безусловно, не может уменьшить бедность, но может отчасти совладать с невежеством. Кроме того, это единственно возможная страховка против грубости человеческого сердца. Поэтому в нашей стране она должна быть доступна каждому и по низким ценам.

В стране с двухсотпятидесяти миллионным населением можно продать пятьдесят миллионов экземпляров антологии американской поэзии по цене два доллара за штуку. Может быть, не сразу, но постепенно, лет за десять, они разойдутся. Книжки находят своих читателей. А если не разойдутся - пусть лежат, собирают пыль, гниют и разлагаются. Всегда придет ребенок, который выудит книгу из кучи мусора. Мало это или много, таким ребенком был я, как, наверное, и кто-то из вас.

Четверть века тому назад, в предыдущей инкарнации в России, я был знаком с человеком, который переводил за русский язык Роберта Фроста. Я познакомился с ним, потому что читал его переводы: они ошеломили меня, и мне захотелось познакомиться с переводчиком не меньше, чем увидеть оригинал. Он показал мне издание в твердом переплете (выпущенное, по-моему, Холтом и Райнгартом), которое раскрылось на странице со стихотворением «То, что счастье мало по длине, возмещается высотой». На странице был огромный отпечаток солдатского сапога двенадцатого размера. На фронтисписе стоял штамп «СТАЛАГ N 3В», это был концентрационный лагерь для союзников где-то во Франции.

Вот пример того, как поэтический сборник нашел читателя. Ему нужно было только быть под рукой. Иначе на него бы не наступили и, тем более, не подобрали бы его.



*Книга Ларри Кеннеди «Качественный менеджмент в бесприбыльном мире» вскоре выйдет в издательстве «Просвещение» и, вероятно, заинтересует тех, кто восстанавливает славные традиции российской благотворительности. Ее автор -- американец, который прошел путь от сотрудника НАСА до бизнесмена, священника и мецената, организатора многих благотворительных миссий. Одной из них является становление крупного медицинского центра в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга. Книга -- своеобразное учебное пособие для тех, кто хочет сочетать бизнес с благотворительностью. В ней переплелись практические советы и философско-психологические рассуждения, часть которых представлена ниже в обращении автора «К русским читателям».*

## К РУССКИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Когда я впервые приехал в 1989 году в Советский Союз, то увидел общество, которое мучительно искало свою потерянную душу. Сегодня -- вместе со своими русским братьями и сестрами -- я участвую в борьбе за обретение подлинности нации. Мои первые посещения русских семей, вскоре перешедшие в крепкую дружбу, убедили меня в одном: ни политическая система угнетения со своими вождями, ни семидесятилетняя манипуляция фактами и лишения людей свободы и веры не изменили русской души. Ее животворность вновь становится определяющей чертой русских людей. У нового общества есть надежный исторический, социальный, духовный и культурный фундамент.

Конечно, я только один человек, обладающий правом всего лишь одного голоса, я пока ищу свое место служения этому обществу, которое открыло дверь незнакомцу и обращается с ним как с родным. Я сосредоточил свои усилия на развитии бесприбыльного благотворительного сектора и подготовке лидеров, занимающих ответственные посты в этом существенно важном секторе российской экономики. Мои многочисленные контакты с рабочими, предпринимателями, духовенством, правительственными чиновниками, учеными, людьми медицинской профессии, лицами, занимающимися благотворительностью, убедили меня в том, что для деятельности добровольной, бескорыстной, для благотворительных инициатив в России открываются широкие перспективы. Если то, что я испытал и описал в этой книге, будет полезным в такой деятельности, я буду глубоко удовлетворен.

Это поддержит меня и в практических начинаниях. Через Душепопечительское общество святой Ксении мы будем создавать Международный медицинский центр, учреждения, помогающие облегчить быт заключенных и вылечить алкоголиков, банки продуктов и кухни, обслуживаемые добровольцами, а также булочную, функционирующую как на коммерческой, так и филантропической основе. Через Международный фонд развития лидерства мы создадим центр филантропической деятельности, где лидеры из научных, деловых, административных кругов и представители массовых организаций получат импульс в своей работе. Это будет проходить в виде семинаров, конференций; мы издадим пособия по видам благотворительной деятельности и способам руководства ею. Мы также создадим модели предпринимательской и филантропической деятельности для прохождения практики и обеспечим финансовую и техническую помощь бесприбыльным организациям.

Моя жена Дороти и я будем также продолжать сотрудничество с Фондом Кросби, которое началось 7 лет назад под девизом «дать женщине новый старт». Мы будем сотрудничать с российскими организациями, которые помогают женщинам преодолеть такие

тяготы, как воспитание детей без отца, алкоголизм и наркоманию, побои и нужду.

Каждый человек должен найти свое место в обществе и исполнить долг, который поможет обществу быть завершенным целым. Это означает, что ремесленник должен делать вещи, торговец -- продавать, менеджер -- считать и руководить, а общественник -- оказывать услугу, существенную для здоровья общества. Для того чтобы все это происходило эффективно, надо претворить три стратегические инициативы: создать надежное руководство, обучить предпринимателей как в коммерческой, так и общественной сфере, поощрять моральную силу.

## СОЗДАНИЕ НАДЕЖНОГО РУКОВОДСТВА

Что касается российской экономики, то она -- после нескольких лет борьбы за выживание -- будет всю жизнь находиться под прессом рыночных отношений. Это подразумевает все плюсы и минусы, приобретения и утраты, успехи и поражения, которые экономика свободного рынка несет с собой. Потребность в благотворительных службах возрастет чрезвычайно, и если не предпринять усилия по отбору и обучению квалифицированных лидеров, работающих в бесприбыльном секторе или поддерживающих его в финансовом отношении, то рыночная экономика поглотит эти ресурсы для других целей. Оба сектора должны советоваться друг с другом и сотрудничать при создании целостной экономики. Для этого необходимо, чтобы политическое руководство понимало, что следует делать, обладало смелостью осуществить задуманное и честностью при ведении общественных дел. Для этого также необходимы лидеры предпринимательства, обладающие способностью прибыльно руководить их предприятиями и в мотивацию деятельности которых входило бы не только извлечение прибыли, но забота о своих работниках, чувствительность к потребностям общины и понимание того, что щедрость ведет к процветанию. Наконец, нам понадобятся лидеры благотворительного сектора, обладающие энтузиазмом, глубоко чувствующие общественные и духовные потребности людей, а также готовые поступиться личными финансовыми выгодами ради почетного и пожизненного долга служения людям.

## ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРОВ

Стремление к внедрению нового, рентабельности, дух предпринимательства распространяется на оба сектора экономики и общества. Предприниматели как коммерческого, так и общественного толка должны рассматривать друг друга в качестве сотрудничающих партнеров, чувствовать потребность друг в друге и

испытывать уважение к талантам друг друга. Коммерческий деятель должен признавать, что его предпринимательская активность ущербна, если ее не дополняет благотворительность. Новатор общественного сектора должен осознать, что его благотворительные усилия несовершенны, если в них не заложено знание бизнеса. Общество в целом должно прийти к пониманию того, что благотворительность -- не только желанный, но обязательный его компонент, и что деловым структурам следует откликаться на потребности общества и поддерживать благотворительные организации. Чтобы оба сектора пребывали в добром здравии, им надо научиться мечтать и преобразовывать их мечту в действительность. Законы, структура налогов и другие социальные воздействия должны учитывать потребности людей, занимающихся бизнесом и благотворительностью, потому что благополучие общества и отдельной личности зависит от здоровых, энергичных, неутомимых предпринимателей. Молодой человек, который покупает фрукты и овощи, отвозит их на своем грузовике на рынок, продает их, а полученную прибыль отдает в благотворительную организацию для раздачи престарелым и инвалидам, развивает такие умения и познает такие атрибуты рынка, о которых не имели представления лидеры последних семидесяти лет. Такие подвижники наводят мосты между двумя секторами, и этот опыт остается с ними по мере их продвижения к руководящим общественным и политическим постам общества.

## ПООЩРЕНИЕ МОРАЛЬНОЙ СИЛЫ

Моральная сила, коренящаяся в религиозной вере, будет порождать независимых людей, искренне заинтересованных в познании ценностей жизни и помощи собратьям. Хотя эта вера глушилась, сердца россиян побуждают их верить в высшее существо, слушать ему, находить поддержку, которую дает только Он. Многие осознают, что возвращение к ценностям, которые открыто осмеивались и тайно почитались, -- это возвращение к действительности. Она включает в себя память о тех десятках тысяч людей предыдущих поколений, которые, столкнувшись с обществом без ценностей, не отделились от веры; она включает горстку верующих, сохранивших крепость духа в годы суровых преследований. Этот дух -- дрожжи, на которых может взойти обновленное общество, он -- надежда для тех, кто примет его. Народ России -- живое доказательство того, что закон не заменяет личную честность и моральную силу. Российская экономика -- конечное доказательство того, что в конечном счете общество -- это то, что гнездится в умах и сердцах людей, сделавших правильный выбор.

*Ларри Кеннеди*

## Quality Management in the Nonprofit World

*Combining Compassion and Performance to Meet Client Needs and Improve Finances*



Jossey-Bass Publishers  
San Francisco • Oxford • 1991

27 -- 28 ноября 1992 года в Москве состоялся Конгресс интеллигенции России. Первый за все семьдесят пять лет советской власти, которая к интеллигенции всегда относилась более или менее настороженно, а в иные времена и враждебно, поскольку именно интеллектуальная оппозиция власти обычно представлялась ей наиболее опасной. Борьба с инакомыслием, продолжавшаяся до конца восьмидесятых годов, своим острием по существу была направлена против интеллигенции.

Нынешний момент -- момент кризиса и законодательной и исполнительной власти, не совладавшей со своими прямыми обязанностями и растерявшей во многом национальную демократическую поддержку, которой она пользовалась после Августа 1991 года. Острота и неясность момента заставили наиболее

гораздо больше, чем может, позволяла все же надеяться, что союз первого законно избранного президента и демократической интеллигенции России имеет неплохое будущее. Эта надежда, увы, просуществовала не очень долго. К исходу VII съезда народных депутатов, прошедшего в декабре 1992 года в Кремлевском дворце совсем под иным знаком, чем Конгресс интеллигенции России, стало ясно, что в сложной политической борьбе президент сдал позиции, на которых еще три недели назад он, по видимому, хотел удержаться. А в политике, как и в жизни, поступки, дела имеют гораздо более высокую цену, чем желания, обещания и слова.

Собранный перед решающей политической схваткой за власть, за очередное перераспределение этой власти между старой и новой номенклатурой (возможно, собранный слишком поздно!), Конгресс интеллигенции России не смог предотвратить поли-

для спасения своей. Совсем другое дело интеллигенция -- всемирное братство тех, кто живет не хлебом единым.

Испанская интеллигенция оказалась способной на такой подвиг прежде всего потому, что сама объединилась в мощное антифашистское движение, способное, как магнит, притянуть к себе всемирное братство. Есть у вас сейчас такое движение? Нет. Значит, нет и надежды поднять на защиту России интеллигенцию мира.

Мне могут возразить, что испанской демократии все это не помогло. Это правда. Но правда и то, что, как только политическая война переходит в гражданскую, помогать

## КОНГРЕСС ИНТЕЛЛИГЕНЦИЙ РОССИИ

трезвомыслящих представителей новой власти срочно искать поддержки в пошатнувшемся общественном мнении, несмотря на резкие критические голоса, раздающиеся в интеллектуальных кругах по их поводу. В речи Д. С. Лихачева, из-за болезни академика прочитанной на Конгрессе петербургским писателем Михаилом Чулаки, был весьма точно обозначен настоящий статус российского интеллигента и определена его главная обязанность -- честно мыслить и сохранять способность критического анализа любой ситуации при самых неблагоприятных для этого общественных и психологических обстоятельствах. Эта центральная мысль так или иначе была развита и конкретизирована в основных выступлениях, прозвучавших в первый день работы Конгресса. Тон дискуссии задали содоклады В. А. Тихонова и Б. А. Золотухина («Реформы в России и интеллигенция»), выступления писателя Ю. Л. Болдырева («Самосознание и самоопределение интеллигенции»), юриста М. А. Федотова («Интеллектуальный труд и его правовые гарантии»), речи философа В. И. Илющенко и дипломата А. В. Козырева («Национальные проблемы и интеллигенция»).

Некоторые ораторы -- В. И. Селонин, А. Н. Яковлев и др. критиковали недалекую политику уступок «правым» и «умиротворения» консерваторов, избранную президентом Б. Н. Ельциным в один из решающих, судьбоносных моментов современной российской истории. По словам участника Конгресса А. Я. Винникова (Петербург), нетрудно представить и предсказать ближайшие последствия такой политики: заметный политический сдвиг вправо, ослабление темпа и деформация содержания экономических реформ, рост инфляции, замедление демократических конституционных преобразований, без которых нельзя развязать запутанный узел экономических и политических проблем, накопившихся за многие десятилетия в России.

Министр экономики Андрей Нечаев, выступая на Конгрессе, признал, что среди самых тяжелых грехов нынешнего российского правительства есть и грех перед интеллигенцией, труд которой в наибольшей степени обесценен в ходе начавшейся реформы и в наименьшей мере защищен законодательством и налоговой политикой в условиях продолжающегося роста цен. Этот перекос правительство обязано исправить, если оно не хочет похоронить культуру и потерять поддержку самых стойких сторонников начавшихся преобразований.

Выступлением президента Б. Н. Ельцина в помещении Киноцентра на Красной Пресне был открыт второй день работы Конгресса интеллигенции России. Эта речь была в меру откровенной и в меру самокритичной -- так обычно говорят с союзниками, рассчитывая на взаимопонимание. И президент не ошибся -- более надежного союзника, чем демократическая интеллигенция, в основном и представленная на Конгрессе, у него в данный момент не было. Другое дело -- насколько сам он привержен этому союзу, преследующему в политике существенно иные цели, чем, например, «Гражданский союз», объединивший влиятельную часть правых сил, сохранивших основные рычаги власти?

Яркая речь и.о. премьера Е. Т. Гайдара, еще раз подтвердившая, что, как реформатор, он понимает

тического наступления консервативных сил, на что, по всей видимости, он был рассчитан. Тем не менее в долгосрочном плане Конгресс выдвинул некоторые идеи, принял предложения и документы, которые помогут демократической России консолидироваться, объединиться и обрести свое политическое лицо. Из многочисленных документов, одобренных Конгрессом, предлагаем читателям «Всемирного слова» текст «Обращения к интеллигенции», а также запись выступления гостя Конгресса американского профессора Александра Янова «Пока не поздно...»

А.Н.

Александр ЯНОВ

### ПОКА НЕ ПОЗДНО...

Так сложилась жизнь, что уже много лет я преподаю в американских университетах то, что называется политическими науками. И до сих пор случается слышать от студентов, очень вежливых, очень почтительных: скажите, профессор, когда вы говорите «мы», что именно имеете в виду: «мы -- американцы» или «мы -- русские»? Никогда уже, наверное, мне от этого не избавиться...

Что я тут в России делаю? Зачем, забросив свои американские дела, в девятый раз (с января 1990-го) приезжаю сюда? Чего добиваюсь? Если в двух словах -- я хочу, чтобы демократическая трансформация России стала общим делом мирового демократического сообщества. А сделать это можно лишь одним способом: если российская интеллигенция сумеет повторить подвиг интеллигенции испанской, которая в 30-е годы мобилизовала на спасение своей погибающей демократии все ресурсы мировой интеллигенции -- не только финансовые и технологические, о чем много говорят, но главным образом моральные, интеллектуальные и политические.

Многие из вас по молодости лет могут и не помнить испанскую антифашистскую эпопею. Я помню. Это не была снисходительная помощь богатых бедным, это было великодушное участие мировой демократической силы в спасении одной из своих сестер. Люди из разных стран готовы были отдать свои жизни -- и отдавали -- во имя общих человеческих ценностей в чужой, казалось бы, им стране.

У правительства язык не повернется просить граждан других стран отдавать жизни

уже поздно. То же самое происходит сейчас в Югославии. Именно поэтому будить всемирное братство интеллигенции для защиты демократии в России нужно сейчас, формировать антифашистское движение нужно сегодня -- покуда гражданской войны нет. И для того, чтобы ее не было.

Вы, естественно, можете спросить: а зачем? Разве мы не справимся сами? Боюсь, не справитесь. По крайней мере, исторический опыт перехода к демократии в великих имперских державах, в странах веймарского, как я его называю, класса, свидетельствует против вас. Ну вот вам примеры.

Первой в этом столетии среди держав веймарского класса встала на путь демократической трансформации в 1905 г. Россия. И рыночная экономика в ней тогда была. И никакого Гайдыра не требовалось, чтобы взламывать командную систему. И при всем том вы знаете, какой страшной ценой заплатила она за эту свою первую попытку -- три революции за 12 лет и в довершение -- опустошительная кровавая гражданская война. А в итоге что? В итоге катастрофа. Красная диктатура. Тупик -- на три поколения.

Россия, однако, вовсе не была исключением. В Китае, который вступил вслед за нею на этот путь шестью годами позже, все сложилось еще хуже. Там гражданская война затянулась на десятилетия. Там победили сначала «белые» национал-патриоты, установившие фашистскую диктатуру Чан Кайши, а потом «красные», из-под тоталитарного гнета которых страна и до сих пор не выкарабкалась.

Годом позже, в 1912-м, вступила на этот путь Япония. 20 лет спустя это закончилось национал-патриотическим переворотом, «белой» диктатурой Того, приведшей страну к национальной катастрофе 1945 года.

Вслед за Японией вступила на этот роковой путь в 1918-м Германия. 15 лет спустя закончился он еще страшнее -- Гитлером.

И так произошло во всех без исключения случаях, когда держава веймарского класса приступала к демократической трансформации, опираясь лишь на собственные силы. В каждом из них демократия гибла. Неминуемо подрывалась на минном поле переходного периода, которое она оказывалась неспособной преодолеть в одиночку.

Опять вы можете спросить, почему после такой страшной травмы решились на вторую



попытку послевоенные Германия и Япония. Да потому, что национал-патриотический авторитаризм принес им национальное несчастье. Потому, что на собственном трагическом опыте они убедились, что другого способа избавиться от чудовищных исторических катаклизмов, кроме демократии, не существует. И еще потому, что поняли роковую ошибку, которую допустили они в начале столетия, опираясь лишь на собственные силы. Ошибку, которую вы готовы сейчас повторить.

В отличие от вас они во второй своей попытке не удовлетворились *помощью* мирового сообщества. На этот раз они так или иначе заставили мир непосредственно *участвовать* в демократической трансформации. И потому победили. Не только стали мощными и процветающими государствами, но и забыли, что такое политическая трагедия, и их дети не знают, что такое политический террор.

Есть три важных отличия сегодняшней России от послевоенной Германии и Японии. Во-первых, это были страны, где победили, как и в Испании, «белые», а не «красные». Им пришлось выкарабкиваться из пропасти, в которую свергли их во имя «германской идеи» или «японской идеи» национал-патриоты. В результате у них выработался стойкий национальный иммунитет к фашизму. У России такого иммунитета нет. «Русская идея» еще сохранила свое очарование для значительной части интеллигенции. Во-вторых, при всех зверствах национал-патриоты все-таки не искалечили, не загнали в милитаристско-монополистический тупик экономику, как это сделали «красные» в России или в Китае. И поэтому Германии и Японии не пришлось во второй попытке совмещать переход к демократии с переходом к рыночной экономике.

И наконец в-третьих, они вышли из мировой войны с полностью разбомбленной военной индустрией -- опустошенными, погибающими от голода и холода, оккупированными, лишенными суверенитета. И потому роль институционального лобби перед лицом мирового сообщества исполнила в них оккупационная администрация.

В России ничего этого, слава Богу, нет. Но нет у нее и мощного институционального лобби перед лицом мирового сообщества.

И поэтому роль его может исполнить только интеллигенция, с чего я и начал. Вот почему я думаю, что в одиночку сегодняшней России не удастся пересечь минное поле переходного периода. Вот почему я думаю: если вы хотите забыть, что такое политическая трагедия, если вы хотите, чтобы ваши дети не знали, что такое политический террор, начинайте формировать свое антифашистское движение, начинайте работать с мировой интеллигенцией. Начинайте сейчас. Пока не поздно...

## ОБРАЩЕНИЕ К ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Мы живем на обломках бывшей империи, в завалах социальных потрясений. Мы живем на разоренной, обездоленной земле. Но это наша земля, и нам, а не нашим внукам, научиться жить на ней по-человечески. Мы принадлежим к разным народам, но чувство национального достоинства и национальной самодостаточности -- одно из самых естественных и человеческих.

Но национальное достоинство одних не есть попираание национального достоинства других. Права человека были и есть превыше всего. Именно они гарантируют свободу личности, не исключают, а подтверждают принадлежность человека не только к своему народу, но и к миру вообще. Кому же, как не интеллигентам, перестать делить народы на "большие" и "малые", на коренные и пришлые, на своих и чужих. Кому же, как не интеллигентам, научиться жить со своим соседом, уважая его образ жизни и не навязывая свой. Кому же, как не интеллигентам, следовать известному нравственному императиву -- поступай с другими так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой.

Шовинизм -- сила разрушительная. Ею управляет не разум, а слепая гордыня. не

широта духа, а сжатая в кулак ненависть. Любые фобии разлагают морально и нравственно всех, кто подвергнут их вирусу. Это эпидемия -- преодолеть ее значительно труднее, чем предотвратить -- трагических примеров тому на территории бывшего Советского Союза слишком много. Национальное чванство неизбежно ведет к национальным конфликтам -- сначала бытовым, потом -- смертельным. Сегодня мы, интеллигенция, втянуты в процессы, которые несут в себе симптомы национального безумия, последствия которого хорошо известны истории двадцатого века. Бывшая национальная политика, так называемая "дружба народов" подготовила эту опасность, сегодняшний экономический развал ее усугубил. И мы должны сделать все, на что еще способны наш интеллект, наша совесть и честь гражданина своей страны, чтобы погасить очаги национальной непримиримости, предотвратить национальный взрыв в России, не позволить национал-экстремистам превратить народную беду в антинародную войну. Сегодня это не просто наш долг. Это смысл нашей жизни, если мы хотим сохранить жизнь наших детей и не превратить Россию в братское кладбище, где все будут вместе -- и друзья, и враги.

## БУДАПЕШТСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ

*Мы, нижеподписавшиеся, выступаем с предложением создать Международную Демократическую Хартию.*

*Нашей целью является постоянно противопоставлять принципы демократии status quo мира, в котором мы живем.*

*Мы исповедуем следующие ценности:*

*а) жизнь в обществе в атмосфере созидательного мира с его человеческим природным окружением;*

*б) защита и постоянное углубление понимания прав человека и гражданина;*

*в) защита норм демократического политического пространства от любых попыток их нарушить;*

*г) защита плюрализма, свободы самовыражения и диалога культур, религий и мнений.*

*Мы считаем, что эти ценности нуждаются в защите, потому что они постоянно нарушаются. Демократические преобразования в восточной части Европы еще не имеют гарантий. Антидемократические процессы в Центральной и Восточной Европе могут усилить аналогичные тенденции на Западе.*

*Мы встретились в Будапеште, столице одной из стран новой демократии. Наше внимание обращено к горячим точкам нашего региона, к многочисленным фронтам, где совершается насилие, с которым, к нашему стыду, мы вынуждены сталкиваться ежедневно. Но наша опасная ситуация и наше противостояние ей могут оказаться полезным примером для других регионов.*

*Мы хотим начать международный диалог.*

*Мы, нижеподписавшиеся, и те, кто, мы надеемся, к нам присоединятся, берем на себя задачу общими усилиями составить Международную Демократическую Хартию и придать ей действенный характер.*

*Мы предлагаем миру некую интеллектуальную основу для достижения взаимоприемлемых положений, результат будет представлен вниманию мировой общественности.*

*Мы также готовы, после соответствующей координационной работы, принимать декларации по важнейшим проблемам текущего момента.*

*Будапешт, 24 октября 1992 года.*

## ПИСЬМА И КОММЕНТАРИИ

**В** предисловии к сборнику д-р Джованна Креацца указывает, что в нем собраны доклады, прочитанные на однодневном симпозиуме (12 мая 1988 г.), проведенном неаполитанским институтом «Суор Орсола Бенинказа» по инициативе Витторио Страды.

С момента выхода сборника прошло три года, но вопросы, затронутые авторами, ничуть не устарели. Собственно, задача ав-

ранее казавшихся полярными, фактов и явлений литературной жизни начала века. «Об этих и других факторах, связывающих разноголосую и многоцветную эпоху в единое целое, и пойдет речь», -- так пишет автор в преамбуле к своей статье. Мне тем более приятно отметить плодотворность поставленной задачи, что я и сам в течение длительного времени пытался в своих работах также обнаружить те об-

час было бы до известной степени искусственно.

Е. Г. Эткинд прав, относил начало обновления к первым годам последнего десятилетия XIX века (кончина Фета, первые стихотворные сборники Бунина, Мережковского и др.). Но он противоречит себе же, отводя под понятие «серебряный век» всего полтора десятилетия (примерно с 1900 по 1915 год). За пределами этих границ остается целый

## Леонид ДОЛГОПОЛОВ

дого из названных художников был свой путь в искусстве, но в чем-то важном они сходились, и эти-то схождения и обнаруживают глубину и значительность русской литературы XX века. На эту общность проливает некоторый свет эпиграф из Блока, предпосланный Е. Г. Эткиндом своей статье. Блок говорит здесь о Врубеле, которому, по его мнению, «в мире... не хватало событий», и поэтому «события», которыми жил художник, «перенеслись во внутренний мир». Блок заключает: в этом -- «судьба современного художника». «События» «внутреннего мира» писателя и его героев и составляют главное в исследованиях всех трех авторов.

В центре внимания И. З. Сермана неожиданно для нас, знавших ранее круг интересов его, оказывается Максим Горький (на-

# В НЕАПОЛЕ ГОВОРЯТ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

торов и состояла в том, чтобы именно поставить вопросы, очертить проблемы, одним словом, по-новому определить тот возможный «уровень», на котором они могли бы быть решены в будущем. Наше время еще не время решений и ответов. Мы только приступаем к пересмотру нашего прошлого, в том числе и истории литературы. И главное тут -- делать это непредвзято и квалифицированно. Этим требованиям вполне отвечают статьи неаполитанского сборника.

Двое из его авторов (Е. Г. Эткинд и И. З. Серман) наши соотечественники и даже наши «земляки» -- петербуржцы. И мы рады приветствовать их в годы, когда деление на «друзей» и «врагов» стало достоянием истории. Двое других авторов -- известные слависты -- профессора Витторио Страда (Италия) и Жорж Нива (Франция).

Сейчас уже ясно, что то, что именовалось советским литературоведением в его тогдашнем виде, стало достоянием истории.

И нам предстоит совместно с нашими зарубежными коллегами вырабатывать какие-то новые принципы освоения того обширного материала, который накоплен многовековой историей русского словесного творчества.

Рецензируемый сборник открывает статья Е. Г. Эткинда «Единство "серебряного века"», в которой на обширном материале, с использованием различного рода параллелей и ассоциаций проводится мысль о внутренней связанности и взаимной детерминированности неоднородных,

которые позволили бы нам говорить о внутренней соотнесенности явлений русской литературы начала века, о том, что это был *единый* комплекс проблем и задач, решавшихся на различном материале. (Эти мои разыскания наиболее полно выразились в статье «Рубеж веков -- рубеж литературных эпох», трижды опубликованной: в журнале «Русская литература» и двух изданиях моей книги «На рубеже веков», Л., 1977 и 1985.) Е. Г. Эткинд подходит к проблеме с иных позиций, хотя выводы его оказываются близкими моим. Еще Ю. Н. Тынянов утверждал, что история поэзии (и шире -- литературы) есть не что иное, как борьба за «новое художественное зрение». По-новому увидеть изменившийся мир -- вот главная задача художника каждого нового поколения. Выход к этой новизне, связанной с большими трудностями, прослеживается Е. Г. Эткиндом с завидной обстоятельностью. Но вот с чем я не могу согласиться -- это с теми хронологическими границами, которые отводит он под понятие «серебряный век» русской литературы, который к тому же рассматривает преимущественно как «век поэзии», противопоставляя его XIX веку -- веку прозы, невольно отодвигая в сторону важнейшие новые жанры, возникшие именно в это время, -- символистский роман, важный жанр художественной критики (статьи Мережковского, Блока, Белого, Анненского и др.). Это был «серебряный век» не только поэзии, но и всей русской культуры, поскольку обогатились новым содержанием все главные сферы именно культурной жизни нации, от хореографии и до собственно философии. Поэтому ограничивать понятие «серебряный век» только поэзией сей-

период даже одной поэзии (поздний Блок и Белый, Ахматова, Мандельштам, Гумилев, ранний Маяковский, ранняя Цветаева). Куда отнести все это богатство? Мне кажется, что было бы целесообразно отвести границу «серебряного века» до 1921-1922 гг., когда действительно наступает новый период в истории всей русской литературы.

Статья Е. Г. Эткинда и ставит этот важный для нас сейчас вопрос -- что же надо понимать под *литературой начала века* и что под *искусством «серебряного века»*, каково соотношение этих понятий, требуют ли они разграничения или дальнейшего слияния. В этом я и вижу ее неоспоримое достоинство.

Общие наблюдения первой статьи реализуются в трех последующих, где в центре внимания авторов оказываются Горький, Булгаков, Пастернак, Набоков. Связи, обнаруживаемые между исканиями всех этих писателей, не внешние, они затрагивают скрытые, глубинные основы творческого постижения мира. У каж-

## E. Etkind G. Nivat I. Serman V. Strada LA LETTERATURA RUSSA DEL NOVECENTO Problemi di poetica



ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA  
NAPOLI

звание статьи «Горький в поисках героя времени»). Отношение к Горькому ныне несколько неуравновешенное. Западные исследователи по-прежнему относятся к нему настороженно и не слишком охотно «пускают» его в свои статьи. У наших отечественных авторов просто нет никакого отношения к «пролетарскому писателю»: прошлый пиетет рухнул, на месте же его ничего пока не возникло. Вот и не знаем мы все, что же делать: то ли вменять Горькому в вину все его многочисленные «прегрешения» (среди которых есть и весьма существенные -- и против культуры, и против общественности), то ли петь осанну за его

\*Efim Etkind, Georges Nivat, Il'ja Serman, Vittorio Strada. La Letteratura Russa del Novecento. Problemi di poetica. Istituto Suor Orsola Benincasa. Napoli, 1990 (На русском и итальянском языках.)

«благоденствия» (среди которых также есть весьма существенные -- как по отношению к культуре, так и по отношению к обществу). И. З. Серман демонстративно отказывается и от господствовавшей некогда в Союзе «официальной фальсификации горьковского наследия», и от «сопоставления списков его благоденствий и преступлений».

Может быть, в этом и состоит значение его статьи: здесь впервые предпринимается попытка (во многом вполне удавшаяся) определить тот стиль (говоря условно) разговора о Горьком, который был бы приемлем и для будущих исследователей. Основная подобная задача уже заложена -- в воспоминаниях В. Ходасевича, Е. Замятина. Ей надо придать научную форму выражения. Такой принцип и осуществляет в своей статье И. З. Серман. Он рассматривает все главные этапы творческой эволюции Горького от «рассказов о босяках» и до «Жизни Клима Самгина», находя на каждом из них только данному периоду свойственное увлечение писателя тем или иным социально-психологическим типом. Делая по ходу анализа многочисленные принципиально важные замечания (например, по поводу «Матери» -- что это не идеологический роман), исследователь проводит постоянное сравнение героя романов Горького с героем русского романа XIX века. Для самого Горького вопрос этот был, как известно, очень важным, его пристальное внимание к прозе предшествующего столетия общеизвестно, хотя оно не было однозначным (к «маленькому человеку», к «униженным и оскорбленным» -- одно, к человеку действия, герою активного склада -- совсем другое, что явствует из его многих статей, а также из переписки с К. Фединим). И. З. Серман же почему-то из всего «арсенала» XIX века отбирает только героя рефлектирующего, смотрит на него как на главную фигуру в пантеоне «героев» русской литературы прошлого (и, в частности, русского романа), лишь с ним сопоставляя и ему противопоставляя направленность горьковского творчества. Требуется разъяснений и та связь, которая, по мнению И. З. Сермана, существует между творчеством Горького и проблемой крестьянского романа, какой обрисовалась она в XIX веке. Значительная часть статьи посвящена именно этой проблеме, она раскрыта основательно и на богатом материале, но вот каким образом она соотносится с поисками Горького, остается невыясненным; а это важно, тем более что прямых связей здесь как будто не обнаруживается.

В небольшой, но содержательной статье Жоржа Нива «Два "зеркальных" романа тридцатых годов -- "Дар" и "Мастер и Маргарита"» предпринята попытка вскрыть структурную общность

романов В. Набокова и М. Булгакова, к которым осторожно в конце статьи присоединяется и «Доктор Живаго» Б. Пастернака. Эта структурная общность обнаруживается в том, что в каждом из названных романов имеется еще и вставной текст: у Набокова и Булгакова это романы, которые соответственно создают герои каждого из произведений (у Набокова -- роман о Чернышевском, у Булгакова -- о Понтии Пилате), у Пастернака -- цикл стихотворений, также принадлежащий герою романа Юрию Живаго. Предлагаемая новая в литературоведении обозначения для этих двух текстов (текст-"принцип" как авторский текст и текст-"палимпсест" как текст вводный), автор решает непростую задачу, -- какой же из этих двух текстов на самом деле основной и какой вводный. Никаких бескомпромиссных утверждений Жорж Нива не предлагает, его позиция допускает варианты в обозначении этих двух текстов. Вопрос этот не очень прост, к тому же он крайне важен, поэтому я приведу пример того, как решается он в статье применительно к Булгакову. Жорж Нива пишет: «"Московский" текст первичен по отношению к «ершалаимскому», и в этом смысле в Москву вклинивается вводный текст. Но этот текст-"клин" есть в то же самое время и «принцип», первичный текст, так как в нем описывается событие, породившее всю западную цивилизацию... Именно поэтому мы говорим, что если с точки зрения хронологии «мотивированного повествования» «московский» текст первичен, а «текст Иешуа» вторичен, то с точки зрения археологии (я бы сказал: истории -- Л. Д.), наоборот, «текст Иешуа» -- текст «принципа», а «московский» текст рассматривается как вариант, повтор, или, если хотите, «палимпсест». В такой сложной диалектической форме решает Жорж Нива проблему, связанную с одной из важнейших особенностей русской прозы XX века. Эти сопоставления и размышления по поводу «первичности» или «вторичности» того или иного текста я склонен рассматривать как открытие новой и большой литературоведческой проблемы, которую нам также придется решать в ближайшем будущем. Особенно, если добавить к романам Набокова, Булгакова и Пастернака еще и «Чайку» Чехова, даже рассказ «Ванька Жуков» с его знаменитым письмом, «Двенадцать» Блока, некоторые другие произведения, также построенные на совмещении двух текстов -- авторского и текста героя. Жорж Нива, исследователь тонкий и острый, но осторожный и деликатный, избегает каких-либо обобщений и не стремится расширять привлекаемый материал (даже роман Пастернака он упоминает вскользь, мимоходом). Я думаю, рано или поздно придется

это сделать, структурная изощренность прозы двадцатого столетия потребует от нас внимания и к такой форме повествования.

Широко и непредвзято, раскованно, с большим количеством различных ассоциаций и параллелей ведет разговор Витторио Страда в статье, заключающей сборник -- «"Доктор Живаго" как исторический роман». Статья эта не является статьей в собственном смысле слова, это разговор, беседа на заданную тему, проведенная на возможном высоком нравственно-интеллектуальном уровне. Два основных вопроса интересуют автора этой не совсем обычной статьи, читающей с великим интересом независимо от научных достоинств ее, -- это вопрос о жанре пастернаковского «романа» и вопрос об отражении в нем -- по сравнению с другими произведениями поэта -- той действительности, которую Витторио Страда определяет как свирепую. (О «свирепости эпохи» пишет он как о прегрятствии, не позволявшем надеяться на опубликование романа на родине писателя.) Параллельно возникает тема Пастернака и Маяковского, которая наряду с известными и не вызывающими возражения аспектами ее решения получает еще один неожиданный поворот: вопреки Пастернаку, называвшему Маяковского среди «прототипов» Юрия Живаго, Витторио Страда стремится обнаружить общность внутреннего мира и скрытых импульсов Маяковского и... Антипова (Стрельникова), мужа Лары, застрелившегося во дворе дома Юрия Живаго после длительного и мучительного разговора с хозяйкой дома по поводу революции и гражданской войны. По мысли автора статьи, здесь находит свое отражение та внутренняя полемика, которую, как известно, вел с Маяковским (и при его жизни, и после его самоубийства) Борис Пастернак. Некогда преданный революции и общей идее социализма, Стрельников, столкнувшись с неизбежной и безжалостной жестокостью ее по отношению к своим же «детям», кончает с собой, дабы не достаться в руки своим же бывшим единомышленникам, уже всюду стремящимся добраться до него.

Роман Пастернака есть некое великое итоговое явление как с точки зрения осмысления российской истории в ее полутора-вековом протяжении, так и с точки зрения истории русского романа, в двух его разновидностях -- романа реалистического и романа символистского. (Наличие в «Докторе Живаго» именно этих двух тенденций -- сугубо реалистической и многозначно-символической -- отмечалось уже в статьях и исследованиях.) Именно этот итоговый характер «Доктора Живаго» и не дает, мне кажется, ни основания, ни права делать какие-либо окончательные выводы относительно его жанра, философии истории,

смысла и значения того или иного образа или ситуации. Здесь все движется, все продолжает эволюционировать и во времени, и в нашем воображении, которое ведь не есть только читательское восприятие. Слишком горячи и животрепещущи затронутые Пастернаком вопросы, слишком ответственны и болезненны ответы его (попытки ответов, варианты ответов), чтобы смогли мы задержаться на чем-то определенном и безукоризненном.

Витторио Страда безусловно прав, определяя стиль романа как «косвенно поэтический»; мы не можем не согласиться с ним и тогда, когда говорит он о том, что попытка провести аналогию с романом Л. Толстого «Война и мир» «принципиально иллюзорна», ибо «народная эпопея 1812 года не могла не разниться радикально от братоубийственной катастрофы 1917 года».

Стремления Пастернака высказать в «Докторе Живаго» не столько объективно значимое, сколько индивидуально выношенное (выстраданное), которое и кладется автором статьи в основу своих размышлений, реализует себя, по его мнению, в том автопризнании Пастернака, где он говорит о своем произведении как о некоем «письме», которое он пишет близким, любящим его людям: «Для них я пишу этот роман, пишу как длинное большое письмо им, в двух книгах». Пастернак вовсе не скромничает (именно так почему-то считает Витторио Страда); как и его литературный предшественник -- чеховский Ванька Жуков, он пишет свое «письмо» не в прошество, а во время -- «на деревню дедушке», ибо любое послание в будущее посылается, по сути, по этому чеховскому адресу. Как адресует Мастер свой роман о Понтии Пилате, жившем за две тысячи лет до того, своему времени; как будущему времени адресует роман о Чернышевском «структурный» предшественник Мастера Годунов-Чердынцев, герой романа «Дар». Все, адресованное кому-то, подсознательно адресуется будущему, если же «письмо» (роман-письмо) идет из прошлого, то, согласно законам времени, оно идет в настоящее.

«Письмо» Пастернака дошло «по назначению», разные «дедушки» прочитали его -- от товарища Семичастного до Д. С. Лихачева и Витторио Страды, разные сделали они выводы. Вывод одним стоил Пастернаку жизни, вывод других даровал ему бессмертие.

Так обнаруживается единство русской литературы -- не только «серебряного», но и всего XX века -- в исканиях «персонажа», главного героя (центральной фигуры) того или иного периода, отличного от остальных периодов, но неразрывно сопряженного с ними единой цепью социальных катастроф, великих сдвигов общественного и личного бытия.

И если в начале века это единство реализует себя в потрясениях мира внутреннего, то впоследствии выплеснувшиеся вовне события затягивают в свою орбиту и всего человека, и какой-нибудь малограмотный, но гениально чувствующий казак Григорий Мелехов, с огромным запасом природной правоты в глубинах своего подсознания выражает антинародную сущность братоубийственной бойни ярче и сильнее, чем десятки научных статей и книг на ту же тему; затем дело снова усложняется, писательские искания взмывают ввысь, в бездонные глубины человеческого духа, на свет появляются уже не столько живые люди, сколько некие духовные сущности, имеющие, однако, вполне земные наименования -- Мастер, Иешуа, Га-Ноцири, Юрий Андреевич Живаго. От совокупного «героя» начала века (его условным выражением я бы предложил считать героя романа Андрея Белого «Петербург» Николая Аполлоновича Аблеухова), минуя утраты и просчеты (например: Клим Самгин, выражающий глубоко неверные, ложные представления Горького об эпохе 1907 -- 1917 гг., как о «позорном десятилетии» в истории русской интеллигенции), сквозь горы макулатурных и подражательных романов и повестей 1930--1950-х гг., русская литература выходит с Пастернаком, Ахматовой, Булгаковым, Мандельштамом к таким духовным глубинам, вскрывает такие пласты душевной жизни человека, какие ей вряд ли теперь уже удастся достичь когда-нибудь в будущем. Страшный опыт истории обогатил художественно-интеллектуальную мысль человечества открытиями, которые только такой опыт, очевидно, и мог дать. От 60-х годов прошлого века («Что делать?», «Преступление и наказание» в первую очередь) и до 60-х годов века нынешнего («Доктор Живаго») -- ровно на столетие растянулся этот опыт, настоятельно требующий не только осмысления, но и переосмысления. Авторы неаполитанского сборника вызывают нас на размышления и сопоставления -- это, пожалуй, максимум того, на что мы можем сейчас рассчитывать. Будем же благодарны им за это.

## И. МЕТТЕР

стало бы намного яснее наше безумное время.

Его отважное историческое прозрение было блестящим и научно и художественно достоверным. Это давало ему возможность и право зорко сопоставлять минувшее с сегодняшним и с грядущим. Дар подобного масштаба обладает способностью догадываться. Не надо бояться этого слова в науке. Гениальный математик Пуанкаре говорил: логика доказывает, а интуиция творит.

# НАТАН

ПАМЯТИ Н.Я. ЭЙДЕЛЬМАНА



Натан Яковлевич Эйдельман творил и доказывал.

Он владел уникальным даром историка и писателя.

Сколько раз в современных запутанных и намеренно запутывающих, калечащих наши души, исторических поворотах друзья бросались к нему:

-- Натан, объясни! Ведь так не может долго продолжаться!..

И он отвечал не всезнающе, не в учительских интонациях, а с той мерой аналитической умудренности, что давала возможность широчайшего охвата действительности. Иногда это была многовариантность завтрашнего дня, а порой резко обоснованная позиция ученого, точно и беспощадно оценивающая невежество, тупость и преступность правительства, провал и неминуемая смена которого обрушится в ближайшие дни. Разумеется, он не всегда угадывал, но даже его ошибочные прогнозы -- редкие притом -- облегчали путь к познанию истины.

Говорят, в натуре любого человека есть главная черта -- доминанта.

А вот у Натана Эйдельмана их было не счесть, он одаривал ими друзей с легкой и яростной щедростью, доставлявшей радость не только им, но и ему самому.

Для него было жизненной необходимостью -- как дышать -- делиться своими мыслями, его ум и поразительный талант откликались на все, что волновало нас всех.

Каждое свидание с ним было праздником.

Живя в разных городах, мы виделись не так уж редко: и в Ленинграде, и в Москве, и на Юге в Домах творчества. Он обладал магнетическим свойством: где бы ни находился, немедленно облизал самыми пестрыми людьми, льнувшими к нему, как ракушки к днищу глубоководного корабля.

Случалось, кто-либо из близких друзей с ревнивым раздражением корил его:

-- Тоник! Ну, на кой черт тебе это ничтожество!.. -- и произносилась фамилия действительного ничтожества.

Но Тоник улыбался и добродушно отмахивался:

-- Да брось, он хороший человек.

Мне кажется, я никогда не слышал от Натана ни одного худого слова о наших общих знакомых -- и это в литературской вечно переменно-шипящей среде! Натан был органически доброжелателен. Да еще им руководило ненасытное любопытство к людям -- свойство, необходимое подлинному писателю. А историку -- тем более.

Он был юношески любознателен. В нем, на редкость образованном просветителе, таилась какая-то привлекательная детскость.

Встречаясь с ним в самых различных внешних обстоятельствах, я поражался: все было к лицу ему. Вот он шел в халате к пицундскому берегу моря -- и море было к лицу Натану. Он выходил на сцену огромного, заполненного до люстр зала -- и это шло ему. Он садился за самый скромный обеденный стол -- и это превращалось в пиршество.

Близость с ним пленяла меня. Возможно, я и переоценивал ее, но мне хватало этой близости настолько, что, как-то сильно выпив, я предложил: давайте чокнемся на брудершафт. Мы чокнулись через изогнутые руки, поцеловались, ругнули друг друга, и я с легкостью стал говорить Натану Яковлевичу «ты». Это длилось недолго, всего часа два: к концу вечера я продолжал залихватски обращаться к нему на «ты», а Натан смущенно вернулся к прежнему «вы».

Мы оба были изрядно хвативши, я грубовато спросил:

-- Тоник, ты что, забыл: мы пили на брудершафт!

Он ответил голосом провинившегося подростка:

-- Нет, я не забыл... Но, знаете -- не пошло. Я попробовал -- не получилось...

Переступить через двадцать лет возрастной разницы Натану Яковлевичу не позволила его безукоризненная интеллигентность.

Я любил его. И для меня мое старшинство не имело никакого преимущества.

Принято говорить о покойных друзьях:

-- Я не могу себе представить, что он умер, что его уже больше нет среди нас.

Об Эйдельмане так не скажешь, о нем думаешь иначе:

-- Я хорошо представляю себе, что его не существует. Если бы он был, то всем нам

## Марк САМАЕВ

\*\*\*

*Мир парадных, форточек, конфорок,  
чайников, троллейбусов, дорог  
в булочную, ласковых каморок,  
сроков и просрочек. Наш мирок,  
что по нас прилажен и приглажен...  
Но, как ни тепло его сродство,  
разве в снах из позвонковых скважин  
звездное не хлещет вещество?  
Разве не знобит между лопаток  
вечности застенчивый родник,  
простуная между крошек, ваток,  
задников прямых, пыльных книг?..*

\*\*\*

*Времена несказанно индее,  
беспечальная жизнь надарма.  
Словно водоросли, надувные  
там покачиваются дома.*

*Разум, этот софист и схоластик,  
годы скукою тщась побороть,  
по частям заменяет на пластик  
в ликование сгоревшую плоть.*

*Только вдруг, суется и горлана,  
бойко вспыхнут и в тех временах  
допотопные чудо-цыгане,  
озорной несговорчивый прах.*

*И пребудут, кто знает, доколе,  
открестясь от насильственных прав,  
кроме песни да краденой воли,  
благ иных на земле не попля.*

\*\*\*

*Вот вам, любимые, неба остатки.  
Все забирайте -- на вас мне не жаль.  
Чтобы прилично -- ни дырки, ни латки.  
Как у людей. Ведь нельзя без оглядки.  
Не на наряды же. Не на хрусталь.  
Как придерешься: одежда, еда ль,  
каждая мелочь -- к детали деталь,  
каждая трата -- как пуля в десятке.*

*Только признайте и долю мою.  
Если уж выпущу душу за окна --  
в стужу прозябну и в ливень промокну,  
раз не доем, а другой не допью --  
но хоть утайку, хоть медную сдачу  
на никудышное небо потрачу.*

\*\*\*

*Взгляд в дрожащем свете  
явью омывая,  
проползу в трамвае  
сквозь тридцатилетье;*

*в желтом переулке  
мельком поцелую  
на прохладной скулке  
родинку двойную.*

И вот что было поразительным для меня. Отступя чуть в сторону, скажу: уже лет двадцать, не менее, я привык задавать своим друзьям, да и просто знакомым, однообразный вопрос. Не могу объяснить, для какой надобности он необходим мне -- но необходимо: вроде я составляю топографию неизведанной местности, расставляя на ней флажки.

Вот и Натана я спросил однажды:

-- Когда, в каком примерно году вы поняли про Сталина?

Обычно Эйдельман отвечал быстро, почти тотчас. А тут он на секунду задумался, и я услышал:

-- Окончательно понял после двадцатого съезда.

А ведь у Тоника был арестован отец, затем чудом освобожден. А самого Эйдельмана, после блестящего окончания Московского университета, отправили в орехово-зуювскую школу учителем географии. Так сказать, сослали излишне талантливого еврея на периферию, пушай там портит детей, они, дескать, все равно ничего не поймут. А в городской школе -- Боже упаси! Не говоря уж о научной работе, где он может наломать сионистских дров.

И несмотря на эту смолоду изученную биографию, даже такой человек, как Натан, далеко не с ходу сознал эпоху, в которой жила вся страна.

Я привожу этот пример не зря: у нас ныне в досталь людей, убежденных либо в том, что в минувшую жуткую пору все всё понимали и лишь из страха лицемерили, демонстрируя рабское обожание корифея всех наук; либо уверены, что человеческая натура вообще неизменна -- каков в колыбельке, таков и в могилке. То есть поскольку веровал в ту эпоху, следовательно, лицемерит сегодня.

Эта позиция, железобетонная психологически и нравственно, еще и абсолютно внеисторична: мировая история полна примеров искренних изменений политических и моральных убеждений не только в среде так называемых обывателей, но и у самых выдающихся личностей своего времени.

Его любознательность была лишена банального бытовизма. Натан скучал, когда при нем набалтывали семейные сплетни, и если слушал их, то, мне казалось, из вежливости.

Но вот анекдоты, касавшиеся истории, -- анекдоты в том смысле, как их понимал Пушкин, собиравший любые слухи, касавшиеся жизни Петра или Екатерины, -- исторические анекдоты, назовем их так, -- Натан Яковлевич увлеченно записывал даже и в тех случаях, когда они могли быть не слишком достоверны.

Приведу пример чрезвычайно характерный.

Был у нас с ним общий близко знакомый нам человек, ныне покойный. Я отлично знал его еще до того, как познакомился с Эйдельманом.

В начале шестидесятых годов, пожалуй, еще ранее, этот человек занимал крупную должность в ЦК, в отделе, ведавшем литературой. И в те дальние лета он, сколько мог, а порой даже больше, чем позволяла его должность, был столь прогрессивен, что, скажем, Александр Трифонович Твардовский прибегал к его помощи в самых ярых боях со злобной, тупой цензурой.

Судьбе было угодно, что с этим человеком, на излете его цекистской карьеры, я подружился. Он любил литературу, знал ее изрядно, да и вообще был добрым человеком. На пенсию его вывели рано, не только по серьезнейшей военной контузии: личность его уже не подходила по политическим взглядам к брежневско-сусловским временам.

Еще тогда он немало рассказывал мне, на каком непристойно низком, дворницком уровне решались крупнейшие проблемы культуры в ЦК. Да и характеристики тогдашних вождей -- Подгорного, Кириленко, Суслова -- звучали сатирически. Пересказывать их не стану -- скучно, -- ныне все это известно в еще более сатанинских подробностях.

Для Натана Яковлевича Эйдельмана знакомство с этим человеком было кладом. Дотошно расспрашивая его, Натан все записывал погодя, дома. С годами большой пенсионер, sogni раз жадно делившийся своими устными воспоминаниями, все более и более запутывался: он жил лишь прошлым, невольно преувеличивая свою былую роль, и теперь уже плохо понимал новое время, вмешиваясь в него неумело и вовсе не прогрессивно. С ним происходили необратимые старческие изменения. От этого никто из нас не застрахован.

И вот, даже зная, что бедняга-пенсионер повторят одно и то же, но уже варьируя его в противоречивых тонах и обстоятельствах, Эйдельман записывал и это.

-- Историк необходимо знать не только истинность событий и характеристик -- важно знать и лживое изложение их.

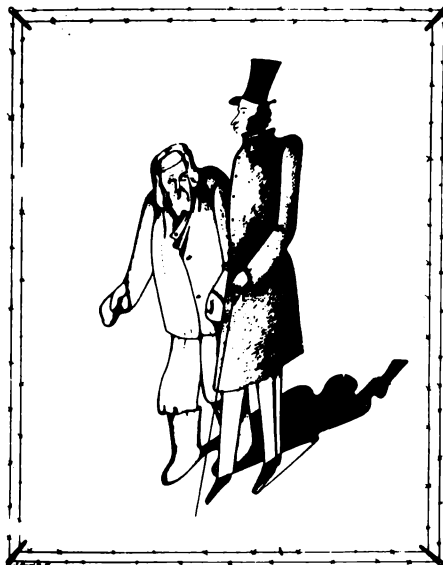
Я часто повторяю шепотом, для себя, особенно в бессонницу, знаменитую строчку из песни Вероники Долиной:

«И ходит с пером между нами историк  
Натан Эйдельман...»

...Не ходит. Не ходит. До слез жалко, что уже не ходит.

## НОВАЯ КНИГА

ВЫХОДИТ В СВЕТ:



АБРАМ ТЕРЦ  
ПРОГУЛКИ с ПУШКИНЫМ

Абрам Терц  
ПРОГУЛКИ с ПУШКИНЫМ  
Послесловие Марии Розановой  
Обложка Михаила Шемякина

Книгоиздательство "Всемирное слово"  
СПб., 1993

**В** Италии иностранные писатели ежегодно награждаются за лучшие сочинения, опубликованные в переводе на итальянский, премией Кавура. Особенность этой премии в том, что отмеченные ею книги рассылаются в итальянские лица, и учащая молодежь тайным голосованием выбирает из них самую лучшую, автор которой дополнительно награждается высшей премией. В 1992 году эта высшая премия была вручена петербургскому писателю Израилю Меттеру. Российскому читателю, думается, будет небезынтересна рецензия на книгу, напечатанная в итальянском журнале «Jegger».

раз к самой растопыченной из обобщающих категорий, которых пытался избежать, а именно к категории поколения. Поколения, в двадцатых годах мечтавшего преобразить мир, поредевшего и пытанного в тридцатых, выбитого в сороковых, а затем обреченного на одиночество, на признание собственного уродства. И при всем при том всегда хотевшего как лучше. Так появилась история о крахе поколения, и ее публикация (именно публикация: ведь написана она была совсем в другое время) совпала с крахом целой эпохи. Огромная заслуга Меттера состоит в том, что, сохраняя подобную двойственность фона, он всегда верен не исторической логике, а памяти чувства, которая неспособна к обобщению, а потому возвращает описывае-

## Мауро МАРТИНИ

мемся гоняться за аллюзиями, которые создали бы повести «Пятый угол» славу в брежневскую эпоху, мы тем самым невероятно обедним прочтение книги, хотя, пожалуй, и сможем выстроить на ее основе историко-политическое толкование -- но, между прочим, кажется, сам Меттер в конце шестидесятых подготовил «вычищенный» вариант повести, то есть убрал из нее все, что могло отсылать к подобной трактовке.

Здесь ценно совсем другое, те незначительные на первый взгляд детали, которые придают повести дыхание и превращают ее в целое созвездие лиц и душевных состояний, застывших, почти статичных, как на любительском снимке, если воспользоваться удачным сравнением самого Меттера, для которого именно в дилетантизме -- залог успеха. Следует осмыслить и постоянное присутствие поэзии, которое сказывается и в стихотворных цитатах, и в скупых намеках на фон, изобилующий крупными фигурами: например, в образ украинского города Харькова, экзистенциальной столицы главного героя, включено выступление Маяковского, и за этим угадывается все значение поэзии, которая оказывается знаком избранности, принадлежности к особой группе тех, кто любит стихи, в противоположность тем, кто не признает их огромной важности. Заслуживают внимания и фигуры, лишённые внутренней сложности, насильно втянутые в историческую драму, -- прежде всего это сотрудник НКВД Кеша Калдаев, который делает зло нормой своего существования и доходит до того, что вынужден защищать это зло, доказывать его неизбежность, иначе вся жизнь окажется перечеркнута. Этому персонажу противостоит профессор Волков, человек, не сумевший приспособиться, в одиночку опровергающий неизбежность трагедии преследования. Ко всем героям писатель подходит с одной меркой: готовы ли они привыкнуть к унижению, не утратили ли способности удивляться тому, что происходит вокруг.

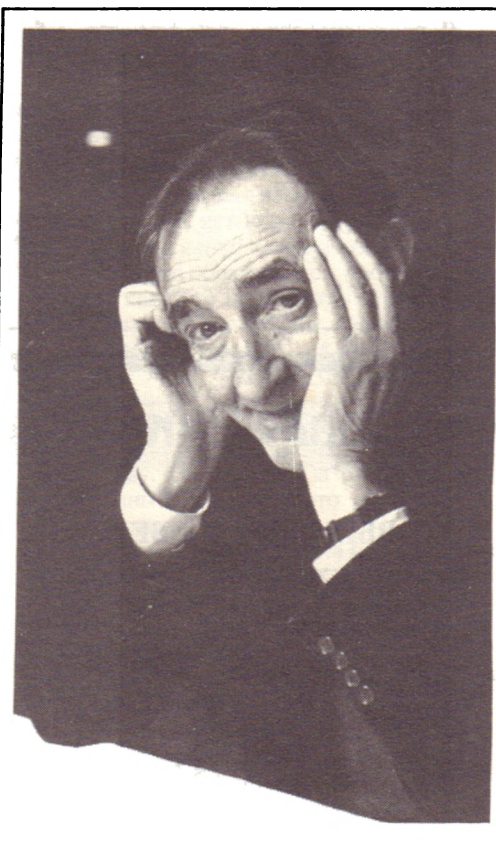
Даже в любви главный герой не находит спасения. Его связь с Катей Головановой, долгая, знавшая множество отказов и крохотные уступки, окончившаяся исчезновением любимой женщины в лагерной вселенной, единственный выход из которой -- самоубийство, несет на себе те черты прерывности, что характеризуют частную жизнь во времена, когда история сползает в тоталитаризм. Навязанным извне условиям Катя противопоставляет свою женственность, доводя до последней черты и неизменность желания, и непостоянство. Ее поражение, которое рассказчик как бы снова переживает в минувшем, кажется крайним пределом личного дискомфорта: там, где проигив истории бессильна даже женская отстраненность, игра безнадежно проиграна. «Пятый угол» -- отчаянная попытка обнаружить перед всеми скрытый, неизлечимый надлом, эпохальный надлом, обозначенный смертью Сталина, надлом, который Советский Союз нес в себе еще почти сорок лет, так и не решившись сказать о нем вслух. Очарование этой повести -- еще и в том, что она запоздалая, совершенно неактуальная, заставляющая читателя окупаться в ее мир.

# РОМАН НИ КОРОТКИЙ, НИ ДЛИННЫЙ

Меттер написал повесть «Пятый угол» в 1967 году. Двадцать два года понадобилось, чтобы добиться публикации. Так случилось, что выход книги, рассказывающей о крахе поколения, совпал с крахом эпохи. Но главное очарование повести как раз и заключается в том, что она запоздалая и неактуальная, что она пришла из прошлого.

В конечном счете история несправедлива: среди ее бесчисленных звеньев отдельные судьбы теряются, утрачивают свою неповторимую ценность. Но та же история собирает множество судеб вместе и вплетает в свои звенья, привязывая их к социальным, философским, идеологическим или политическим категориям. Возможно ли уберечь собственную личность, избежав этих пут, но и не порывая связей с внешним миром, тем более в те времена, когда история давит на людей больше обычного? Этот вопрос пронизывает книгу Израэля Меттера, ленинградского писателя, еврея по происхождению, который лишь в 1989 смог ее опубликовать, хотя закончил двадцать с лишком лет тому назад, в 1967-м, когда хрущевская оттепель уже подходила к концу. Вопрос этот не нов и не поражает наше воображение: в этом смысле у книги Меттера (выпущенной в Италии издательством Эйнауди в переводе Клаудии Скандурра) есть предшественники -- «Доктор Живаго» Пастернака, а затем монументальный труд Солженицына «Красное колесо»; ограничимся здесь этими двумя примерами.

Но у Меттера прежде всего поражает тональность повествования, двойственность взгляда. И впрямь, вверить связь личности с историей тому особому жанру, который по-русски называется «повесть», жанру, неизвестному на Западе и представляющему собой что-то среднее между длинной новеллой и коротким романом, -- рискованная затея, хотя и увенчавшаяся успехом в нашем случае: приходится говорить об историческом времени, избегая отступлений, так, словно оно может вписаться в рамки какого-нибудь дня, события которого запечатлены во всей их единственности и неповторимости. Разумеется, такая установка изначально двойственна в самом точном смысле этого слова: этого не отрицает сам Меттер, когда, защищая самоценность собственной личности, признает, что вынужден был обратиться как



мым событиям истинный масштаб.

Читая эту книгу, не стоит любой ценой сводить ее к историческим вехам. Как это ни парадоксально, если бы ее напечатали в конце шестидесятых, она не избежала бы этой досадной участи. Это подтверждает и сам Меттер, вспоминая, как первые читатели рукописи, в том числе и Паустовский, предпочитали именно такую трактовку повести, начиная прямо с заглавия. Ведь пятый угол -- это тот самый, который палачи из политической полиции смея ради заставляли искать своих узников, запертых в самые обыкновенные строго четырехугольные камеры. Тут же и пятый пункт в советских анкетах, касающийся национальности (а еврейскую национальность писателя не так-то легко было в свое время объявлять вслух), пятой была и презираемая во всесильном, стремящемся к поголовной уравниловке государстве СССР социальная категория кустарей, к которой отнесен герой-рассказчик. Но если мы при-

**В** мае 1992 года в Праге состоялся международный семинар на тему: «Антисемитизм в посттоталитарной Европе», в работе которого приняли участие петербуржцы Н. Катерли, М. Рольникайте и П. Карп. Статя П. Карпа «Антисемитизм XX века» излагает его выступление на семинаре.

Если уж уточнять слова в наименовании нашего конгресса, начинать бы надо не со слова «антисемитизм», достаточно ясного, и даже не со слова «Европа», но со слова

красоты родственными, осязающего страну, в которой он бесправен, своим отечеством. Участие множества ассимилированных (и евреев, и немцев, и грузин, и поляков) в русской жизни, хоть и не обязательно выражалось любовью к пейзажам, было не менее полным. Царская власть чертой оседлости и процентной нормой отчуждала евреев от культурной общности со страной, где они жили, а религиозное отречение в качестве входного билета даже и неверующему представлялось не слишком нравственным. Но уже Февраль снял искусственные ограничения, и множество евреев приобщилось к русской культуре, а для их детей она была уже единственной и, тем самым, родной.

Как ни расценивать ассимиляционный

## Поэль КАРП

для крестьян и для цеховых мастеров средневековья, обретение свободы. В новом мире еврей тоже мог проявить себя как индивидуальность, а не только как член определенного сословия, каким еврейство фактически было в мире феодальном.

Стоимостное общество, начиная с первой революции, Нидерландской, поднявшейся против Испанской феодальной империи, утверждало себя как общество национальное. Но национальное тогда понималось прежде всего как территориальное. При объединении Германии Бисмарк не выдвигал лозунга

# АНТИСЕМИТИЗМ XX ВЕКА

«посттоталитарный». Не знаю, в какой мере перемены в Чехословакии позволяют прилагать его к ней, но у нас по-прежнему господствует государственная собственность, а она и есть самая полная форма контроля государства над обществом, каковой и называется тоталитаризмом. Конечно, наш тоталитаризм испытывает глубокий кризис, но, отбросив, как ящерица хвост, марксистско-ленинскую идеологию, он не изменил свою природу. Президент России прав, сказав, что ему в затылок дышат красно-коричневые. Но переход красного в коричневое начался не сегодня. Мы помним и «дело врачей», и «борьбу с космополитами», и статьи «Правды» об англо-французских поджигателях войны и о жаждущей только мира фашистской Германии, с которой мы поделили Польшу.

Я отнюдь не думаю, что красное и коричневое изначально идентичны, что всякий протест против реакции, против самодержавия обречен обернуться фашизмом. Напротив, я с ужасом наблюдаю, как, вернувшись в город, где я живу, имя Петербург, стали переименовывать улицы, носившие имена Герцена или Лаврова. В той мере, в какой европейские социал-демократы считались с объективностью стоимостного хозяйства и демократическими нормами, они сыграли важную роль в формировании социальных гарантий и, тем самым, в процветании либеральной Европы. Однако там, где во имя каких-то идеалов одни люди брали себе право решать за других, удерживая тех в повиновении насильем, красное тотчас коричневело, хоть и не все сразу различали нараставший оттенок.

Говорят, что нынешний антисемитизм -- воздаяние за любовь евреев к красным. Так говорит «Память», повторяющая нравы КПСС, но уже без марксистской обертки, которая, как и самый портрет еврея с бородой, пришла в очевидное противоречие с возвращенными под портретом плодами. Конечно, евреи, подобно латышам, армянам, полякам и другим угнетенным народам царской России, сочувствовали либеральным переменам. Однако ассимиляция евреев, начавшаяся задолго до революции, не имела политической окраски и была вызвана буржуазными реформами Александра II, побудившими народы России к более тесным взаимоотношениям.

Пейзажи Левитана запечатлевают не только красоты русских ландшафтов, но и самосознание русского еврея, осязающего эти

процесс XX века, он не ориентировался на красный цвет, и сочувствие евреев либеральным переменам отнюдь не толкало большинство их сочувствовать большевикам, Октябрь и разгон Учредительного собрания, не меньшее их число симпатизировало эсерам, еще большее меньшевикам и кадетам. Жертвами Октября евреи соответственных сословий были не в меньшей мере, чем люди других национальностей, а сверх того оказывались и жертвами погромов, которые учиняли не только белые, но порою и красные. Ликвидация НЭПа была не только антикрестьянской в деревне, но во многом антисемитской в городе. Именно после нее антисемитские настроения среди бывшей верх части большевиков выходят на поверхность, и любители подсчитывать процент евреев могли бы убедиться, что среди павших в годы большого террора он непропорционально высок и не только за счет старых большевиков. Приверженностью евреев к красному цвету антисемитизм объяснить невозможно, -- у большинства не было этой приверженности, а приверженность либерализму красному цвету скорее враждебна.

Не убедительнее и уверения, что антисемитизм вызван якобы биологическими отличиями евреев от всех других народов. Ведь различия между евреями разных стран адекватны различиям между коренным населением этих стран, и у китайских евреев наличествует эпикантус, третье веко, признак желтой расы. Старый традиционный антисемитизм, конечно, был обращен против иного человека, но человека иной религии, иной социальной жизни, а не иной крови, что подтверждалось и открытой тогда возможностью выйти из еврейства, приняв крещение. В старину антисемитизм опирался не на биологические отличия, но, при всех его специфических ужасах, вписывался в общую картину религиозных и социальных распрей древности и средневековья. Уже в XIX и особенно XX веке мы имеем дело с новым антисемитизмом. Вот и надо понять природу этой новизны.

Крушение феодального абсолютизма с его внеэкономическими нормами и переход к стоимостным отношениям, особенно после промышленного переворота, вели к возрастающей интернационализации хозяйства. Оттого и вращали в жизнь преобладающего населения издавна жившие рядом евреи. Для них выход из замкнутого мира средневекового гетто, не сопряженный притом с моральными жертвами, означал, как и

«Германия для немцев», и евреи, как известно, активно поддерживали объединение, видя в углублении буржуазного развития упрочение своего равноправия.

Уже в ту пору их сочувствие переменам служило поводом к отождествлению евреев, как народа, с буржуазией. Маркс, утверждавший, что в буржуазном обществе еврей становится буржуем, полагал, что обретение евреями равноправия возможно лишь при освобождении общества от буржуазии, с которой он, играя двусмысленностью немецкого слова *Judentum*, отождествлял еврейство. Не зря его ранняя работа «К еврейскому вопросу» вошла в число обязательных при изучении марксизма-ленинизма в СССР как раз при разворачивании антисемитских кампаний. Между тем в стоимостном мире евреи становятся не столько предпринимателями, сколько работниками наемного труда -- ремесленниками, рабочими, техниками, инженерами, врачами, адвокатами, музыкантами, научными работниками. А если их мало среди крестьян, то потому, что во многих странах, и в частности в России, им запрещалось владеть землей, что и вынудило большинство их жить в городах и городках. Вопреки Марксу, евреи в большинстве сочувствовали либеральным переменам потому, что в буржуазном обществе они, как пролетарии, могли свободно продавать свой труд. В этом и был залог их равноправия.

Однако и в новом мире уцелевшие отдельные силы стремились внеэкономическим путем отстоять свои привилегии, и знаменитое дело Дрейфуса не случайно направлено именно против офицера. Антисемитизм и в буржуазном обществе остался способом защиты сословных привилегий. Однако если прежде это было сообразно с общим сословным делением, то теперь противоречило правовой структуре, а главное, стоимостному обществу дано терпеть внеэкономические привилегии, ущемляющие к тому же не одних евреев, лишь до известного предела, пока они не извращают характер общества.

Гораздо существеннее такие привилегии при феодальной реакции и, особенно, при сменяющем ее феодально-социалистическом абсолютизме. Антисемитизм перерастает там в способ общего наступления на стоимостные отношения, задевающего, опять же, не одних евреев, но их наиболее резко, поскольку, в отличие от других народов, они не сосредоточены на особой территории, а внешних отличий в силу их глубокой ассимилированности, да еще при избытке смешанных

браков, практически не остается, -- вот и приходится фиксировать эти отличия в пятом пункте анкеты. И этот пункт становится важнее таких показателей, как стоимость, производительность труда и его качество, на которых держится буржуазный мир.

Это прояснилось не вдруг. Лишь немецкий национал-социализм сразу выдвинул расовую программу. В итальянский фашизм или русский большевизм, возникшие раньше, евреи поначалу охотно допускались, но по мере самоопределения и самопознания этих движений, достигших власти, ими тоже отторгались. Антисемитизм -- не свойство немцев, арабов или русских, но свойство неофеодалных систем, и, наблюдая их, мы можем, даже если сперва они не таковы, безошибочно предвидеть их грядущий крен к антисемитизму. Великий русский поэт Александр Блок еще до революции писал о своей стране:

И однозвучны стали в ней  
Слова «свобода» и «еврей».

Написал вроде бы даже сетуя, что оно так, поскольку и сам не вполне был свободен от антисемитских влияний, и все же признавая, что слова эти в России неразлучны.

В центре Петербурга, на Невском у Гостиного двора, можно видеть призывы к изгнанию и убийствам евреев и сочинения гитлеровских идеологов Розенберга и Геббельса и самого Гитлера. Все эти действия, явно выходящие за пределы закона, не пресекаются властью. И ведь эта же власть уклоняется от реальных стоимостных реформ, громогласно провозглашаемых, но подменяемых ограблением граждан в пользу государства, осуществляемым сперва Рыжковым, затем Павловым, а ныне Гайдаром. Новый антисемитизм, непосредственную опасность представляющий, разумеется, прежде всего для евреев, метит гораздо дальше. Его цель -- отвержение стоимостных реформ и сохранение государственного диктата.

Ненависть к еврею на деле вызвана не весьма условными расовыми особенностями и не рассказными об еврейском заговоре, лживость которых очевидна, а тем, что еврей, «человек воздуха», по своему социальному положению, особенно после наглядной неудачи обольщенных большевистским путем в номенклатуру, являет собой образ свободного человека, готового к стоимостным отношениям. Замученный дискриминацией, он особенно дорожит свободой, надобной всем без исключения народам страны, начиная с русского, который к ней ничуть не менее способен, -- еще Петр I заметил, что один русский четырех евреев обойдет, -- но который по-прежнему ввергают в соблазн внешнеэкономических решений, уже не раз народ обманывавших и выгодных лишь стоящим в раздаточной. Еврея сегодня преследуют, чтобы другим не повадно было на свободу претендовать. Не зря русским, хоть слово молвившим в пользу демократии, не исключая даже Ельцина («Эльцина»), тут же отыскивают еврейское происхождение или связь с евреями.

Понятно, что реальным евреям от этого не легче, и они толпами покидают родину. От потока экономических эмигрантов их надлежит отличать не только потому, что они бросают нажитое за жизнь жилье и имущество и, как правило, теряют профессию, но, прежде всего, потому, что их, в отличие от экономических эмигрантов, на родине окружает открыто выплескивающаяся ненависть и прямые угрозы на улицах, в газетах, по телевидению, в письмах по домашним адресам. Эта ненависть движет, конечно, явным меньшинством русского народа, но ведь и не большинство немецкого народа желало Освенцима.

Возможность выезда -- несомненное благо. Участь беженца, сколь она ни трагична, несопоставимо лучше газовых камер или массовой депортации в Сибирь. Но следует видеть, что нарастание угрозы, подталкивающей к бегству, при благодушии властей фактически означает решение еврейского вопроса по польскому образцу, то есть изгнание. Никакие показательные мероприятия, вроде празднования Хануки в Кремле, или даже улучшение внешнеполитических отношений России с Израилем, заслонить совершающееся изгнание не могут. И ведь совершают его, так сказать, умеренные, а заядлые антисемиты еще этих умеренных осуждают за предоставление евреям возможности ускользнуть от «народного суда» по известным образцам.

Но для множества ассимилированных евреев трагична уже сама необходимость покинуть страну родного языка и «отеческих гробов». Когда я получаю письмо: «Грязная жидовская морда, уебывай быстрее в свой поганый Израиль или мы изготовим из твоей вонючей шкуры прекрасный абажур. Жидам не место в России, место жидов в крематории. Россия для русских! Русские», а представив его в прокуратуру, получаю невнятные ответы от пересылающих его друг другу прокуроров и, наконец, когда письмо пересылают в КГБ, не получаю никакого ответа, я не могу воспринять все это иначе, как сознательное стремление государства лишить меня отечества и возможности заниматься своей работой. Всю жизнь я сопротивлялся такому давлению, но с каждым годом это трудней, и меня охватывает отчаяние, поскольку я сознаю, что при моих занятиях русской поэзией, переводами из германских литератур и интернациональным искусством балета отказ от космополитического восприятия мира, которым я жил, вопреки господствовавшей идеологии, для меня невозможен. Я сознаю, что для Израиля я с моим образом мыслей -- только обуза, только иждивенец, а по отношению к стране, живущей так сложно, это как-то даже и неловко.

К тому же я сознаю, что изгнание евреев -- лишь авангардный бой против перемен в России, что вытеснение евреев из культурной жизни Москвы и Петербурга, как некогда Вены и Берлина, точно так же направлено на то, чтобы умалить их значение как культурных центров, противостоящих тоталитарному государству. Но цивилизованный мир, так много сделавший для обретения права на выезд в Израиль и справедливо выступающий в защиту религиозных прав ортодоксального еврейства, глух к судьбе ассимилированного еврейства, быть может, еще более показательной для оценки перспектив нашей страны.

Примечательно, что российский антисемитизм объявил своим главным врагом сионизм, который, в отличие от других национальных движений, не вмешивается в российские порядки, лишь бы они не препятствовали выезду в Израиль. Однако сионизм, как ни относиться к нему по существу и хотел он того или не хотел, показал пример практической борьбы за спасение обреченных фашизмом на гибель, а такой пример внушает надежду не одним евреям и подрывает не только имперскую, но всю вообще внешнеэкономическую сущность тоталитарного государства. Даже в сугубо национальной и чисто оборонительной форме стремление избавиться от антисемитизма обретает социальный смысл. Поэтому, сколько ни кричат крайние израильские шовинисты о правоте русских шовинистов, те лобызаться с ними все равно не хотят. Антисемитизм и антисемитизм продолжают даже там, где евреев-то не осталось, как в Польше, но продолжается спор о том, как стране жить дальше, спор тоталитаризма и демократии, внешнеэкономических

и стоимостных отношений. Если старый антисемитизм был опасен лишь евреям, то новый, антисемитизм хрустальной ночи и дела врачей, опасен всему человечеству, ибо стал знаменем феодально-социалистического абсолютизма.

Еще в прошлом веке ощущение, что участь евреев сказывается на судьбе страны, где их преследуют, возникало даже у людей, которых не заподозришь в сострадании. После варшавского погрома Александр III выговаривал генерал-губернатору Гурко: «Сердце мое радуется, когда бьют евреев, но позволять этого ни в коем случае не следует». Наш век многократно подтверждал царские опасения, но исторические уроки не идут впрок. Вот антисемитизм у нас и процветает.

## Иван ДУДА

\* \* \*

*Вот мы и встретились... Мы -- это шляхта, буржуазия мы, теннис и слалом, гонки на «формулах», гонки на яхтах и непременно с открытым забралом. Мы -- это следствие, первопричина многих хлопот для родных и для близких: Сербия, Босния, Герцеговина, курево, если не сидр и не виски. В смысле развития мы -- это входы дружные-дружные, дивный узор мы, длинноволосые внуки Ягоды, внуки Буденного, дети реформы. Вот мы и встретились. Кто нас, колючих, нас, непричесанных, в лоно сумбурной жизни вернет, заодно и научит жить без ходулей и жить без котурнов? Кто же тебе, к твоему юбилею, милая, кто не для форсу и спеси бусы, поди, а не Анну на шею собственноручно изволит повесить?..*

\* \* \*

*Вот ведь и чудо, заметьте, и чудо не получилось, хотя, должно бы, твой Верховенский сказал бы, Нехлюдов консервативный наш и твердолобий. Даже при помощи плеток и палок, резвой прислуги и челяди приткой, нет, не сбылось оно, не состоялось -- чудо мучением было нам, пыткой.*

*Вместо свободной, свободолобивой жизни, назойливой и заводной той, чудо закончилось партхозактивом, если вы помните, головомойкой, уличным рэкетом, гримом и маской. комедиантом каким-нибудь, Рустом, полным разором и полным фиаско, крахом закончилось. Разве не грустно?*

*Дэн Сяопина для нашей реформы мы проворонили и завели мы, видно, не вовремя наш разговор мы неосмотрительный и уязвимый. Крылья судьбы, я так думаю, где-то пустоголовой и придурковатой, вот и несут нас за то и за это к полюсу холода через экватор...*



**В**еликие географические открытия» -- это понятие, прочно вошедшее в наш обиход, в сущности отражает характерный европоцентристский стереотип восприятия мира. Земные пространства с населяющими их народами, с их культурой, историей, образом жизни словно бы обретали реальность, лишь будучи открыты европейцами.

Но этим дело не ограничивалось: у открывателей (или -- чаще -- у тех, кто за ними следовал) неизменно возникали претензии на овладение новыми землями, на подчинение народов их власти, на утверждение им привычных норм жизни. А это оборачива-

ки культурных традиций доколумбовских времен.

Но главное содержание обеих книг обращено к эпохе до появления «белых» на континенте. У Ю. Е. Березкина на первом плане -- история и судьба инков и других народов, населявших Центральные Анды, Р. В. Кинжалов уделяет главное внимание народам Месоамерики, в первую очередь ацтекам и майя.

В книге Ю. Е. Березкина рассматриваются сложные вопросы этнической истории инков, становления перуанской цивилизации, возникновения ранних государств и превращения их в империю. Специальные главы посвящены устройству и социальной структуре империи, характеристике религии

## Б. ПУТИЛОВ

Книги Ю. Е. Березкина и Р. В. Кинжалова демонстрируют плодотворные результаты научных поисков многих поколений археологов, этнографов, историков, лингвистов, искусствоведов Европы и Америки, которые шаг за шагом, по крупицам, пользуясь изощренной методикой, накапливали, систематизировали и осмыслили факты, любой из которых представлял собою загадку. Авторы книг выступают во всеоружии знаний. Оставаясь вместе с тем самостоятельными в истолковании фактов, явлений, процессов. И здесь уместно заметить, что они -- как это ни

# ОПЫТ ИМПЕРИИ

лось трагедиями для «открытых» народов, кровью, гибелью традиционных культур.

Об этом стоит вспомнить сегодня, чувствуя Колумба, воздавая должное его целеустремленности и мужеству и справедливо усматривая в событиях 1492 г. начало новой истории нашего мира.

Четверть века спустя после отважных мореплавателей, достигших берегов Нового Света, началось вторжение на американский материк отрядов испанских завоевателей -- конкистадоров. Как писал современник событий, «они шли с крестом в руке и ненасытной жадностью золота в сердце». Они решительно не признавали за цивилизацией, с которой столкнулись, права на существование, и не останавливались перед самыми бесчеловечными способами расправы с ней.

Последствия конкисты имели громадное значение для судеб древних обитателей Центральной и Южной Америки, но по-своему -- и для европейского общества. Книги, предлагаемые вниманию наших читателей, лишь бегло касаются истории завоевания новых земель конкистадорами. О значении их для судеб Европы небезынтересна следующая цитата из книги Ю. Е. Березкина: «Встретившись с угрозой османского нашествия, Европа нуждалась в золоте... Опоздай Кортес и Писарро на пятьдесят лет -- и западная цивилизация, быть может, вовсе не достигла бы того расцвета, который ожидал ее в последующие века». Это вовсе не оправдание конкисты -- просто признание объективного хода истории, у которой свои жестокие законы.

Другую сторону конкисты высвечивают слова Р. В. Кинжалова: «Конкиста была столкновением двух миров»... Пришлось пройти «длительный и мучительный путь исторического развития, пока индейцы и европейцы смогли понять характерные особенности встретившихся культур и на основе их создать принципиально новую -- латиноамериканскую». Заключение страницы книги Р. В. Кинжалова посвящены теме взаимопроникновения двух культур и знакомят нас с многочисленными фактами усвоения и переработки современной культурой Месоамери-

древнего Перу. Одна теоретическая особенность книги привлечет к ней внимание не только тех, кто интересуется инками: Ю. Е. Березкин глубоко убежден в закономерности исторического процесса, в его своеобразной «разумности». Он стремится выявить своеобразие многовековой истории инков, но одновременно утверждает, что «основные закономерности во взаимоотношениях людей в коллективах и коллективов между собой... оказываются в древнем Перу такими же, какими в сходных обстоятельствах они были в Африке, Европе или Китае». И еще о жестокой силе законов истории: если бы не инки, «подобная империя была бы создана» другими; оказывается, что в некоторых отношениях испанское завоевание, коль скоро оно было неизбежно, произошло «ко времени», как бы по воле все тех же законов.

Столь же закономерным явился и распад империи, и автор в последней главе под названием «Конец империй» не просто выявляет внутренние факторы, обусловившие его неизбежность, но и стремится извлечь некоторые уроки, перенося проблему в близкую нам эпоху «расформирования» империй и краха тоталитарных государств XX столетия.

Книга Р. В. Кинжалова содержит обстоятельный анализ духовного наследия цивилизации народов Месоамерики до испанского завоевания; ряд явлений культуры прослеживается в их развитии после завоевания. Перечень глав дает представление о составе книги: География, история и письменность; Религиозные представления и изобразительное искусство; Проза; Эпос; Драма и лирика. Особенный интерес вызывает глава, посвященная мифологии: в ней раскрывается сложная система религиозных мифологических воззрений на мир, отношений с ним, покоящаяся на «вечных» противопоставлениях жизни -- смерти, космоса -- хаосу, культуры -- природе, воплощаемая во множестве символических мифологем и скульптурных либо живописных изображений (репродукции многих из них украшают страницы книги). Столь же интересны главы, посвященные литературе -- не только той, что получила развитие с XVI века, с появлением латиницы как основы новой письменности, но и «древней», существовавшей до завоевания: исторических записей, мифологических сказаний, преданий о великих правителях, памятников эпического творчества (типа «Пополь-Вух»), ритуальных драм, гимнов и т.п.

парадоксально на первый взгляд -- никогда не были в тех странах, историю которых избрали делом своей научной жизни. Увы -- так было десятилетиями: тоталитарная система, то ли из чувства страха, то ли из пренебрежения к подлинной науке, ставила препону перед специалистами по этнографии, культуре зарубежья. Десятки и сотни ученых, аспирантов (не говоря уже о студентах), занимавшихся античностью, Ближним Востоком, Африкой, Океанией, Южной Америкой, никогда не бывали в «своих» регионах, вынуждены были «заочно» знакомиться с ними. Честь и хвала им -- делали они это, как правило, успешно, поддерживая и развивая традиции отечественных научных школ. Будем надеяться, что времена эти ушли в прошлое, -- никакие выездные комиссии, партийные комитеты, службы КГБ не могут больше мешать поездкам, экспедициям, работам в зарубежных архивах и всему тому, что является вполне естественной нормой во всем цивилизованном ученом мире...

Вот такие попутные, не очень веселые мысли вызвало у меня чтение превосходных книг о древних американских цивилизациях, встрече с которыми Европа обязана в конечном счете тоже Колумбу.

Серия «Из истории мировой культуры»

Р. В. КИНЖАЛОВ

## ОРЕЛ, КЕЦАЛЬ И КРЕСТ



Березкин Ю.Е. Инки: Исторический опыт империи. Изд. «Наука». Серия «История и современность». Л., 1991. 230 с.

Кинжалов Р.В. Орел, кецаль и крест: Очерки по культуре Месоамерики. Изд. «Наука». Серия «Из истории мировой культуры». СПб., 1991. 186 с.



Джо ГОРОВИЦ

## ПИСЬМО ВАЛЕРИЮ ГЕРГИЕВУ

9 июля 1992 года.

*Дорогой Валерий, хочу рассказать Вам, что такое для меня, американца, гастролы Кировского театра.*

*В Соединенных Штатах нет оперной традиции. Перед первой мировой войной в «Метрополитене» была блистательная немецкая труппа и блистательная итальянская. Нью-Йорк тогда еще был «заграницей», городом эмигрантов. Немецкие оперы в «Метрополитене» играл немецкий оркестр, а публика была в основном немецкая. Итальянские оперы играл итальянский оркестр, а публика была итальянской. Немецкая труппа состояла из блестящих исполнителей (Лилли Леман, Альберт Ниман, Эмиль Фишер), и для каждого из них работа в талантливой труппе была очень плодотворной.*

*Американскую оперу погубило то, что у нас не сложилась традиция исполнения оперы на родном языке. В Англии, Франции, Италии, Германии, Австрии, Венгрии, России оперные спектакли шли на языке, понятном и исполнителям, и слушателям. В Америке делались попытки петь оперу по-английски. Их поддерживали и певцы, и дирижеры, даже иностранного происхождения, и критика тоже. Но люди, которые платили за оперу (государственных субсидий, конечно, не было), не приняли оперу по-английски, потому что она не потрафляла вкусу снобов. Одним из последствий стало отчуждение американских композиторов: американский оперный репертуар невелик. Оперная сцена превратилась в подмостки для демонстрации личного обаяния и вокальных данных, отрезанные от источника творчества, от современной культуры. (То, что «Метрополитен» самодовольно отказывается от субтитров, - увы, совершенно закономерное следствие нашей неспособности серьезно относиться к опере как к взыскательной театральной форме.)*

*И поэтому гастролы Кировского театра стали событием исключительным. Только во время гастролей Большого в семидесятых я так же ощущал оперу как законченное и гармоничное целое. И не думаю, чтобы в Мюнхене, Вене или Милане в той же степени удалось сохранить столь единый стиль исполнения, когда все артисты (потрясен тем, как вы продуманно и последовательно распределяете роли) работают на воплощение общего замысла.*

*Некоторые достижения Вашей труппы - это то, что ей дано просто по праву рождения, как дар России и Петербурга. Другие ее достижения, я уверен, - это то, что ей дали Вы, с Вашей энергией и высшими идеалами.*

*Лучше всего для нью-йоркской оперы в ближайшее время было бы, если бы на сцене «Метрополитена» стала выступать труппа вроде труппы Кировского театра. Три-четыре сезона это было бы потрясающе. А потом Нью-Йорк бы ее испортил.*

*Как Вы, наверное, понимаете, посещение ваших спектаклей вызвало и радостные, и горестные чувства. Я, как я уже говорил, эгоистически надеялся, что ваши гастролы послужат толчком к некоторому переосмыслению сущности оперного искусства. Но теперь настроение у меня самое пессимистическое - публика в «Метрополитене» становится все более провинциальной (заметили?), а «Метрополитену», похоже, все равно. От вас остались одни воспоминания. Но и это немало.*

*Спасибо.*

**ПАРИЖ,**  
**Lettre internationale.**  
Гл. редакторы:  
**АНТОНИН ЛИМ**  
**ПОЛЬ НУАРО**  
30, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris

**РИМ,**  
**Lettera internazionale.**  
Гл. редакторы:  
**ФЕДЕРИКО КОЭН,**  
**ВИТТОРИО СТРАДА,**  
**АНТОНИН ЛИМ**  
Via della Dogana Vecchia 5, 00186 Roma

#### **ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕДАКЦИИ**

**МАДРИД,**  
**Letra internacional.**  
Гл. редакторы:  
**ЛУИС ГОЙТИСОЛО,**  
**АНТОНИН ЛИМ**  
Monte Esquinza 30, 28010 Madrid

**БЕРЛИН**  
**Lettre internationale.**  
Гл. редакторы:  
**ФРАНК БЕРБЕРИХ,**  
**АНТОНИН ЛИМ.**  
Rosenthaler str., 13, 1054 Berlin

**БЕЛГРАД**  
**Международно писмо**  
**в журнале Книжевност.**  
Гл. редакторы:  
**ЙОВАН ХРИСТИЧ,**  
**АНТОНИН ЛИМ**  
Чика Лубина 1/V, 11000 Београд

**ПРАГА**  
**Lettre internationale.**  
Гл. редакторы:  
**ТОМАШ ВРБА,**  
**АНТОНИН ЛИМ**  
Hellichova 5, 11000 Prague 1

**БУДАПЕШТ**  
**Magyar Lettre internationale.**  
Гл. редакторы:  
**ГАБОР МИХАЛИ,**  
**МИКЛОШ ЭРНАДИ,**  
**АНТОНИН ЛИМ**  
Columbus u. 39, 1145, Budapest

**ЗАГРЕБ,**  
**Lettre internationale, Hrvatsko izdanje.**  
Гл. редакторы:  
**СВОБОДАН НОВАК,**  
**АНА ПРПИЧ,**  
**АНТОНИН ЛИМ**  
"Most", Trq Bana Josipa Jelacica 7, 4100 Zagreb

**СОФИЯ,**  
**Lettre internationale.**  
Гл. редактор  
**СТЕФАН ТАФРОВ**  
Площад "България" 1, НДК -- Административна сграда,  
11 етаж, 1463 София

Услуги по международной рекламе  
принимаются в России по адресу:  
191187, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 18,  
комн. 11,  
тел.: 273 - 78 - 60.

Отпечатано в ГИПП «Искусство России». За-  
каз 250. Тираж 3000. С.-Петербург. Промыш-  
ленная, д. 40.

Журнал сверстан с использованием  
программы ALDUS PAGE MAKER 4.0  
фирмы ALDUS CORPORATION

**ДЖОАН АРНОЛЬДС** -  
американский балетный критик  
**ДЖОРДЖ БАЛАНЧИН** (1904-1983) -  
русско-американский хореограф  
**ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС** (1899-1986) -  
аргентинский писатель  
**АНДРЕ БРЕТОН** (1896-1966) -  
французский поэт  
**ИОСИФ БРОДСКИЙ** -  
русский поэт, лауреат Нобелевской премии,  
живет в США  
**МИХАИЛ БЯЛИК** -  
петербургский музыковед  
**АЛОНСО САМОРА ВИСЕНТЕ** -  
испанский писатель  
**ГЕРМАН ГЛАЗЕР** -  
немецкий историк  
**ДЖО ГОРОВИЦ** -  
американский музыковед

## **АВТОРЫ**

**РЕНЕ ДЕПЕСТР** -  
гаитянский поэт  
**РОБЕР ДЕСНОС** (1900-1945) -  
французский поэт  
**ПАВЕЛ ДМИТРИЕВ** -  
литературовед (Петербург)  
**ЛЕОНИД ДОЛГОПОЛОВ** -  
литературовед (Петербург)  
**АЛЕКСАНДР ДОЛИНИН** -  
литературовед (Петербург)  
**АБРАМ ДРИДЗО** -  
историк (Петербург)  
**ИВАН ДУДА** -  
поэт (Петербург)  
**ЛЮДМИЛА НЕЗУИТОВА** -  
литературовед (Петербург)  
**МАРИЯ НОРДАНСКАЯ** (1881-1966) -  
автор воспоминаний, издательница журнала  
"Современный мир"  
**ЭДВАРД ЭТЛИН КАММИНГС** (1894-1962) -  
американский поэт и художник  
**ПОЭЛЬ КАРП** -  
поэт, переводчик, критик (Петербург)  
**ЮРИЙ КОЛКЕР** -  
русский поэт, критик (Лондон)  
**МИХАИЛ КУЗМИН** (1875-1936) -  
поэт, драматург, композитор  
**МИХАИЛ КУНДЕРА** -  
чешский писатель, живущий во Франции  
**АЛЕКСАНД КУПРИН** (1870-1938) -  
русский прозаик  
**АЛЕКСАНДР КУШНЕР** -  
поэт (Петербург)  
**ЭДВАРД ЛИН** (1812-1880) -  
английский поэт  
**МАУРО МАТИНИ** -  
итальянский критик  
**ИЗРАИЛЬ МЕТТЕР** -  
прозаик (Петербург)  
**ВЛАДИМИР НАБОКОВ** (1899-1977) -  
русско-американский писатель  
**САМИ НАИР** -  
французский политолог  
**АЛЕКСАНДР НИНОВ** -  
литературовед, критик (Петербург)  
**АРТУРО УСЛАР ПЬЕТРИ** -  
венесуэльский писатель и политический деятель  
**БОРИС ПУТИЛОВ** -  
этнограф, литературовед (Петербург)  
**МИХАИЛ РОСТОВЦЕВ** (1870-1952) -  
русский историк античности, с 1920 г. жил в США  
**ЮРИЙ РЫТХЕУ** -  
прозаик (Петербург)  
**МАРК САМАЕВ** (1930-1984) -  
поэт, переводчик (Москва)  
**ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ** (1882-1971) -  
русский композитор, жил в США  
**АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ** (1884-1979) -  
дочь Л. Н. Толстого, основательница  
Толстовского фонда  
**ЕВГЕНИЙ ЧИРИКОВ** (1864-1932) -  
русский писатель  
**УИЛЬЯМ ШЕКСПИР** (1564-1616) -  
английский драматург и поэт  
**ДЖ. Г. ЭЛИОТ** -  
английский историк  
**АЛЕКСАНДР ЯНОВ** -  
политолог, жил в СССР, ныне - в США

Позиция редакции не обязательно совпадает с  
точкой зрения авторов публикуемых материалов.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

**ЕЛЕНА БАЕВСКАЯ** (С. Наир. Средиземноморская  
распря. М. Кундера. Прекрасный, как множество  
встреч. А. Бретон. Уж лучше жизнь. П. Деснос. Люди  
на земле. Р. Депестр. Изгнание, пустившее корни во  
французский язык).  
**ВАЛЕРИЙ ДЫМШИЦ** (Дж. Г. Элиот. Мир после  
Колумба).  
**Н. ИВАНОВА** (А. У. Пьетри. Существует ли иберо-  
американская общность).  
**МАРИЯ КАРП** (В. Набоков. Мещане и мещанство).  
**ПОЭЛЬ КАРП** (У. Шекспир. Сонет 129).  
**ИРИНА КОПОСТИНСКАЯ** (Э. Каммингз. Пред-  
ставьте себе, например...).  
**АЛЕКСАНДРА КОСС** (А. С. Висенте. Первая встре-  
ча с жаркой землей).  
**ВЕРА КРАСОВСКАЯ** (Дж. Арнольдс. Вечное движе-  
ние).

## **ПЕРЕВОДЧИКИ**

**ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ** (Э. Лир. Мистер Йонги-  
Бонги-Бой).  
**АНАСТАСИЯ МИРОЛЮБОВА** (М. Мартини. Роман  
ни короткий, ни длинный).  
**ИРИНА НИНОВА** (И. Стравинский, Дж. Баланчин.  
Диалоги. И. Бродский. Нескромное предложение. Джо  
Горовиц. Письмо Валерию Гергневу).  
**ВЕРА РЕЗНИК** (Х. Л. Борхес. Этнограф. Милога  
Мануэля Флоренса).  
**ГАЛИНА СНЕЖИНСКАЯ** (Г. Глазер. Небеса, пре-  
исподняя, гора и дорога).

Художники:

**Г. ФИТИНГОФ**  
**ЭРНСТ БРЕЛЕР**  
**НЕРОНИМ БОСХ**

Фотографы:

**ДЖ. БОРГЕЗЕ**  
**М. ЛЕМХИН**  
**А. КРУГЛОВ**  
**МАРТА СВОП**  
**В. ПЛОТНИКОВ**  
**МАН РЭЙ**

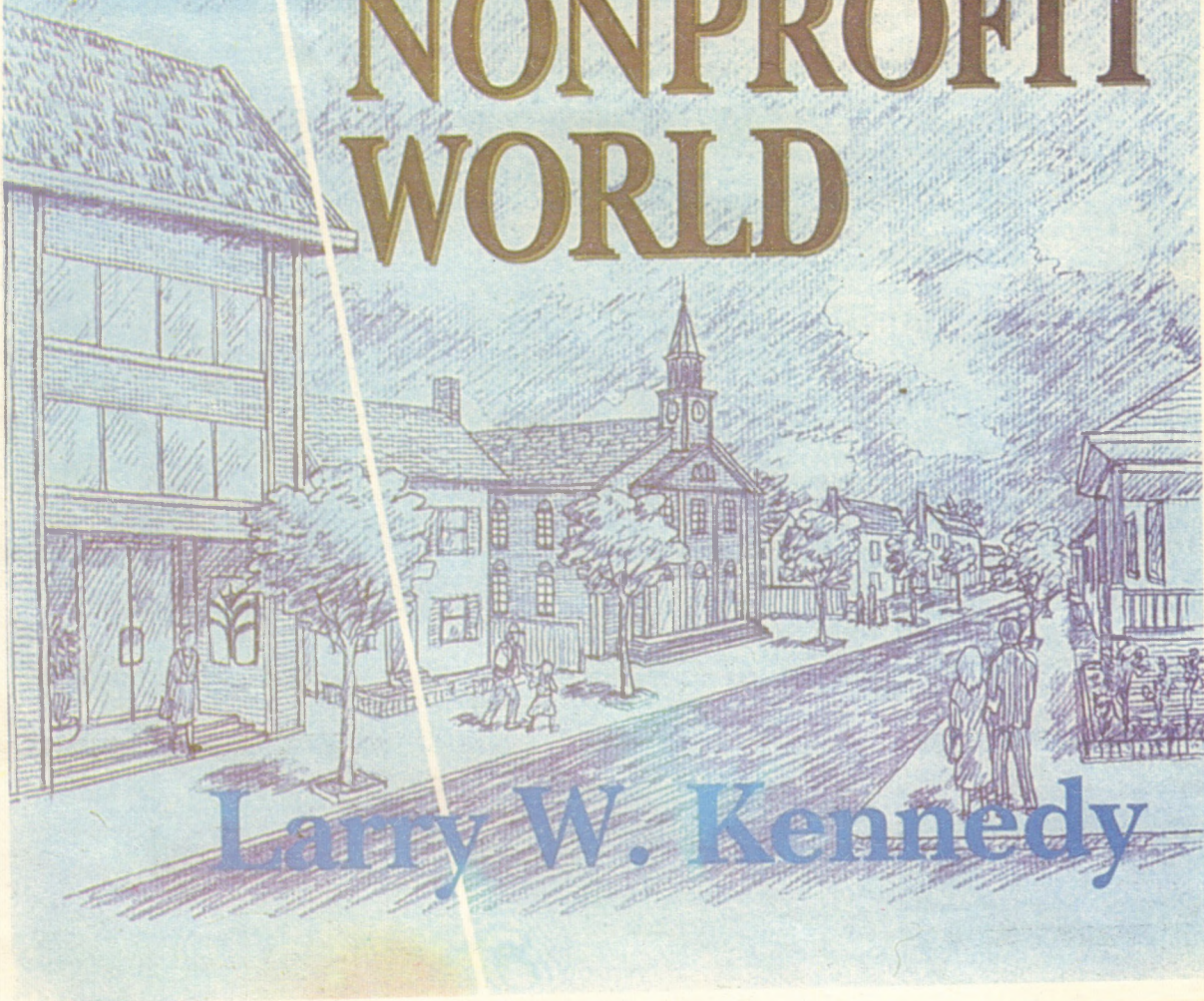
# **Lufthansa**



## **ПЕРЕВОЗКИ ЖУРНАЛА**

"Всемирное слово"  
из Санкт-Петербурга  
в Берлин  
осуществляется  
при любезном содействии  
Авиакомпании "Люфт-Ганза"

# Quality Management IN THE NONPROFIT WORLD



Русское издание книги  
*Ларри Кеннеди*  
готовит издательство "Просвещение"  
в Санкт-Петербурге

